MASTER
NEGATIVE
NO. 91-80088-2

MICROFILMED 1992

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES/NEW YORK

as part of the
"Foundations of Western Civilization Preservation Project"

Funded by the
NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES

Reproductions may not be made without permission from
Columbia University Library

COPYRIGHT STATEMENT

The copyright law of the United States -- Title 17, United States Code -- concerns the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material...

Columbia University Library reserves the right to refuse to accept a copy order if, in its judgement, fulfillment of the order would involve violation of the copyright law.

AUTHOR:

TITLE: ROSSIIA I ZAPAD;

PLACE: PETERBURG

DATE: 1923

Master Negative #
91-80088-2

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
PRESERVATION DEPARTMENT

BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

Original Material as Filmed - Existing Bibliographic Record

947
R735

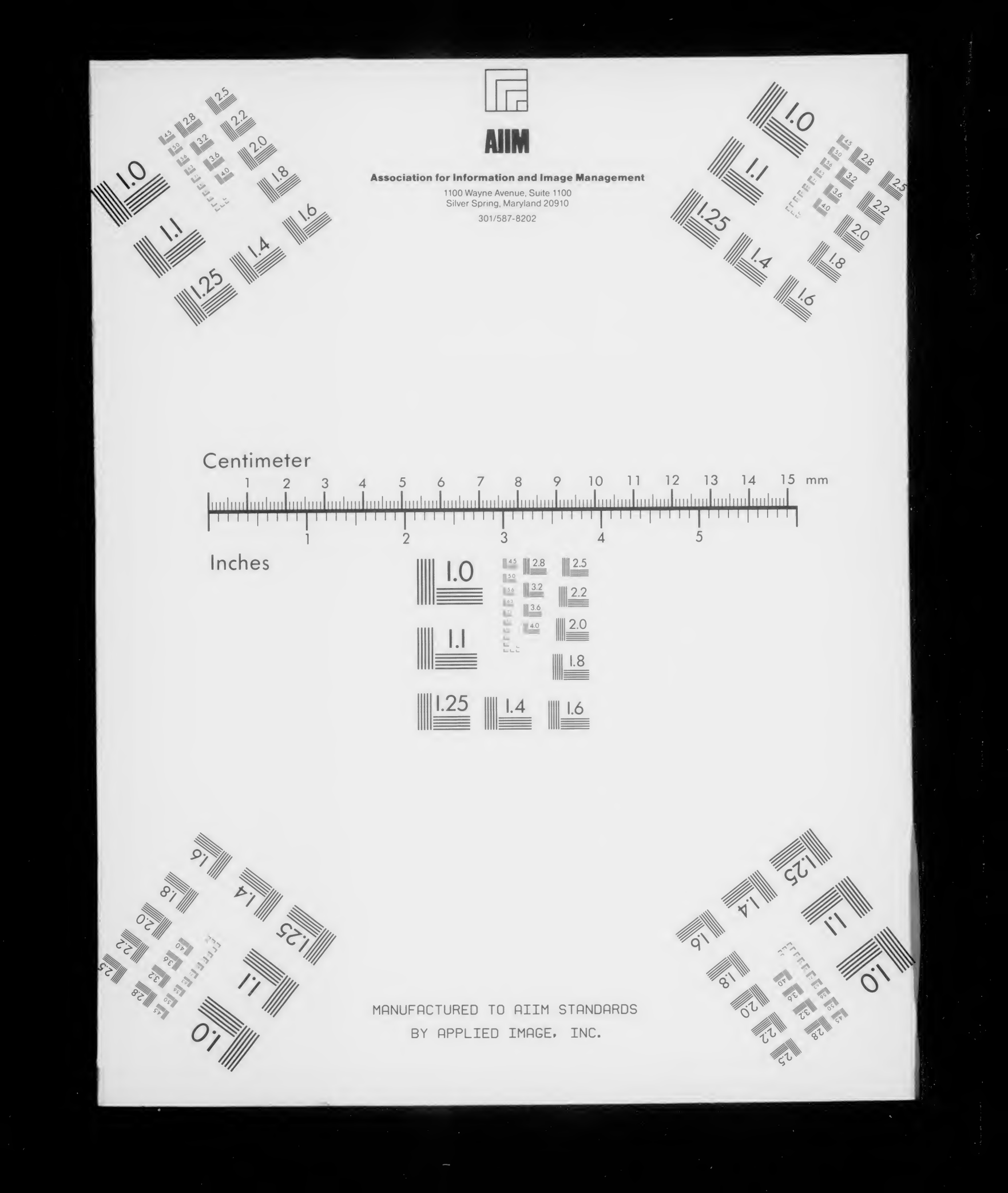
Rossiia i Zapad; istoricheskie sborniki pod redaktsiei prof. A.I.Zaozerskago =Russia and the West; historical collection ed. by Prof. A.I. Zaozerskii=
1-
Peterburg, Academia, 1923-
1 v. 24cm.

363349

Restrictions on Use:

TECHNICAL MICROFORM DATA

FILM SIZE: 35 mm REDUCTION RATIO: 11 X
IMAGE PLACEMENT: IA IIA IB IIB
DATE FILMED: 6-10-91 INITIALS G.G.
FILMED BY: RESEARCH PUBLICATIONS, INC WOODBRIDGE, CT


AIIM
Association for Information and Image Management
1100 Wayne Avenue, Suite 1100
Silver Spring, Maryland 20910
301/587-8202
Centimeter
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 mm
Inches
1 2 3 4 5
1.0
1.1
1.25
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.5
2.8
3.2
3.6
4.0
4.5
5.0
5.6
6.3
7.1
8.0
9.0
MANUFACTURED TO AIIM STANDARDS
BY APPLIED IMAGE, INC.

947 R735
1
Columbia University
in the City of New York
LIBRARY

The
Nathaniel Currier Fund
for the
increase of the Library
Established 1908

РОССИЯ
И
ЗАПАД

ИСТОРИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
ПРОФ. А. И. ЗАОЗЕРСКОГО

1

ACADEMIA
ПЕТЕРБУРГ—1923

Rossiia i zapad.

947
Кур

Военная Типография Штаба Р.-К. К. А. (Площадь Урицкого, 10).
Главлит № 713.—Тираж 2000 экз.

СОДЕРЖАНИЕ.

В. А. Брим. Происхождение термина „Русь“ . . . . 5—10
Г. П. Федотов. Боги подземные . . . . . 11—35
М. Д. Приселков. Борьба двух мировоззрений . . 36—56
Е. З. Вулих. Из мира торговых отношений в Москве XVII в. . . . . 57—90
А. И. Заозерский. Экспедиция на Мадагаскар при Петре Великом . . . . . 91—102
Ю. В. Готье. Из истории законодательной мысли XVIII в. . . . . 103—106
А. Н. Савин. Николай I и Фридрих-Вильгельм IV (1840—1848) . . . . . 107—139
Б. А. Романов. Витте накануне русско-японской войны 140—167

Н. С. Цемш. Проблема происхождения французского города в научной литературе . . . . . 168—183
Е. Н. Петров. Новейшие труды по истории идейной жизни XVIII в. . . . . 184—189

В. П. Бузескул: А. И. Тюменев—Очерки экономической и социальной истории древней Греции. 3 т. т. (190). В. А. Брим: R. Ekblom—Rus et Vareg dans les noms des lieux de la région de Novgorod (196). М. Д. Приселков: В. М. Истрин—Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода XI—XIII в. в. (198). А. И. Хоментовская: А. Г. Вульфиус—Проблемы духовного развития. Гуманизм, реформация, католическая реформа (201). Б. Д. Греков: И. М. Кулишер—Очерк истории русской промышленности (205). С. И. Тхоржевский: Jann M. Goblet—L'Irlande dans la crise universelle. 1914—1920 (208).

Происхождение термина „Русь".

Происхождение термина „Русь" до сих пор еще не выяснено окончательно, несмотря на многочисленные предложенные по этому поводу теории. Антинорманисты постоянно указывают на существование такого этнического названия на юге России и в бассейне Черного моря еще задолго до 862 года. В этом отношении принадлежат большие заслуги Иловайскому [1]) и главным образом Гедеонову [2]). Скандинавская школя справедливо настаивает на непосредственной связи слова „Русь" с финским „Ruotsi", при чем это последнее пытаются определить, как германское заимствование в финский язык. А. Куник думал, что „Ruotsi" отражает древне-северное „rôper" „Roslagen" (гребцы, община гребцов, провинция в восточной Швеции) [3]). Впоследствии он присоединился к мысли А. С. Будиловича, искавшего в „Русь" отголосок эпического названия для готов „Hrôthigutôs" [4]). Эта мысль была опровергнута профессором Ф. А. Брауном [5]). В. Томсен, наконец, вернулся к первой идее А. Куника что „Русь" произошло из финского „Ruotsi", а само „Ruotsi" есть след древне-шведского „rôther" [6]). Но он сам, видимо, не совсем верил этой гипотезе.

Неудовлетворительность всех этих построений заключается в том, что они все односторонни, опираясь либо только на южный, либо только на северный материал. Поэтому всегда получается остаток, не укладывающийся в систему и лишающий ее убедительности. И надо полагать, что история термина „Русь" гораздо сложнее, чем казалось до сих пор.

Очевидно, перед нами такой случай, когда корни племенного названия следует искать не только в одной культурной среде, а в нескольких областях. Помимо того, что существование термина „Русь" засвидетельствовано реально как на юге, так и на севере, мы можем догадаться о сложности первоначальных его составных элементов еще по одному фонетическому

---

[1]) Д. Иловайский. Разыскания о начале Руси. 1876.
[2]) С. Гедеонов. Варяги и Русь. 1876.
[3]) E. Kunik. Die Berufung der schwedischen Rodsen.
[4]) „Каспий". Б. Дорна.—Ср. Ж. М. Н. Пр. 1890 г. май, стр. 25—29.
[5]) Ф. А. Браун. Разыск. в обл. гото-слав. отношений. стр. 1—23.
[6]) В. Томсон. Начало русского государства. 1891.

факту. Дело в том, что исторически засвидетельствованы две формы, — одна с „у“ — „Русь“, — другая с „о“ — „Россия“. Эта двойственная огласовка корня является камнем преткновения для всех вышеуказанных теорий и могла бы уже сама по себе навести на мысль о том, что в терминологии „Россия — Русь“ сплетены два течения: одно — идущее с юга, другое — идущее с севера.

В нижеследующем я постараюсь развить эту мысль более подробно. Однако свидетельств южных я коснусь лишь кратко, так как для исчерпывающего разбора этого обширного вопроса столь огромной важности необходимо знание этнографии и языков неиндоевропейского населения Черноморья. Мое главное внимание будет сосредоточено на материалах северных, разбор которых и составит основное содержание этой статьи.

Обратимся сначала к данным, имеющимся на юге. О них уже давно говорили в науке, и в настоящее время всплывают все новые элементы. Прежде всего надо вспомнить, что у пророка Езехиля (XXXIX, 1.— XXXVIII, 2, 3) указана закавказская народность — ῾Ρώς —; и имя сына Валова — ῾Ρῶς — приводится в Кн. Быт. XLVI, 21. Лев Диакон отождествил с этим позднее народность ῾Ρῶς. Очень важно также мнение, высказываемое представителями яфетического языкознания [1]), что от этого корня производятся географические термины „Аракс“, „Арарат“, „Урал“. Сюда же относятся — говорят они — названия столь отдаленных друг от друга народностей, как этрусских „Разены“, затем на юге России „Розомоны“ (у Иордана) и „Роксолане“. Но самым главным в этом вопросе мы должны считать существование многочисленных географических названий в южной России, доказывающих, что элемент „Рос“ был там давно и широко известен. Укажу сперва на старое название Волги — „Русь“. Оно восходит к чрезвычайно древнему периоду, и под впечатлением этого прочно засвидетельствованного известия Ф. И Кнауэр [2]) даже решился высказать гипотезу о Волжской прародине индоевропейцев. Рядом с этим именем можно привести еще другие названия от „Рос“:—1) Оскол-Рось. 2) Неман Рось. 3) Куришчафф-Русна. 4) Рось, впадающая в Нарев с правого берега ниже Остроленки. 5) Рось, впадающая в Szeszup. 6) Рось, приток Днепра. 7) Рось, впадающая в озеро Ieziorozy. 8) Эмбах-Рось. 9) Роска в Волыни [3]).

[1]) Ср. Н. Я. Марр. Яфетический сборник. I. стр. 47—52.

[2]) Ф. И. Кнауэр. О происхождении имени народа Русь. (Труды XI Археолог. с'езда в Киеве. т. II). F. Knauer. Der russische Nationalname und die germ. Urheimat.—Zur Russ-Frage. (Indogermanische Fosrs hungen. XXXI. 1912.—XXXII. 1914).

[3]) С. Гедеонов. Варяги и Русь. II. 420—422; Иловайский. Разыскания, 259.

Кажется, эти факты доказывают неопровержимо, что уже в очень древнее время существовал у Черноморья и в частности на юге России какой-то историко-географический термин „Рос“ [1]). И, конечно, не может быть сомнения, что он оказал влияние на образование национального имени русской народности. Как это произошло, мы разберем в конце статьи.

Теперь мы обратимся к об'яснению свидетельств и материалов которые можно найти на севере. Здесь мы укажем прежде всего на одну группу географических названий, образованных от основы „Рус“,—а не „Рос“, как на юге. Это следующие имена [2]): „Русь—Порусье—Порусья—Старая Руса—Новая Руса—Околорусье—Русье—Русса—Русино—Русская дорога—Русское море—Река Русская—Русская—Русско—Руская—Русские Новики—Русское Огорово—Русская болотница—Русская Волжа—Русково—Русаново—Русуева—Русовшина—Русыня“. При этом важно, что перечисленные термины по своему культурно-историческому характеру не тянутся на юг. Они встречаются все в Новгородской губернии, т. е. в области, давно связанной с Варяжским—Балтийским морем. Поэтому справедливо не перестают искать все снова об'яснение слова „Русь“ в этом направлении.

Надо сказать, что термин „Русь“, как явление внутреннее русской культуры и русского языка, получил блестящую и исчерпывающую характеристику. Я укажу только на эти достигнутые, прочные результаты предыдущего изучения.

Остановимся сначала на значении нашего слова. Оно уже давно обратило на себя внимание по тем семасиологическим особенностям, которые ему свойственны в древнейших летописных текстах. Это слово обычно употребляется, как имя собирательное, и по содержанию то совпадает с именем „Варяги“, то отличается от него. Об этом говорили подробно А. С. Будилович и Куник [3]). На это обратил внимание и академик С. Ф. Платонов, сделавший из этого вывод, что—„всего правильнее будет представлять дело так, что русью звали в древности не отдельное варяжское племя, ибо такого не было, а варяжские дружины вообще“ [4]). Такого же мнения был и В. О. Ключевский: „Княжеская дружина... носила... специальное название Руси“ [5]). Для пояснения этого мнения напомню знаменитое место из Константина Багрянородного, в котором он разсказывает, как князья в ноябре месяце отправлялись на полюдье „μετά πάντων τῶν ῾Ρῶς“ — „со всею Русью“,—т. е. с дружиной.

[1]) Этому вопросу посвящен ряд работ академика Н. Я. Марра.

[2]) R. Ekblom. Rus et Vareg dans les noms de lieux de la région de Nowgorod. 1915.

[3]) А. С. Будилович—Е. Ф. Шмурло. Ж. М. Н. Пр. 1890, май, стр. 25—29. E. Kunik. Die Berufung der schwedischen Rodsen I. 43—87.

[4]) С. Ф. Платонов. Лекции по русской истории. 1917 г. стр. 65—66.

[5]) В. О. Ключевский. Курс русской истории. 1918. I. стр. 200.

Фонетическая сторона вопроса разработана окончательно академиком А. А. Шахматовым, который говорит по этому поводу следующее:—„Из всех попыток об'яснить это имя я считаю единственно удачною ту, которая ставит имя Русь в связь с финским названием для Швеции—Ruotsi (швед по-фински—Ruotsalainen). Эта связь, во-первых, совершенно безупречна с точки зрения лингвистической—ср. передачу финского Suomi через древне-русское Сумь (финское ts должно было быть передано через русское с (s), ибо русское ц было мягким звуком, не тождественным с ts); во вторых, эта связь согласуется вполне с тем, что мы узнаем от нашего летописца о происхождении имени Русь: летописец считает Русь одним из варяжских племен“ [1]). Очевидно, А. А. Шахматов полагает, что в основе финского „Ruotsi“ лежит какое-то варяжское, т. е., скандинавское слово. По его мнению, данные славянского и финского языков даже позволяют догадываться о звуковом характере искомого слова:—„С уверенностью можно сказать, что более первоначальной формой его было Rôs, ср. греческое имя, а также приведенные выше эстонское Rôts, водское Rôtsi; далее вероятно, что конечной согласной было не s, а какая-то группа согласных, ибо только так можно понять и финские формы с ts и старо-шведское Ryds, Rydsar, и старо норвежское Rùzaland, Rùcilаnd и древневерхне-немецкое Rùz, Rùza, средне-верхненемецкое Riuze“ [2]).

Вот те данные, которые для северной области в нашем распоряжении, и те мысли, которые высказаны для их об'яснения.

Теперь мы перейдем к нашей главной задаче—определить происхождение термина „Русь“.

Можно, действительно, указать слово в древне-шведском языке, которое удовлетворяет всем требованиям, установленным в этом отношении русскими языковедами и историками. Это будет древне-шведское—„drôt“—толпа, дружина.

В нижеследующем я постараюсь показать, что это слово по звукам и по значению строго отвечает финскому „Ruotsi“ и славянскому „Русь“.

Со стороны значения мы имеем полное совпадение, ибо, точно так же, как Русь означало дружину, так и drôt переводится как дружина, при чем под этим термином подразумевают тот общегерманский институт, который описан в знаменитой XIII главе „Германии“ Тацита. Правда, в литературном скандинавском языке этот институт называется „hirth“, что дало впоследствии русское гридь. Но зато в точности известно, что

[1]) А. А. Шахматов. Введение в курс ист. русск. яз. 1916. стр. 67.—Ср. также: Древн. судьбы русск. племени, стр. 52, примеч. 1.

[2]) А. А. Шахматов. Древн. судьбы русск. племени, стр. 52.

„hirth“ заимствовано скандинавами из англосаксонского языка (hireth=семейство), т.-е. очевидно после первых нападений викингов на Британию около 790 года. До этого времени—и, конечно, еще долго в течение всего IX века—комитат назывался старым, скандинавским именем „drôt“. В далекой от Британии Швеции старый термин удержался еще дольше, и нет сомнения, что шведы, пришедшие около 800 года в Финляндию и Эстляндию, составляли „drôt“ и называли себя „drôtsmenn“ дружинниками. Это отмечено уже давно акад. А. Куником [1]). Итак, летописное „Русь“ в смысле дружина передает старый технический термин шведского языка, обозначающий институт комитата или дружины.

Обратимся теперь к фонетическим соответствиям. Академиком А. А. Шахматовым поддерживается связь Ruotsi=Русь. Мы можем поэтому ограничиться доказательством, что в основе „Ruotsi“ лежит „drôt“.—Гласный элемент подходит прекрасно. Древнескандинавское долгое—ô— отражается правильно в эстонском и водском долгом—*o*— и в финском дифтонге—*uo*—: Rotsi, Rots, Ruotsi. Начальная группа согласных „*dr*“ шведского слова должна в финском дать простой звук „*r*“ в силу известной особенности финского языка, не терпящего в начале слова комбинации согласных. (Karsten. Germ.-finn. Lehnwortstudien).

Что касается конечного согласного элемента, то именительный падеж „drot“ разумеется не мог дать „Rots“: *t* не дает *ts*. Но в основах на=/ женского рода типа „drot“ уже рано возникла рядом с обыкновенной формой родительного падежа „drotar“ новая форма „drots“ [2]). Отсюда образовано сложное слово * „drotsmenn“ дружинники. В. Томсен [3]) указал, что при заимствовании сложных слов в финский язык возможна утеря второй части: так шведское „riksdaler“ дает „riksi“. Подобным образом и мы можем полагать, что * „drotsmenn“ дало „rotsi“.

Итак, в фонетическом и семасиологическом отношениях устанавливается точная зависимость в ряде „drotsmenn—Ruotsi—Русь“, и можно считать, что в основе „Русь“ лежит скандинавское, точнее шведское, „drôt—drôtsmenn“.

[1]) Zur Bezeichnung des Schwedenvolkes scheint es in der ältesten Zeit gar keinen friedlichen Ausdruck gegeben haben. Es hiess der Tross (Drott) oder das Schwedenheer (Sweahär), das zum Allheersding (Alhärjating) kam.»—Ernst Kunik. Die Berufung der schwedischen Rodsen. II 462—3. «Поселение шведов при Меларском озере происходило с моря и по всей вероятно ти совершено было дружиною (drott), которая, конечно, уже давно давала себя чувствовать прибрежным финнам, весьма слабо организованным в военном отношении. („Каспий“. Б. Дорна стр. 437).

[2]) Adolf Noreen. Altschwedische Grammatik. 1904.—§ 407, 2.

[3]) «Denn im Finnischen ist es bei der Aufnahme eines Compositums aus einer anderen Sprache eine ganz gewöhnliche Erscheinung, dass nur der erste Teil aufgenommen wird; und wenn dieser erste Teil ursprünglich Genitiv ist, so kann ein Wort unbewust auch in Genitivform aufgenommen werden». W. Thomsen. Der Ursprung des russischen Staates. 1879. стр. 101—102.

В последней части настоящей статьи мне бы хотелось показать, как произошло слияние южного и северного терминов „Рось“ и „Русь“, первоначально ничего общего не имевших.

Мне представляется, что варяги получили на севере, в Новгородской губ., название Русь. Как Русь, они пришли к берегам Днепра. Это имя быстро и прочно пустило корень среди славян и византийцев, истолковавших, может быть, имя „Русь“ как „русый“ или „ξουθός“, так как варяги-руссы отличались красноватым цветом волос и лица [1]). Аналогичный процесс народного осмысления мы наблюдаем, когда славяне стали называть западных германцев первоначально кельтским именем „Nemeti“ и истолковали его как „немой—немец“. Но новое племенное название „Русь“ оживило на юге старую прочную традицию вокруг термина „Рось“. Мы видели, что этот термин попадается там уже очень рано в географии и истории. Вероятно, он держался там и как народное имя, покрывая собою сменившие последовательно друг друга мелкие народности у Черноморья. Этнические термины часто держатся очень прочно в одной местности. В современной Чехии, например, жили сперва кельтские „Boji“, затем германские „*Bajiwarjoz“ (баварцы), наконец славянские богемцы. Еще сегодня имя „Силезия“ напоминает о первых ее обитателях, вандильских „*Silingôz“. Такую же традицию можно предполагать и для термина „Рось“. От него образованы названия „Розомоны, Роксолане“ и еще может быть имена других народностей, бесследно погибших у Черноморья. Наконец, имя „Рось“ закрепилось за племенем, властвовавшим в Киевском государстве, за племенем случайно носившим похожее название „Русь“. А византийцы, увлекаемые желанием связать новое с древним, отождествили „Рось“ с библейскими „Γώς“. После этого появляется в их официальной литературе „Γώς“.

Так сложилась терминология „Россия“—„Русь“.

В. Брим.

[1]) «gens..., quam a qualitate corporis Graeci vocant Russos». (Liudprand. Antapodosis, V. cap. 15).

Боги подземные.

К истории средневековых культов.

Предметом настоящей работы является анализ одного из народных культов переходного и двоеверного века. Этим определяется и интерес исследования, направленный одновременно к античному прошлому и средневековому будущему. Религиозность галльского общества VI века есть тот основной фонд, из которого вырастает почти вся католическая культура Запада. Но вместе с тем она несет в себе тяжелый груз традиций; она не свободна от темных переживаний и дохристианской древности.

Факты, которые я сгруппировал здесь, не новы. Их главный источник—Григорий Турский, писатель, каждое слово которого было предметом ученых комментариев. Но мне кажется, что они—эти факты—все еще нуждаются в правильном освещении; они не были до сих пор еще выделены из той широкой области культа, в связи с которой их рассматривает наш источник. Действительно, и Мариньян [1]), и Бернулли [2])—авторы, в последний раз изучавшие эти факты, рассматривают их, как частности и формы господствующего культа святых. Мне кажется, что культ гробниц и культ святых не вполне покрывают друг друга; первый из них обнаруживает своеобразные черты, отчасти выводящие нас за границы классической церковности.

Разумеется, Григорий не бытописатель народных суеверий. Он агиограф—я имею в виду его opera minora. В своих книгах: „In gloria martyrum“ и особенно „In gloria confessorum“ он дал своего рода гид для паломника по святым местам древней Галлии. Но он не довольствуется передачей слышанных им рассказов о чудесах признанных и чтимых святых. Он интересуется возникновением новых культов, явлениями и обретениями „забытых“ угодников. Его живое любопытство с жадностью ловит слухи о таинственных явлениях, нередко очень далеких от его темы. Писатель-агиограф не может побороть наивного рассказчика. И мы пользуемся его расточительностью, чтобы собрать разбросанные здесь и там следы интересующего нас культового явления.

[1]) Marignan. «Études sur la civilisation française». T. II: «Le culte des saints sous les Mérovingiens». 1899.

[2]) Bernoulli. «Die Heiligen der Merowinger», 1900.

Я возьму за отправной пункт один очень типический случай. „В пределах Турской области,—рассказывает Григорий,—была небольшая гора, покрытая терновником, ежевикой, лозняком и столь густо заросшая диким виноградом, что едва можно было через него пробраться. Ходила молва, что в этом месте покоятся две девы, посвященные богу. В канун праздничных дней верные часто видели там возженный небесными силами свет. И вот один из них посмелее, полагаясь на свое мужество, не убоялся темной ночью подойти к этому месту и увидал свечу дивной белизны, пылавшую безмерно ярким светом. Долго дивился он, потом ушел и рассказал другим о виденном. Тогда одному из жителей места девы показываются в видении; рассказывают, что они погребены там и, лишенные крова, не могут больше выносить мучений от дождей. Он же, если хочет себе добра, пусть нарежет терновнику и сделает над могилами сень". Таково начало обстоятельного рассказа Григория [1]).

По установившейся еще с IV века традиции (обретение реликвий св. Стефана) видение повторяется, сопровождаемое угрозами. Крестьянин делает больше, чем от него требуют. Предварительно он мастерит деревянный навес, но летом из свезенных им камней строит часовню. Только окончив ее, он зовет для освящения, „ad benedicendum", епископа Евфрония. Но здесь он сначала встречает отказ. Епископ жалуется на свою старость, на осеннее время, на дороги, превращенные в грязь. Необходимо новое видение святых дев самому епископу, новые их жалобы и даже слезы, чтобы побудить Евфрония к освящению часовни.

Григорий слышал этот рассказ из уст самого Евфрония, своего предшественника по Турской кафедре. Епископ любил вспоминать подробности виденного им сна. Он запомнил наружность святых дев, их походку и рост. Он узнал от них и имена. С этих пор святые Мавра и Бритта вошли в календарь Турской церкви и получили свой праздничный день [2]). Процесс канонизации закончен.

Все своеобразие этого нового культа в том, что в основе его—не память о живой личности подвижника, мученика, аскета, даже не имя, сохраненное традицией церковных диптихов: в основе—безымянная гробница и вокруг нее творимая легенда.

Прежде чем перейти к анализу этого процесса канонизации, рассмотрим несколько случаев, обнаруживающих между собою поразительное сродство. „В другом месте, в Турском округе, среди терновника и ежевики, была гробница, в которой, по рассказам, схоронен был какой-то епископ; имени его не знали жители, и хотя не многие, но совершали ему службу". Впрочем

[1]) In gl. conf., cap. 18. Цитирую по изд. B. Krusch в Monum. Germ., Scr. rer. Mer., t. I, pars 2, p. 757.

[2]) 28 января.

это упоминание о службе, встречающееся в одной лишь Брюссельской рукописи X в. (7661—71), по всей вероятности, не принадлежит Григорию, и в таком случае место всякого культа занимает легенда о погребенном епископе. Поводом к откровению на этот раз послужило святотатство „одного бедняка", который увез тяжелую крышку саркофага, чтобы покрыть гробницу своего сына. Болезнь, в течение года удручавшая его, была наказанием, а видение епископа открыло его вину. Явившийся называет себя: „я—Бениги епископ, чужестранцем пришедший в этот город". На этот раз автор не сообщает о дальнейшем развитии культа, ограничившись рассказом о чудесах, имевших место при возвращении камня [1]).

В Маллиаке [2]), городке той же Турской области, был монастырь, „построенный на вершине горы, окруженный древними, уже разрушенными зданиями. Говорят, в этом месте была потаенная крипта, и никому из христиан не было открыто это место, но в каждую ночь накануне господних праздников жители видели возженный свет, хотя никто не знал, что означает сия тайна: только подозревали люди, что здесь скрывается что-то божественное". Тайну разглашают двое одержимых, как всегда, одаренных ясновидением. „Здесь покоится блаженный Соллемний в скрытой крипте". Они же указывают и место, где нужно копать, и где, действительно, найдена подземная крипта, в которую ведет ряд ступеней, и в ней „большая гробница" [3]). Святой Соллемний был отожествлен с еп. Шартрским (современником Хлодвига), так же, как и св. Бениги. Но для нас интересны не эти отожествления, являющиеся последним звеном цепи, а начальные моменты нового культа, который, очевидно, может относиться и к „неведомому богу".

Попробуем анализировать элементы этого культа. Прежде всего бросается в глаза, что это культ народный в двояком значении этого слова. С одной стороны—мирской, светский. Почин исходит не от церкви, которая только в одном случае у Григория формально благословляет его, хотя и после некоторых колебаний. В двух других о вмешательстве церковной власти даже не упоминается, хотя многочисленность чудес у крипты Соллемния, в связи с позднейшей судьбой культа, заставляет предполагать его. Действующие лица обыватели—„incolae, habitatores". Но это народ и в социальном смысле слова, т. е.

[1]) Gl. conf., cap. 17. В Утрехт в 966 г. перенесены реликвии Бенигна вместе с другими святыми. Читается passio Бенигна Дижонского. Но «Translatio S. Agnetis, S. Benigni etc.» называет его еп. Шартрским и рассказывает о первом обретении его реликвий при Хлодвиге, который перенес их в монастырь на Луаре; впоследствии они были скрыты при норманских набегах. Болландисты считают Бенигна еп. Шартрским: A. S., 28 Iuni; t. V, 359 p. (Translatio 27 Januarii).

[2]) Maillé, с. 1619 г. Luynes.

[3]) Gl. conf., c. 21.

нисшие слои его. „Бедняком“ назван похититель саркофага Бенигна, удостоенный его видения. Муж, которому являются турские девы, сам с топором в руках строит навес, сам на телеге, запряженной волами, свозит камни, из которых строит часовню. Наконец, и характеристика описываемых мест заставляет предполагать в почитателях заброшенных гробниц деревенское, крестьянское население. Дикая пустынность ландшафта рисуется очень ярко. Дважды упоминается непроходимая чаща, дважды вершина горы. В одном случае античные руины на горе, хотя и поблизости монастыря, создают впечатление — вероятно, не случайное,—мрачного запустения. В этой обстановке появляется таинственный ночной свет. Впрочем, хотя Григорий и настаивает на божественной природе этого света, но смельчак, вздумавший наблюдать его над могилой турских дев, нашел в чаще восковую свечу—„cereum“; другой, явившийся туда с топором—очевидно, днем—видел только капли воска, „validas de cereis guttas in modo libani odore nectareo flagrantes“. Впрочем, в других случаях Григорий признает, что свечи приносятся на могилы „усердием христиан“: например, на гробницы Бенигна Дижонского и Амаранда Альбигойского, еще не пользовавшихся церковным почитанием [1]). Итак, ночные огни не только возбуждают религиозное любопытство и, подвергаясь чудесному их толкованию, начинают ряд новых знамений, но говорят уже о зародившемся, хотя бы и тайном, быть может, даже одиночном культе.

Я должен был подробно остановиться на анализе этих трех „откровений“, потому что нигде процесс создания новых святых или точнее—новых культов не прослежен Григорием с такою исчерпывающей полнотой. (Ведь он описывает, почти как очевидец, то, что совершилось в Турской земле). Здесь целы все звенья цепи, в других местах разорванной. Кое-где нам удается увидать начало ее—безымянные гробницы, чаще конец—откровение угодника в видении или чуде; иногда же все перипетии протекают в таком сокращении или схематизации, что становятся понятными лишь в освещении анализированной группы фактов.

Генезий Оверниский открылся совсем недавно—„nuperrimo tempore“, при еп. Авите, современнике Григория, его пережившем (еп. с 571 г.). Нас вводят in medias res. „Бедняк“, потерявший своих волов, видит во сне „некоего мужа“, который обращается к нему со словами: „Иди по дороге, ведущей в лес, и ты найдешь волов, которых разыскиваешь с такой заботой: они щиплют густую траву у мраморного камня; запрягши их в телегу, возьми камень и положи на гробницу, которая стоит вблизи дороги. Это моя могила; я, говорящий с тобой—Генезий; в одеждах крещения [2]) я мучеником покинул этот свет“. Сон сбывается,

[1]) Gl. mart., c. c. 50 и 56.
[2]) «In albis positus». Gl. mart. c. 66.

а ряд чудес побуждает епископа Авита построить не часовню, а базилику, уже в то время полную паломниками, чающими исцелений, и учредить св. Генезию праздник.

Здесь особенно поразительна быстрота создания и расцвета нового культа, у которого, повидимому, нет никаких церковных традиций [1]). В этом убеждает нас еще одно обстоятельство: епископ, по свидетельству Григория, „украсил эту базилику и реликвиями святого Генезия Арльского“. Имя знаменитого патрона римского Арелата, мученика, воспетого Пруденцием, в связи с полным отсутствием данных о древнем культе Генезия Оверниского, явственное и из рассказа Григория, заставляет предполагать теперь самых осторожных исследователей (Дюшена, Делеге), что здесь имело место культовое удвоение Арльского мученика. Этот случай не стоит особняком в святцах старой Галлии. Не останавливаясь на вероятных, но все же спорных отожествлениях, достаточно указать, что миланская чета святых—Назарий и Цельзий чтились, как местные мученики, в Эмбрене (и это предание было уже в VI в. закреплено в их актах [2]), а Каппадокийские близнецы: Елевсипп, Мелассипп и Елевсипп—в Лангре, по крайней мере, с середины VI века [3]). В большинстве этих случаев такое удвоение личности святого связано с рассеянием его реликвий. Но оверниский случай своеобразен. Легенда развивается вокруг не реликвий, а гробницы. Мраморный саркофаг у лесной дороги, крестьянин, удостоенный видения, вводят нас в уже знакомую обстановку. Не хватает сведений о тайном культе, предшествующем откровению. Необходимо предположить его, чтобы сделать понятным остальное.

Мученик Бенигн Дижонский в конце VI века пользовался столь бесспорной славой, что мы не могли бы и ожидать от Григория истории происхождения его культа, если бы она не была так тесно связана с его фамильными воспоминаниями. Установление нового культа относится ко времени Григория Лангрского, прадеда нашего автора (от 506—7 до 539—40 г.). Но так как с тех пор было составлено и пользовалось общей известностью житие св. Бенигна, то Григорий, начиная свой рассказ с кончины мученика и погребения его, несколько затушевывает беспочвенность его недавнего культа. Может создаться впечатление, что происходит не откровение нового мученика, а откровение его реликвий.

[1]) Le Blant, «Inscriptions chrétiennes de la Gaule», t. I, p. 15, n. 476, предполагает наличность (утраченной) эпитафии с упоминанием «in albis». Cognomentum святого Puer или Infans в мартирологиях.—Saint Genez l'Enfant. Его Acta не напечатаны, как слишком fabulosa для болландистов; французский перевод у Branchine. Vie des saincts d'Auvergne p. 348. В Оверни чтили св. Генезия, епископа VII века (3 июня), и св. Генезия «comes» (5 июня), которых болландисты отличают от Genesius Infans A. S. 28 octobris.

[2]) Quos apud Ebredunensim Galliarum urbem passos lectio certaminis narrat. In gl. Mart. c. 46.

[3]) L. Duchesne, Les fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule t. I. p. 50,

Однако, положительное свидетельство Григория, что в начале VI века акты мученика были в Дижоне неизвестны, резкая оппозиция епископа его почитанию, наконец, смелость фантазии его агиографа, современного описываемым событиям [1]), указывают скорее на то, что Бенигн был совершенно неизвестен в Дижоне в эпоху Григория Лангрского. Когда Турский епископ говорит о церковном почитании местных святых, еще не открывших своих реликвий, он не забывает упомянуть об этом [2]).

Около Дижона [3]) была древняя полуразрушенная крипта, спустившись в которую можно было видеть большой саркофаг. „Люди нашего времени,—рассказывает автор по семейным воспоминаниям,—и особенно бл. еп. Григорий, думали, что там схоронен кто-нибудь из язычников". „Люди нашего времени"— очевидно, интеллигенция или круги, близкие к церкви—в своих предположениях основывались на больших размерах саркофага. Их археологические основания шатки, но если бы гробница носила какие-нибудь следы христианской символики, их предположение было бы необъяснимым. Не так думал и верил деревенский люд—rustici. „Они приносили там обеты и скоро получали просимое". В благодарность они ставили на гробницу свечи как везде.

Епископ пытался прямо бороться с этим народным поклонением [4]), и только видение Бенигна сломило его упорство. Мученик „открывается" епископу. „Se revelat" естественнее всего понять: в видении открывает свое имя. После этого канонизация (разумея под ней установление церковного культа) совершается немедленно и на этот раз увенчивается находкой жития, принесенного через несколько лет путешественниками или паломниками из Италии (так кажется правильнее понимать текст: ab euntibus in Italiam [5]). Последнее обстоятельство не только не разрушает представления о народном, внецерковном происхождении мученика Бенигна, а скорее укрепляет его. Италия VI века почти не обнаруживает и собственного агиографического творчества. Ее судьба—покрывать своим священным именем произведения, явно легендарные, которые с трудом могли бы быть приняты на родной почве без этого авторитета. Мы знаем из того же Григория Турского, что епископ Труа, заподозревший клирика часовни св. Патрокла в подложном составлении его актов, уверовал в них лишь тогда, когда рукопись их была принесена ему воинами, возвращавшимися из Италии [6]).

[1]) L. Duchesne, l. c. t. I p. 54.

[2]) Св. Маллоз и Виктор в Биртене: In glor. mart. c. 62.

[3]) Церковь св. Бенигна, заменившая крипту, стояла вне стен города. Древность постройки отмечена Григорием: cripta illa, quae ab antiquis transvoluta fuerat, dicuta erat.

[4]) „Nullo modo credebat, sed magis, ne ibidem adorarent, fortiter testabatur". Gl.mart, c. 59.

[5]) Несмотря на защиту болландистом буквального толкования: A. S. Nov. I, p. 135.

[6]) Gl. m. c. 63.

Далеко не так ясно происхождение культа Альбигойского мученика Амаранда. Его не дошедшее до нас житие, которое видел Григорий [1]), рассказывало об откровении его гробницы, „долго таившейся под зарослями терновника". Но за этим следует вторичный упадок культа, вызванный полным обезлюдением местности после вражеских нашествий. Житие утверждало, однако, непрерывность культа мученика, поддерживаемого пришельцами. Крипта в пустынной местности и свечи, зажигаемые на могиле—слишком знакомые нам черты, тем более ценные, что по всем признакам картина этого культа относится к V веку [2]). К сожалению, за утратой его жития, мы совершенно лишены возможности судить, насколько церковные влияния и традиции могли питать этот народный культ.

Вот все, что сообщает нам Григорий о культе деревенских безымянных гробниц. Я изолирую эту группу верований от круга однородных городских преданий потому, что они представляют много особенностей; они свободнее от церковных воздействий, самочиннее и смелее. Они дают и больше намеков для раскрытия смысла всех безымянных культов. Их малочисленность у Григория Турского не удивительна. Ведь, эти культы попадают в поле его зрения лишь тогда, когда развитие их вполне закончено: наречено имя, построен храм, когда церковь, вообще, совершила рецепцию. Иначе, что заставило бы паломника отклонить свой путь от епископальных городов и общепризнанных национальных святилищ в глушь деревень и вилл, в глубь лесных дорог? Да и то почти во всех описанных случаях (в 5 из 6) Григорий рассказывает о том, что творится на родной ему земле Оверни, Тура, Дижона. Мы должны предположить, что дороги Галлии были покрыты гробницами, служившими предметом поклонения для окрестного населения, если одна Турская епархия в VI веке даст печать канонизации трем из этих народных святынь. Но раз канонизация совершилась, агиография совершенно окутывает туманом начала культа (как это случилось напр., со св. Бенигном). Следовательно, ни до, ни после церковной рецепции этот процесс обычно не доступен нашему наблюдению. Григорий, как мемуарист, не агиограф, в немногих случаях приоткрывает завесу.

В городе не меньше чтят старые безвестные гробницы, смотрят на них с суеверным страхом, слагают легенды. Но самая многочисленность их, нагроможденных по кладбищам, вокруг базилик или в их стенах, разбивает внимание, мешает индивидуализации, не дает процессу канонизации доразвиться до конца. С одной стороны, реликвии признанных мучеников, гроба святых епископов насыщают религиозную потребность города,

[1]) In glor. mart, c. 56.

[2]) Св. Евгений Карфагенский, избравший себе могилу в одной крипте с Амарандом, скончался в 505 г. In gl. m. c. 57.

впитывают весь поток обетов и молитв. С другой—„обретения“ и „откровения“ оказываются под более строгим контролем церковной власти, которая направляет их по желательному ей руслу. Столько древних епископов, имена которых занесены в церковные диптихи, покоятся неведомо где [1]); столько найденных святых останков лишены храмов, заброшены или пользуются еле теплящимся культом [2]). И тем не менее легенда роится вокруг безымянных гробниц. Однако, центры притяжения здесь иные. В деревне тянутся к одиноким могилам в глухой местности. В городе с уважением смотрят на гробницы, стоящие в кругу церковной ограды, поближе к останкам мучеников, ad martyres. Неведомые усопшие „sanctorum sociati sepaleris“, делаются причастными славе своих небесных защитников.

Обширное и древнее Отенское кладбище, около разрушенной церкви Стефана [3]) с XVII века привлекало к себе внимание археологов и исследователей церковных древностей. Воображение людей VI века также влеклось к нему. Григорий убежден, что среди стольких мертвых скрываются гробницы „верных и достойных бога душ“. Часто там слышится таинственное пение, „многим являются нередко“ они—эти души, которым Григорий все же не решается дать имя святых. Он передает слышанный им рассказ, как двое из „местных жителей“, привлеченные пением в базилике св. Стефана, ночью входят в нее и видят поющий хор... „В храме нет огней; но от них исходит свет, озаряющий все“. Один из незнакомых мужей строго укоряет дерзких пришельцев за то, что они нарушили „тайну их молитв“. Он приказывает им оставить не только храм, но и их дома. Ослушавшийся этого повеления умирает [4]). Ночное пение, соединенное с таинственным светом, играет в храме ту же роль, что свечи на одиноких могилах: знамение присутствия святых сил. Следует заметить, что на этом же кладбище в эпоху Григория чтили гробницы святых епископов Отена, из числа которых саркофаг Кассиана был „почти насквозь просверлен“ больными, соскабливавшими его пыль для лечебного напитка. И хотя базилика св. Стефана находилась за городской стеной и, повидимому, вокруг нее вырос особый поселок, где имели свои дома упоминаемые Григорием „местные жители“, [5]) городской, и даже епископальный характер „полиандрия“ несомненен.

[1]) См. обретения Урсина в Бурже (G. c. 79), Валерия в Сен-Лизье (c. 83), Маллоза и Виктора в Биртене (G. m. 62).
[2]) См. о Лимпнии Оверньском (G. c. 35), о Патрокле в Труа (G. m. 63).
[3]) „Polyandre de S.-Pierre l'Estrier“.
[4]) G. C. 72.
[5]) Заключаем это из выражений Григория: apud Agustidunensim urbem... duo ex incolis l o c i... a domibus vestris abscedite... alter vero, qui in loco remansit. G. C. 72.

В Клермоне Овернском при постройке базилики в честь мученика Антолиана, еще в начале VI века [1]), „закладывая фундамент, удалили многочисленные тела святых, не зная, каковы заслуги тех, кто покоился в найденных гробницах“. Это место было частью старинного кладбища, и, очевидно, у многих существовала презумпция святости этих останков. По крайней мере, мученик Антолиан, явившись „некоему мужу“, горько жаловался на совершенное ради него святотатство: „Горе мне, ради меня обижены многие из моих братьев“. Быть может, эта легенда сложилась и позднее, в конце столетия, когда обвал этой церкви при еп. Авите приписывали пророческому слову мученика [2]). Во всяком случае, от этих верований были далеки епископальные круги начала столетия, т. к. строительницами церкви, потревожившими останки святых, были сестра и жена епископа Аполлинария. Замечательно, что немногие случаи сопротивления или безучастия епископов по отношению к народной канонизации безымянных святых рассказаны Григорием о деятелях прошлых поколений (Евфроний Турский, Григорий Лангрский, семья Аполлинария). К концу века такая критическая сдержанность становится редким явлением. Григорий Турский и Авит совершенно увлекаются течением народных верований.

Однако, у Григория нельзя не заметить некоторых колебаний, какой-то неясности воззрений. Подробно описывает он старое кладбище при базилике св. Венеранда в его родном Клермоне. Гробницы здесь отчасти собраны в сводчатой пристройке у западной стены храма, отчасти рассеяны на дворе между смежными базиликами Венеранда и Иллидия [3]). Под кровлей „много гробниц, высеченных из „паросского“ [4]) мрамора, в которых почиют некоторые святые мужи и монахини (mulierum religiosarum). Нет сомнений, что они христиане, так как изображения на гробницах повествуют „о чудесах господа и его апостолов“. Действительно, это обычные темы скульптуры христианских саркофагов IV—V веков [5]), а в Клермоне их образцы можно было видеть еще в XVII столетии. Но Григорий доказывает лишь христианство покойных, святость которых им предполагается. Действительно, это, повидимому, обычное заключение для людей его времени: древняя и христианская гробница, значит—гробница святого. Правда, в начале следующей главы он говорит осторожно о гробницах „верных“, но кончает ее выражением уверенности в небесной славе этих неведомых праведников: „там лежат, как мы сказали, мужи славных заслуг, имена

[1]) Еп. Аполлинарий, сестра и жена которого строят церковь, занимал Оверньскую кафедру в 515—516 годах. Greg. Tur. Hist. Fr. III, 2.
[2]) „Qui haec coeperunt ad effectum perducere non possunt“ G. M. 64.
[3]) G. C. c. c. 34 и 35.
[4]) „ex marmore Pharioˮ. Ibid.
[5]) Ср. Le Blant. Les sarcophages d'Arles.

которых, неизвестные людям, записаны—мы веруем в это—на небесах“ [1]). Чудесные явления, связанные с некоторыми из этих гробниц, показывают, что речь идет о настоящей, т.-е. чудотворящей святости. Григорий не раз видел своими глазами, как один нищий присаживался на крышке маленькой гробницы, „высеченной из грубого камня“. И вот однажды она шумно треснула под ним, по силе почившего, вероятно, оскорбленного каким-нибудь грехом этого человека, который был отброшен далеко в сторону. Как же сомневаться, что в ней таится что-то божественное“ [2])? Еще удивительнее проявляет свою силу другая покойница. Впрочем, это или случилось очень давно, или в отсутствие Григория, „в то (неизвестное нам) время, когда Георгий, гражданин Веллавов, владел комитатом города Арвернов“. Обвалом свода была разбита крышка одного саркофага; там оказалась дева в белой одежде и нетронутая тлением: „словно она только что покинула наш свет“. По цвету ее платья „некоторые из наших предполагали, что она скончалась в белой одежде крещения“. Сам Григорий, впрочем, подозревает, что труп был набальзамирован [3]), и не видно, чтобы он сделался предметом поклонения. „Говорили, что на ней нашли кольца и золотые ожерелья и тайно унесли, чтобы не узнал епископ“. Целый год гроб стоял открытым, пока, наконец, ослепшей вдове графа Георгия не явилась во сне „persona quaedam“ и не приказала ей прикрыть саркофаг девы чистым камнем.

Исцеление слепой позволяет Григорию не сомневаться в „славной заслуге“ безымянной девы, однако, вопреки своему обыкновению, он не рассказывает о дальнейшем росте культа [4]). Но здесь же на кладбище св. Венеранда мы видим новый культ уже в полном развитии. Немощные прибегают к саркофагу и, „соскоблив прах с него, пьют, растворив в воде, немедленно получая исцеление. Столь часто требуется отсюда лекарство, что от постоянных благодеяний гробница, просверлена насквозь“. Мы могли бы предположить даже наличность старого и обоснованного культа, если бы Григорий, столь хорошо осведомленный во всех преданиях оверньской старины, не выражался с чрезвычайной осторожностью: „говорят, что в ней (в гробнице) схоронен был некий монах Александр“. Конечно, почти всегда от нас скрыты основания выбора и предпочтения народных вкусов.

[1]) Леблан (Inscriptions n. 563) сообщает надпись, виденную в XVII в. Рюинаром в капелле церкви св. Иллидия: „hic requiescunt corpora sanctorum, quorum nomina Deus scit“.

[2]) Haberi in eo divinum aliquid G. C. 35.

[3]) Sed credo, eam aromatibus fuisse conditam. G. C. c 34.

[4]) Клара? В рукописи liber de ecclesiis Clarom. (10 в?), изд. Савароном, II, 10: in ecclesia sancti Venerandi altare sancti Iuliani,—altare sanctae Mariae, ubi Sanctus Venerandus et sanctus Lingninus et sanctus Nep tianus et sanctus Avitus et sancta Clara et alii sex milia ducentorum in corpore quiescunt, quorum nomina Deus scit. Цит. по изд. Krusch, S. R. M. I/2, p. 765, n. 7.

Почему „блаженный мученик Лиминий, история страданий которого известна жителям“ [1]) не пользуется совершенно никаким культом, и почему в нескольких шагах от него саркофаг безвестного Александра проскоблен насквозь. Или только потому, что он „sculpti meritis gloriosum“? В таком основании для культа нет ничего невозможного.

Гробницу Галлы Григорий упоминает только потому, что на ней он мог прочесть эпитафию: Sanctae memoriae Gallae [2]). Ни о каких следах культа у Григория нет и речи. Впоследствии, однакоже, святая Галла попала в оверньские святцы; мы не знаем, когда именно. Эта эпитафия и была, очевидно, единственным основанием. Установил же болландист H. Delehay, что значительное число мучеников в Сардинии и Салоне обязаны своим существованием неправильно понятой эпитафии.

Гробница Кресценции в Париже дает нам другой пример эпитафии, как отправного пункта народной канонизации, которая творится путем своего рода религиозного экспериментирования. И здесь Григорий положительно утверждает отсутствие всякой традиции [3]). На гробнице, о которой даже старики не могли ничего припомнить, была надпись: Hic requiescit Criscentia sacrata Deo puella. „Недавно кто-то из клириков читает эту эпитафию. И вот, по внушению веры, заподозрили люди, что дева может получить нечто от божественного величия. И пока находятся в этом колебании, кто-то, мучимый жаром третичной лихорадки и сильным ознобом, выпил немного (разведенной) пыли, соскобленной с гробницы: тотчас озноб прекратился, и он здоров“. Дальнейшие чудеса не заставляют себя ждать, сопровождаемые знакомыми нам видениями. Над могилой Кресценции частным усердием уже сооружена часовня, но церковь еще не санкционирует этого культа. Клирик только прочел эпитафию. Милости новой святой изливаются, повидимому, на мирян: все это—„некие‘ мужи“, один назван монетчиком города [4]).

Есть особая группа эпитафий, которая должна была вызывать религиозное уважение. Это in albis positi, умершие вскоре после крещения. Сборник Леблана дает не мало примеров: „in albis cum pace recessisse“ (Valentinianus в Кельне) или „albas suas octabas pascae ad sepulcrum deposuisse“... — „lotus fonte sacro prius recessisse in albis“ [5]). Презумпция безгрешности заставляет верить в их небесное блаженство: — „albatum vexisse in arce poli“.

[1]) G. C. 35.

[2]) Ibidem.

[3]) Sed nulla aetas recolere poterat, quale ei fuerit meritum vel quid egisset in saeculo. G. c. 103.

[4]) Monitarius urbis, ibidem.

[5]) Le Blant. Inscriptions, n. n. 476, 475.

Григорий упоминает об этих „убеленных“ исповедниках. Некоторые удостоены даром чудес. Таков „некий Лупиан“ in vico Ratiatense (Rézé) епархии Пуатье in albis transiens, по преданию крещенный самим Иларием [1]). Таков beatus Lusor in vico Dolense (в Déols'e Буржском), сын сенатора Левкадия, памятного в Буржской церкви, одного из первых неофитов и патронов христианской общины. Там же показывалась и „горница, которую он огласил своим младенческим криком“ [2]). Lusor infans (Saint Ludre) чтится доныне, и в Деольской церкви можно видеть саркофаг, который вызывал восторг Григория: „sepulcrum... ex marmore Phario mirabiliter exculptum“. Он покрыт изображениями охотничьих сцен и несомненно языческого происхождения [3]). Мы уже видели, что Генезий Оверньский открылся, как почивший in albis, но не знаем, могла ли его эпитафия дать основание для видения. О Кларе Клермонской мы знаем положительно, что такое убеждение в ее святости сложилось не из эпитафии и не из предания: ob candorem vestimenti holosirici [4]).

Такое свидетельство гроба или останков интересно, как один из отправных пунктов легенды, которая умеет плести очень длинную нить из скудных археологических данных. Рубец на черепе (cicatrix capitis) еп. Евтропия Сентского, обнаруженный во время перенесения его останков, был понят, как знак мученичества. И видение святого подтверждает догадку [5]), возводившую исповедника в новое достоинство.

Но возвращаемся к парижской гробнице.

Отношение к гробнице Кресценции может быть названо религиозно-корыстным. Здесь много расчета, мало воображения. Впрочем, может статься, что это впечатление вызвано формой изложения Григория, который не знает или опускает предварительную работу легенды, приведшей в конце своего развития к культовому акту. Но многочисленны случаи, где нет и тени корыстной предвзятости, где нет и культа, где легенда творит свободно, привлеченная одним таинственным обаяниям старых гробниц. Конечно, эти легенды беззаконно проскользнули в трактат „о славе исповедников“. Григорий должен был просеять с агиографической точки зрения огромную массу кладбищенских преданий, если случайно сохраненный у автора остаток их оказывается не таким уж ничтожным.

Когда речь идет о гробницах внутри базилик, легенда (или отражающий ее автор) чаще всего прикована к целым группам, или к парам, стоящим рядом или симметрично, одинаковым по

[1]) G. C. c. 53.
[2]) G. C. c. 90.
[3]) A. S. Nov. II, p. 266.
[4]) G. C. 34.
[5]) G. M. 55.

величине и скульптурной обработке. Нечего говорить, что „паросский“ мрамор и здесь играет видную роль [1]).

В Эре [2]) во время Григория можно было видеть в церкви три рядом стоящих гробницы. Одна из них вся выдавалась над поверхностью пола, другая отчасти была погружена в землю, третья ушла еще глубже. „Непрерывные чудеса“, о которых здесь рассказывали, состояли в том, что эти гробницы, когда-то скрытые под каменным полом, разбили его и поднимались медленно, но постоянно, одна за другою. „Старое предание“ [3]) прибавляло, что здесь были погребены три пресвитера, „близкие по любви к богу и братья на небесах“.

В Буйаке [4]) гробницы двух пресвитеров стоят у противоположных стен. Во время церковной службы можно слышать их голоса, сливающиеся с пением хора. Один подпевает левому хору, другой — правому. „Столь сладостно это пение, что слушающие его со вниманием, приходят в умиление“. Здесь „высокая святость“ несомненна; здесь получают и частые милости.

Впрочем, не одни святые сохраняют дар голоса за гробом—„post sepulcra vivunt“. Аббат Венанций в Туре слышал во время мессы голос из одной могилы. Когда пели молитву господню, усопший повторил последние слова: „Libera nos a malo“. Здесь заслуга уже—не говорить, а слышать. Но Венанций могучий чудотворец: он боролся с демонами и слышал пение ангелов. Однажды, придя к гробнице пресвитера Пассива, он узнал, со слов самого покойника, какова его заслуга и небесная награда [5]).

Два пресвитера почитаются и в Лиможе, где их считают спутниками Марциала, одного из апостолов Галлии. Они схоронены в его крипте, и гробницы их стоят у стен друг против друга. Рассказывают, что прежде они стояли рядом у стены, но так, что одна загораживала другую и препятствовала воздавать ей должный культ: расстилать покровы, зажигать свечи. Однажды утром, войдя в церковь, жители увидели их на тех местах, где они стояли во время Григория [6]).

Чудесные и самопроизвольные перемещения гробниц вообще не редкость: особенно часты они в группе легенд, которую можно назвать: „о двух супругах“ или „о двух возлюбленных“. „Duo amantes“ так и назывались в Клермоне двое усопших, легенду о которых Григорий рассказал и в своей Historia Francorum, где относит их жизнь к IV веку [7]). Самое

[1]) Qui qualis quantusque fuerit iuxta saeculi dignitatem, sepulchrum eius hodie patefecit quod marmore Phario sculptum renitet. G. C. c. 41.
[2]) Vicus Juliensis, ныне Aire.
[3]) Antiqua relatio. Gl. conf., c. 51.
[4]) In vico Vodollacensi, Bouillac Gl. conf., c. 46.
[5]) Greg. Tur. Vitae patrum, XVI, c. 2.
[6]) G. C. c. 27.
[7]) H. F. L. I, c. 47

содержание этой легенды, исполненное подлинного и древнего христианского вдохновения, конечно, сложилось независимо от границ. Целомудренная любовь или аскетический брак столь же известен на Востоке, как и на Западе; он является не только легендой, но и отражанием раннего христианского быта. Но это зерно легенды у Григория брошено на кладбищенскую почву, и мы уже не в состоянии видеть, вела ли она когда-нибудь независимое от гробницы существование. Чудесное в этом рассказе сводится к двум распространенным мотивам: загробная речь и перемещение гроба. Супруг провожает в могилу свою девственную жену и не может воздержаться от громкой молитвы: „Благодарю Тебя, Создатель, за то, что, как удостоил ты поручить мне ее, так и отдал я ее Тебе неосквернённой сладострастным прикосновением". А она улыбаясь говорит: „Помолчи, помолчи, человек божий, не нужно разглашать нашу тайну, когда никто не спрашивает". После своей смерти Иньюриоз (в H. F. Григорий дает его имя) погребен в той же базилике, и утром находят рядом их — ранее разъединенные — гробницы. Впоследствии Иньюриоз и Схоластика — клермонские святые; но уже при Григории чтят их: summo venerantur honore [1]).

Сэнтская легенда не знает ничего о своих duo sponsi, кроме того, что они происходили из рода св. Илария и умерли в одеждах крещения — „in albis positi". Но погребены они в одном большом саркофаге. Епископ Палладий хотел передвинуть на другое место их саркофаг, который заслонял проход и мешал починке стены. Однако, усилия трехсот рабочих, обливающихся потом и с криком тянущих канаты и рычаги в течение целого дня, безуспешны. На утро саркофаг уже стоит на новом месте. Кому приписать это чудо? Григорий говорит только о „силе божией", но религиозное „подозрение" сквозит в заключительных словах: „их имена никому не были открыты" [2]).

В Отене также известна чета возлюбленных, погребенных в одной гробнице: еп. Ретиций и его жена, жившие в начале IV века, т. е. и для Григория во времена полуязыческой древности [3]). Легенда рассказывает о словах, с которыми принесенный к гробнице труп Ретиция обращается к праху своей супруги, открывая целомудрие их любви. „И когда он говорил это, дивным образом сотрясалась гробница, кости девы собираются в одно место", чтобы принять рядом тело супруга. Возможно, что легенда навеяна самым фактом погребения двух останков в одной гробнице [4]).

[1]) G. C. c. 31.

[2]) G. C. 59.

[3]) Ср. о Симплиции, преемнике Ретиция: inter septem dies amplius quam mille homines sacri innovatione lavacri sunt renati. G. C. c. 75.

[4]) G. C. c. 74.

В этом предположении утверждает нас дижонская легенда. Сенатор Иларий схоронен с женой в одном „огромном" саркофаге „из паросского мрамора". Оставшиеся после них сыновья мешали возникнуть преданию о девственной любви. Григорий может похвалить только их верность и чистоту. Но то, что о них рассказывали, удивительнее всего, что пишет Григорий о святых супругах. Жена и здесь опередила — на целый год — в смерти своего мужа. Но когда он, наконец, принесен к ее гробнице, и крышка отвалена, она поднимается и обнимает правой рукой его шею. Никто не считает их еще святыми, но народ знает, „какова была чистота, страх божий, какова взаимная любовь при жизни тех, которые так обнялись в гробнице" [1]).

Мы далеко уже ушли от культа мучеников, от предполагаемых обретений святых тел. Не благоговейное преклонение перед мощью святых героев, преодолевших человеческую природу, заставляет повторять эти простодушные рассказы. Одушевляющее их настроение более человечно и интимно: я охарактеризовал бы его кратко, как связь с мертвыми. Мертвые не умирают, но „post sepulcra vivunt". С ними возможно общение, хотя не всегда и не для всякого. Мы уже видели, как общается с мертвыми подвижник Венанций. Святой Мартин может разбудить от вечного сна благочестивую Виталину. Между ними завязывается беседа. Святой приветствует покойную (dedit salutationem). Она просит его благословения. „Скажи, святая дева, удостоилась ли ты присутствия господня"? — „Мешает мне одно дело, а оно казалось при жизни таким пустым. В пятницу, в день, когда пострадал Искупитель мира, вымыла я себе голову". Мартин молился за нее и вымолил ей блаженство: „радуйся, Виталина, блаженная сестра, через три дня ты предстанешь перед божественным величеством". „После того дева являлась многим, по просьбам оказывала милости, и сказала день, в который должно совершаться ее поминовение". И ее действительно чтут в Артоне 21 февраля [2]). Вот пример святой, о которой можно было бы сказать, что она вышла из чистилища, если бы эта легенда рассказывалась не в VI веке [3]). И из этой поучительной истории видно, как неопределенна грань, отделяющая святых от мертвых, да и грани-то никакой нет: развитие в святого, не законченное на земле, может завершаться за гробом. И в этом „освящении" молитвы живых могут оказаться весьма действенными: в особенности молитвы церкви или подвижника. Живые создают святого своими молитвами и делают его своим молитвенником.

[1]) G. C. c. 41.

[2]) Gl C. c. 5 A. S. Febr. III p. 245.

[3]) Впрочем учение о чистилище, хотя и не развитое, заключено уже в легендах Григория Турского.

Иногда добрые покойники далеки от святости, но кое в чем могут проявить не совсем обыкновенную мощь. Явление во сне—это уже признак известной заслуги. В Лионе скончался муж сенаторского рода, и жена в течение целого года молится за него, заказывая мессы, для которых всегда приносит „секстарий газского вина", „в память мужа, надеясь на господне милосердие и веря, что усопший будет иметь покой в тот день, когда он вкусит приношение за душу его". На беду „негодный иподьякон", любитель хорошего вина, сильно разбавлял уксусом святую чашу. „И вот... явился ей муж, говоря: „Увы, увы, любимая супруга, даром трудился я в мире, если теперь должен пить уксус в приношении" [1]).

Представление о мертвых, как причастниках заупокойной чаши, крепче всяких молитв и видений связывает церковь земную и небесную. Не за усопших, а для усопших совершается евхаристическая жертва. Это верование могло бы быть самым выразительным символом загробного общения, если бы реальный смысл его не возвращал нас к до-христианским идеям жертвенной тризны. Ищем заключение Григория: „но и сие чудо, полагаю, совершилось не без заслуги доброго дела" (т.-е. со стороны покойного). Не святой, но заслуживший возможность делать хотя маленькие чудеса: можно было бы сказать—блаженно усопший. Но блаженство его зависит от молитвенной и жертвенной помощи живых. Ведь, не потому вздыхает он, что ему приходится пить кислый уксус, а, вероятно, потому, что уксус вредит действенности евхаристии. Жена право поступает, молясь за упокой его души, и он не считает ее молитвы излишними. Во всяком случае, он нашел свое место в книге „De gloria confessorum".

Мы чувствуем настоятельную потребность для оценки этих верований знать, чему учит церковь, — т.-е. классическая традиция ее богословской мысли IV—V веков — в этом интимном и жгучем вопросе индивидуальной религиозности: участи отшедших душ. К сожалению, классическая церковь оставляет нас без ответа. Вернее, она дает много ответов, колеблющихся между двумя системами: немедленного воздаяния и покоя в ожидании судного дня. Здесь не место исследовать развитие этих учений, которые примиряются только на рубеже VII века Григорием Великим. Древнее убеждение Тертуллиана, Лактанция, Иринея—nulli patet coelum terra adhuc salva [2])—разделяется еще Амвросием, Златоустом, Августином. Но это покой не абсолютный: будущее блаженство и страдание бросают свой светлый или мрачный отблеск во тьму гробов. Верные души—по Кассиодору—in bonis, не в боге и не на небесах; in pace, in bono,

[1]) Ut nunc acetum in oblationem delibem. G. C. c. 64.

[2]) Tertulliani de anima, 55.

in luce, in refrigerio — формулы, излюбленные римскими эпитафиями [1]). Редко встречается „небо" в прозаических надписях, в сборнике Леблана для Галлии только 2 раза, vitam transplantavit caelo(s) (№ 211) и demu(m) exultabat parad (iso) (№ 199).

Но Киприан, Иероним, Григорий Нисский открывают уже небо для достойных душ. Мученики вошли в него давно и повлекли за собой весь сонм святых. Поэты в своих эпитафиях не считаются с традицией. Они любят рисовать небо, „coelum, polus", как жилище почившего, не жалея красок из мифологии древних. Однако, и Павлин Нолanский не свободен от сомнений в эпитафии, слагаемой им Клару, сподвижнику Мартина Турского [2]).

Libera corporeo mens carcere gaudet in astris
Sancta sub aeternis altaribus ossa quiescunt...
Sive patrum sinibus recubas. Dominive sub ara
Conderis aut sacro pasceris in nemore.
Qualibet in regione poli situs aut paradisi
Clare, sub aeterna pace beatus agis.
Haec peccatorum bonus accipe vota rogantum
Ut sis Paulini Theresiaeque memor [3]).

Что из того, что и Павлин не знает, какова блаженная участь Клара: это не мешает молиться ему или просить его молитв. Ибо, если связь молитв и таинств укрепляет членов церкви земной, она не расторгается телесной смертью. Напротив, смерть освобождает скованную мощь духа и делает молитву усопших более действенной. Вот почему, хотя и редко, мы встречаем и на Галльской почве эпитафии с просьбой о молитвах — по типу: oro, ut ores. Такова Амьенская надпись франкского времени: Hildulfus ann IIII hic requiescit in pace ora pro nus. [4]). Такова и древняя греческая эпитафия, найденная в Отене (вероятно 3 ст.), и кончающаяся словами: „σεο μνησεο Πεκτοριους"—помни о твоем Пектории [5]).

[1]) Ср. C. M. Kaufman. Die sepulcralen Jenseitsdenkmäler der Antike und des Urchristentums, 1900.

[2]) Corp. Ser. Eccl. Lat., t. 29, p. 251.

[3]) Тела темницу расторгший, дух меж созвездий ликует,
Вечные здесь алтари святые кости покрыли...
В лоне ль отцов возлежишь, под престолом ли господа бога
Ты схоронен иль живешь радуясь в роще святой,—
Все равно: в небесной стране иль в обители рая,
Клар, где бы ты ни обрел мир и блаженство на век,
Эти молитвы прими от грешников ты благосклонно:
Вместе с Терезой Павлин просим: помни о нас.

[4]) Le Blant, Inscriptions, n. 677.

[5]) Ibid, n. 4. Римские катакомбы дают особенно богатую жатву молитвенных обращений к мертвым, собранную у Delehaye. Les origines du culte des martyrs. p.p. 23—7.

Конечно, не все усопшие ожидают награды. Ад тоже ждет своих жертв. Но об этом охотно забывают. Правда, у Григория есть два рассказа о могилах грешников, и мы должны привести их, так как они свидетельствуют об особом, хотя и редком, направлении, которое принимает кладбищенская легенда. В Тулузе умер некий Антонин, „совершивший много преступлений". Ночью саркофаг его, поставленный в церкви, выбрасывается через окно на середину атрия с такой силой, что крышка его расколота [1]).

Слышал Григорий и такой рассказ о случившемся в Галлии в старые годы (praeteritis annis). Похоронили женщину, которая, ведя лицемерно-праведную жизнь, скопила огромное богатство из утаенных и предназначенных для бедных подаяний. „Migrans inferno sepulta est". После ее смерти нашли преступное золото, и епископ приказал бросить его в гробницу. „И тотчас, как наступил ночной покой, слышатся звуки из гроба, плач и страшные вопли". Через три дня открывают гробницу и видят „золото, как в печи расплавленное, вливающееся в рот женщины с серным пламенем". Епископ молится о прекращении казни, и голосов уже больше не слышно [2]). Но эти случаи исключительны.

Выше мы видели, что Григорий не может не предполагать на старых кладбищах множества святых останков. Эта эпоха, вообще, не мучится совестью и не видит в человечестве „massam perditionis". Всякий может творить чудеса, по евангельскому слову о горе [3]): насколько же сильнее власть мертвых, „уснувших в господе".

Эти краткие соображения помогут уяснить нам психологическую и религиозную возможность не совсем обычных культов, которые я назвал культами гробниц. Теперь, мне кажется, мы в праве раскрыть неопределенную формулу: это не вырождающийся культ святых, а культ мертвых, перерождающийся в культ святых. Мне думается, что здесь, в Галлии VI века, можно воочию наблюдать этот таинственный процесс, пережитый ранней церковью еще в эпоху гонений [4]). Поклонение мученикам (или на его основе поклонение святым) не зарождается с такою внутренней неизбежностью из предпосылок христианства, чтобы не требовать своего об'яснения. Это большая и сложная проблема, над которой работают в настоящее время, как последователи Узенеровской школы, так и католические историки. Теория языческого Олимпа, продолжающего свою жизнь на христианском небе, была развита Узенером более блестяще, чем убедительно. Отдельные образы святых не поддаются без насилия сведению к формам античных божеств. Доказаны только заимствования легенды: переход отдельных мифических черт и мотивов, а главное, — миф вторгается в легенду в сравнительно поздний период ее развития. Скромное поклонение могиле мученика иногда свободно от всякой легенды. Более убедительны аналогии из культа героев, которые напрашивались еще для современников Юлиана. Однако, теория происхождения христианского культа святых из древнего культа героев в собственном смысле слова, если бы она была развита серьезно, наталкивается на непреодолимые трудности.

[1]) Gl. mart., c. 88.

[2]) G. M., c. 105.

[3]) V. P. III, prol.

[4]) Позднее распространение христианства в Галлии, еще далеко не повсеместное в эпоху Григория Турского и исключительное внимание этого писателя к народным культам могут оправдывать смелость построения, которое привлекает материал VI века для об'яснения явления II и III веков. См. работу аббат-Вакандара в Revue des Questions Historiques. t. 65, p. 421.

Я не могу здесь останавливаться на этих вопросах; хочется указать только на государственный или, по крайней мере, городской характер героических культов, который шел слишком в разрез с космополитизмом христианских общин эпохи гонений. Наконец, именно для этой ранней эпохи христианской исключительности и эзотеризма представляется совершенно невероятным соблазн оффициальных культов язычества, сделавшийся таким неотразимым в IV в., когда двери церкви широко открылись для неофитов.

Однако, изучение культа героев вскрывает в его основе другой—более глубокий, человечески убедительный и близкий всякому индивидуальному сознанию—культ мертвых. Никогда не выдыхавшийся на протяжении всей истории античного мира, этот культ озаряется особым блеском на рубеже христианских столетий. Здесь вторично, как и на заре истории, сливается культ мертвых с культом героев. И платоническая философия и религии мистерий обещают усопшим блаженство и мощь. В императорскую эпоху мертвые все Di Manes, θεοὶ καταχθόνιοι (ранее они назывались di parentes), как можно читать почти на каждом погребальном камне. Резец каменщика любит изображать почившего в прославленном „героизированном" облике, в сверхчеловеческом величии, участником „небесного пиршества" [1]). Ему приносят и жертвы и молитвы. Его могила—heroon. В письме, приписанном Непотом Корнелии, матери Гракхов, она завещает свою волю: ubi mortua ero, parentabis mihi, et invocas deum parentem [2]).

[1]) Ср. Kaufmann, «Jenseitshoffnungen», «Die sepulcralen Jenseitsdenkmäler». Для Галлии богатый материал в корпусе Espérandieux: «Recueil général des bas-reliefs de la Gaule Romaine».

[2]) Fragm. XII. Corn. Nepos, ed. Halm, p. 123.—Цит. у Delehaye, p. 12. Для греческого культа ср. Dieterich Nekyia, p. 88—9, p. 59 not.

Трудно не видеть „аналогии принципов“ по выражению болландиста Delehaye, между этими алтарями, посвященными D. M. и скромными надписями из катакомб:

Vincentia in Christo petas pro Phoebe et pro virginio eius,
... roges pro nobis, quia scimus te in Christo...
... pete pro parentes tuos Matronata Matrona.
ΣΕΜΝΗ ΩΡΑ ΠΡΩ ΤΟΥΩΣ.
Attice spiritus tu(u)s in bonu ora pro parentibus tuis,
tu pe(te), tu pe(te) pro eos [1]).

Как из этого личного или семейного культа вырастает героический культ мученика, сначала местный, потом вселенский—это выяснено в работах Lucius'a [2]) и особенно Delehaye. При всем радикальном неприятии христианством „языческого“ мира, здесь оно стояло с ним на общей религиозной почве. И в опасный момент перелома, при соприкосновении с поверхностно христианизированными массами, церковь видит в своей ограде и языческие формы, связанные с этими родными для неофитов религиозными представлениями. Эльвирский собор еще в конце III века вооружается против обычая зажигать свечи на могилах — знакомого нам в Галлии VI века: cereos per diem in coemeterio non incendi, inquietandi enim spiritus sanctorum non sunt (c. 34) [3]). В конце IV века церковь почти повсеместно борется против поминальных тризн, сопровождавшихся разгулом на кладбищах [4]). И как раз на рубеже V века мы видим в разных концах христианского мира стихийное движение, грозящее затопить уже сложившийся культ мучеников в культе безвестных гробниц. Из постановлений африканского собора мы видим, что дороги и поля покрываются алтарями или часовнями в честь мнимых мучеников: Item placuit, ut altaria, quae passim per agros et per vias tanquam memoriae martyrum constituuntur, in quibus nullum corpus aut reliquiae sanctorum conditae probantur, ab episcopis, qui locis eisdem praesunt, si fieri potest, evertantur“ [5]). Бл. Августину приходится отражать нападки манихея (Фауста)—„defunctorum umbras vino placatis et dapibus“ [6]), и отвечать на упрек философа [7]): „католические христиане не поклоняются мертвым“. И почти в эти же годы в Египте Шенуте, основатель коптской церкви, ведет упорную борьбу с паганизацией культа. Разрушаются храмы, коптские массы, вдохновленные своим вождем, не останавливаются перед насилиями над язычниками. И в то же время... „каждую кость, найденную в земле, выдавали за останки мучеников и, где только можно было, воздвигали над ней часовню“. Еще продолжают бальзамировать мертвых. И здесь, как в Африке, праздники мучеников превращаются в оргии, а в храмах их предаются разврату или проводят ночи, чтобы удостоиться видений [1]). Шенуте не находит достаточно резких слов, бичуя эти суеверия. „Разве в гробы никого не клали, кроме мучеников“? И он рассказывает, как ему удалось установить, что кость, которую выдавали за останки мученика, оказалась костью собаки [2]).

[1]) Delehaye, p. 123—124.
[2]) Lucius, Die Anfänge des Heiligenkultes, 1904.
[3]) Duchesne, «Le Concile d'Elvire» в Mélanges Renier, 1887. p. 163 (Lucius, 28, n. 1).
[4]) Augustinus. Ep. 22, De moribus Eclesiae cath. c. 34. Confessiones VI, c. 2, Иоанн Златоуст, слово 17.
[5]) Mansi, Concilia IV, p. 499, c. 2.
[6]) Contra Faustum XX, c. 4.
[7]) Максима (Ep. XVI и XVII).

Монах-обличитель готов иногда принципиально отрицать культ святых, являющийся в таком языческом сопровождении. Отвлечемся от возмущающих его картин соблазна. За ними останется неумирающий и древний, как само человечество, культ мертвых, приспособляющийся ко всяким религиозным системам.

Для Галлии начала V века мы имеем свидетельство о святом Мартине, как разрушителе ложных культов, связанных с гробницами. Он нашел в окрестностях Тура часовню, построенную еще прежними епископами над гробницей, почитавшейся за святую [3]). Его недоверие не останавливается перед этой церковной санкцией [4]). Он вызывает тень погребенного, которая сознается ему в своих злодействах. Мнимый святой оказывается казненным разбойником [5]).

Мы должны предполагать, что этот культ гробниц переживает V в., не останавливая внимания современников, так как мы имеем возможность проследить его на протяжении всего VI века [6]).

Чтобы вполне оценить его значение, необходимо вспомнить о том, в какой культурно-религиозной среде он развивается. Ф. де-Куланж оспаривал живучесть паганизма в меровингской Галлии. Но после исследования Викандара [7]) в ней нельзя более

[1]) I. Leitpoldt, Schenute von Atripe в «Texte u. Untersuchungen» Harnack'a. B. 25, p. 31.
[2]) Ibid. 183—4.
[3]) Erat haud longe ab oppido proximus monasterio locus quem falsa hominum opinio, velut consepultis ibi martyribus consecraverat; nam et altare ibi a superioribus episcopis constitutum habebatur». Sulpicius Severus, Vita Martini, c. XI.
[4]) «Sed Martinus non temere adhibens incertis fidem... Nec derogans religioni, quia incertus erat, nec auctoritatem suam vulgo accomodans, ne superstititio convalesceret»... (ibidem).
[5]) «Umbram sordidam trucem latronem se fuisse ob scelera percussum vulgi errore celebratum» (ibidem).
[6]) Для V в. мы видели культ гробницы Амаранды. Чрезвычайно интересная история Revelatio S. Corcodemi, вошедшая в состав V, S. Germani Autosiodorensis, к сожалению, не может быть точно датирована. A. S. Iuli 31, §§ 17—37 Ср. § 64. Levison в „Neuer Archiv“. B. 29.
[7]) R. Q. H. 65, p. 424.

сомневаться. Жития святых полны свидетельствами язычества, каноны соборов—формальны. Григорий Турский рассказывает со слов очевидца, о статуе Дианы в Трирском диоцезе (у Ивуа) которой поклоняются крестьяне [1]), и изображает одного христианина совершающим при жизни еп. Ницетия Трирского († после 564 г.) путешествие в Италию на корабле, полном язычников [2]). С какою легкостью и жадностью эти язычники воспринимают культ святых, еще не обратившись в христианство, показывает этот же самый рассказ Григория. Во время бури, когда одни взывали к Юпитеру, другие к Меркурию, Минерве или Венере, христианин советует им призвать святого „Ницетия“ (или Никиту), еп. Трирского. И их голоса сливаются в единодушном крике „Deus Niceti, eripe nos“.

Быть может, еще важнее, чем явный и преследуемый паганизм — те „пагании“, остатки языческой обрядности и магии, против которых вооружаются соборы и эдикты королей, проповеди св. Цезария и Элигия. Я здесь напомню только об одном культовом акте, окрашенном паганизмом, который стоит в самой тесной связи с почитанием гробниц. Цезарий Арелатский говорит о тризнах или поминках, которые совершаются в день праздника „престола ап. Петра“— Natale Petri de cathedra. „Я удивляюсь, говорит он, что в этот день, под влиянием гибельного языческого заблуждения, христиане, чтобы не сказать—неверные, приносят кушанья и вина на могилы покойных“ [3]). И Турский собор 567 года вторит проповеднику: „Некоторые в праздник престола ап. Петра приносят кушанья (intrita) мертвым и, вернувшись после мессы домой, впадают в заблуждение язычников и после тела господня принимают пищу, посвященную демону“ [4]).

Праздник престола ап. Петра установлен церковью на 22 февраля. В этот день римлянами справлялись поминки по усопшим (Caristia или cara cognatio). Весь февраль считался некогда посвященным подземным богам. 13—21 февраля были „родительские дни“ (dies parentales). Живые украшали венками могилы умерших и приносили им жертвы. 21 февраля был праздничный день — feralia, день государственного культа усопших. 22 февраля—Caristia—день частного поминовения и культа семейных могил. Замечательно, что не фералии, а именно каристия, т.-е. частный, не государственный культ, пережила на долго падение официального язычества.

Что удивительного, если культ мертвых, вытесняемый в его древних формах, направился по иному пути, указанному новой

[1]) Hist. Fr. I VIII c. 15.
[2]) „Solus eram inter illam rusticorum multitudinem christianus“. V. patrum XVII. c. 5.
[3]) Migne. P. L; 39 col 101.
[4]) Can. XXIII (XXII). M. G. Concilia aevi Merov, p. 133.

религией? Религиозное благоговение, окружающее гробницы, подозревает в них святых, сменивших старых богов. Церковь, боровшаяся с этой „травестией“ в IV и V веке, увлекается потоком народной веры. В Галлии VI века мы отчетливо наблюдаем ее колебания, борьбу и, наконец, решительный поворот на новый путь.

Вместе с тем в Галлии мы наблюдаем некоторые особенности в культе мертвых, которые указывают не на римское или не только римское его прошлое. Бертран, в приложении к своей книге „La religion des Gaulois“ (1897) указал пережитки кельтских обрядностей и верований в раннее средневековье. Я извлекаю оттуда одну группу обрядов, которая приводит нас к тому же культу гробниц.

Известно, какую роль играет священный камень (дольмен, менгир) в кельтской обрядности. Соборы и указы раннего средневековья говорят о живом еще культе. Арльский собор 452 г. обличает епископа, который допускает, чтобы „неверные зажигали факелы или почитали деревья, источники и „камни“. Проповедь, приписанная св. Элигию (VII в.) увещает: „Не носите факелов в храмы идолов, к камням, источникам, деревьям, или на перекрестки и не давайте обетов перед ними“. Нантский собор (VII в.) напоминает, что в диких и лесных местах народ воздает поклонение камням: им приносят дары по обету. И, наконец, Карл Великий (Ахенский капитулярий 816 г.) запрещает все эти суеверия: „безумцы зажигают свечи у деревьев, камней и источников“.

Свечи, зажигаемые у камней в глухих и лесных местах, нам знакомы. Только камни стали гробницами, скрытыми inter spinas et vepres, а живущая в них сила—мощью святых.

Впрочем, таково было их исконное значение. В мегалитических сооружениях древней Европы современное исследование видит памятники культа мертвых. Камни—гробницы или жилища духов направляют религиозное внимание к саркофагам. Не одной внешней формой саркофаг напоминает о дольмене, но и своим религиозным значением. Однако, подобно тому как духи мертвых становятся духами природными в первоначальном анимизме, так и камень-гробница, оплетенный терновником, в лесу или пустыне, приобретает стихийный смысл. Вот почему культ камня может сливаться с почитанием рощ и источников. Сам камень, не только погребенный под ним дух, становится священным, и мы можем говорить не только о культе мертвых, но и о культе гробниц. Во всяком случае это название намекает на некоторый натуралистический оттенок в культе мертвых.

Та группа одиноких деревенских гробниц, с которой я начал свое изложение, обнаруживает, таким образом, ясное сродство с пережитками кельтского (точнее, исконно древнего) галльского паганизма. В городе, где мы скорее ожидаем встретить переживания галло-римского паганизма, выступает отчетливее

культ мертвых, легенда о мертвых, общение с мертвыми. Так подтверждается старая истина, что наиболее глубокие и примитивные пласты религиозных верований оказываются и наиболее стойкими. В общем крушении античного политеизма спасены и прочно срастаются с элементами новой религиозности боги подземные, θεοὶ καταχθόνιοι.

Какова была дальнейшая судьба изучаемого нами культа? Разумеется, вопрос может быть поставлен не о культе святых и не о кладбищенской легенде, т.-е. не о самых высших и самых низших элементах этого культа: они живут и поныне. Вопрос можно поставить о том своеобразном явлении, которое является связующим эти две области: о почитании безымянных святых, приуроченном к древним гробницам. Это переходный момент от народного культа к церковной канонизации; переходный момент и в создаваемой биографии святого. Когда церковь закрыла доступ к алтарям этим неводимым избранникам народной веры? Григорий Турский вскрыл непринужденным и личным пером расцвет этого культа в VI веке. Продолжается ли он в последующих столетиях, от которых мы не имеем таких свидетельств? Мы этого не знаем. Можно только догадываться, что да. По крайней мере, каролингский ренессанс застает этот культ еще живым, чтобы нанести ему смертельный удар. Уже один из первых реформационных соборов Бонифация в 743 году, среди запрещаемых паганий, упоминает „profana sacrificia mortuorum“ [1]). В Indiculus superstionum, которым сопровождаются в рукописи деяния этого собора, культ мертвых является в оболочке культа святых: de eo, quid sibi sanctos fingunt quos libet mortuos (c. 25). Более ясные указания — не на культ мертвых, а культ неизвестных святых — дает Франкфуртский собор 794 г. „Да не почитаются и не призываются новые святые, да не воздвигаются по дорогам их часовни (memoriae), но те только должны почитаться в церкви, которые избраны достоверностью мученичества и заслугою жизни“ [2]). Ахенский собор 789 года считает нужным возобновить известное нам постановление африканского собора: „да не чтятся ложные имена мучеников и сомнительные часовни (incertae memoriae) святых [3]) Капитулярий 801 г. предполагает продолжающимся процесс обретения новых угодников, и замечательно, что запрет его не отличается такой категоричностью: допущение новых культов обусловлено согласием церковной власти: „о церквах или святых недавно без разрешения обретенных, если епископ не одобрит, да не почитаются“ [4]). Однако, век каролингского „просвещения“, повидимому, положил конец, если не народному

[1]) Conc. Liptinense, c. V.
[2]) Conc. Francof. c. 42.
[3]) Conc. Aquisgr. c. 42.
[4]) Таково же постановление Лиденгофского капит. (805—6 г.) c. 17.

почитанию, то церковной рецепции безымянных культов. По крайней мере, после IX века мы уже не слышали о нем, как о массовом явлении. Отдельные случаи всегда возможны. Еще в XVII стол. Мабильон рассказывает об имевшем место в современной ему Франции возникновении культа неизвестных святых [1]). Но подавленный каролингской церковью культ никогда уже не мог воскреснуть.

Можно догадываться, что не одно „просвещение“ его убило, Последующие столетия (особенно X и XI) уничтожили одну из его основных предпосылок: религиозный оптимизм. Участь усопших начинает представляться далеко не столь блаженной, как для людей VI века. Спасение становится проблематичным, и ад мучит воображение. Умершие нуждаются в непрестанных молитвах живых. Молиться им представляется почти невозможным. Только герои аскезы поднимаются над человеческой судьбой. Кладбищенская легенда приобретает мрачный характер, и усердный собиратель легенд, Цезарий Гейстербахский, мало может рассказать „о славе“ и очень много о „муках“ в последней главе своих диалогов, озаглавленной им „de praemio mortuorum“.

Г. Федотов.

[1]) Mabillon. De cultu sanctorum ignotorum.

Борьба двух мировоззрений.

I.

В 1913 г. академик Н. К. Никольский в статье, весьма смелой в смысле внешних требований времени и весьма плодотворной в смысле расширения ученых горизонтов,—„О древне-русском христианстве“ (Русская Мысль, июнь)—справедливо и резко указал на необходимость отказаться от укоренившегося в науке и искусственно поддерживаемого сверху представления, что история русской религиозной идеологии (т. е. „отношения народного сознания к источникам веры“) могла на пространстве более чем девяти столетий оставаться без признаков движения, развития и перемен, при наличности многочисленных первоисточников.

В самом деле, до сих пор „ни одинъ изъ историковъ русской церкви не рѣшился даже серьезно поставить вопроса о томъ, всегда ли въ русской церкви господствовала одна и та же богословская доктрина, и всегда ли она одинаково истолковывалась. Гипнозъ перешелъ и на историков древне-русской литературы... Всѣ наши современные или недавніе авторитеты въ области древне-русской книжной литературы задачи своего историко-литературного изученія заканчиваютъ тамъ, гдѣ слѣдовало бы только начинать работу. Они ограничиваются анализомъ языка, литературными параллелями и вопросами литературной исторіи, какъ будто бы библейская книга, святоотеческое творение или древне-русское поученіе предназначалось только для того, чтобы служить в настоящее время пособіемъ для исторіи языка, палеографіи и рукописной орнаментики!“.

И в этой статье своей, и в докладе, читанном в 1915 г. в Обществе любителей древней письменности, о христианстве времени св. Владимира—Н. К. Никольский сделал попытку воскресить русское христианское мировоззрение X—XI в.в., представляющееся исследователю, как вера, свободная от аскетического ригоризма, который проникает и мало-по-малу заполняет русское христианство лишь с конца XI в., и проводниками которого у нас были дѣятели Киево-печерского монастыря.

Предлагаемый ниже ряд наблюдений и фактов из русской жизни X—XII в.в., обычно незаслуженно опускаемых из виду, в связи с анализом некоторых памятников той поры,—имеет своею задачею скорее наметить путь к ответу, чем дать полный ответ на поставленный в науке Н. К. Никольским вопрос о существе древне-русского христианского мировоззрения, в виду чрезвычайной сложности темы и отсутствия научной разработки ее многих сторон. К сожалению, доклад Н. К. Никольского до сих пор остается не опубликованным, а цитованная выше статья, скорее научно-публицистического характера, построена в формах широкого обобщения на скрытых от читателя исследовательских моментах, почему в предлагаемом изложении пришлось оставить без разбора и возражений построение Н. К.

II.

История канонизации святых в русской церкви от времен крещения до падения Византии лучше всего может дать нам почувствовать ту атмосферу напряженной борьбы, в которой росло и крепло национальное сознание молодого русского государства против гнета мировых претензий Второго Рима, в существе глубоко презиравшего всякое „варварство“, пригодное лишь чрез огречивания в политическом, церковном и культурном отношениях для укрепления и возвеличения державы „ромеев“.

С особою силою эта атмосфера отразилась на памятниках, касающихся вопроса о крещении Руси и заслуг в этом деле князя Владимира. В „Очерках по церковно-политической истории Киевской Руси X—XII в.в.“ (1913 г.) мною была сделана попытка разобраться в том сложном узле политических и церковных отношений, среди которых протекала деятельность Владимира, скоро ставшая предметом страстных споров и пристрастных оценок и с русской, и с греческой стороны, возбуждаемых неотступным желанием вновь крещенных канонизациею Владимира соорудить ему достойный его подвига памятник в потомстве.

Н. К. Никольский, как сказано выше, первый обратил внимание на одну сторону в этом, до сих пор или не привлекавшую к себе интереса или неправильно толковавшуюся: „и въ лѣтописи, и въ житіяхъ, и въ былинахъ христіанство Владиміра одинаково обрисовывается, какъ вѣра, свободная отъ аскетического ригоризма“. С этим наблюдением невозможно не согласиться, хотя и возможно по-иному разглядеть существо вопроса и задуматься над его об'яснением. Смерть А. А. Шахматова лишила нас возможности располагать для исследования теперь его работою о житиях св. Владимира, где уже были собраны, изучены и частью набраны тексты этих житий, и вынуждает ограничиться рассмотрением здесь обычного материала.

Известная „Память и похвала кн. Владимиру“ Мниха Иакова представляет собою памятник сложный по своему составу и неудачно перебитый вставками о св. Ольге. А. А. Шахматов, не мало потрудившийся над его анализом, справедливо заметил, что вполне разгадать этот памятник древнейшей поры нашей литературы—задача сейчас непосильная. Для нашей цели будет, однако, достаточно обратить внимание на то обстоятельство, что в основе своей (за вычетом вставок о св. Ольге и устранением конца, взятого из какой-то древней летописи)—„Память и похвала“ свидетельствует нам о той давней поре русской жизни, когда еще раз'единялось дело крещения Руси от Корсунского похода, и когда еще не было попытки связать этот поход, брак Владимира на Анне и установление у нас греческой митрополии с самым крещением князя и Руси в одно нерасторжимое целое. Так как после восстановления А. А. Шахматовым т. наз. Корсунской легенды, представляющей собою именно попытку подобного рода, как и после восстановления им „Жития Антония“, представляющего собою подобную же попытку произвольного изложения начальной истории Печерского монастыря, явилась возможность отнести оба эти памятника к последним десятилетиям XI в. и связать с деятельностью греческой митрополичьей кафедры, преследовавшей здесь свои церковно-политические цели, то основу „Памяти и похвалы“ нужно непременно относить к предшествующим десятилетиям, потому что последующее время, вероятно, не без давления сверху, решительно усваивает корсунское крещение Владимира.

С другой стороны, нельзя не видеть, что основа „Памяти и похвалы“ еще не испытала на себе следов той тревоги за дело прославления Владимира, какие чувствуются в „Слове о законе и благодати“, по времени также стоящем до появления Корсунской легенды и относящем дело крещения к личной заслуге Владимира, узревшего истину правой веры. В самом деле, единственное место „Памяти и похвалы“, где рассматривается вопрос об отсутствии чудес от гроба Владимира и доказывается ссылкою на Златоуста, что святые познаются делами, а не чудесами, т. е. единственное полемическое место, явно направленное на опровержение приводимых, конечно, греческою иерархиею возражений против заявленной русскою стороною канонизации,—надо признать позднейшею вставкою, легко определяемою повторностью фразы, на которой она начинается и которою заканчивается, и вставкою, весьма неловкою, разбивающею развитие основной мысли.

Итак, можно думать, что основа „Памяти и похвалы“ Мниха Иакова представляла собою памятник той поры, когда канонизация Владимира еще только подготовлялась русскою стороною и не превратилась в острый вопрос тогдашней церковно-политической жизни за отказом признать это прославление Владимира со стороны греков, что ясно читается, например, в тоне „Слова о законе и благодати“ Илариона.

Поскольку последнее нужно отнести ко времени разрыва Ярослава с первым у нас греческим митрополитом (1039—1043 г.г.), и поскольку оно самою темою своею намекает нам на то, что одною из причин разрыва был отказ митрополита Феопемпта согласиться на канонизацию Владимира, постольку вероятнейшим представляется думать, что время составления основы „Памяти и похвалы“ нужно отнести ко времени появления у нас митрополита Феопемпта и до разрыва с ним Ярослава (около 1037—38 г.г.).

Описав дело крещения Владимира и всей Русской земли, равно как и христианскую деятельность Владимира по крещении (сокрушение идолов, создание церкви св. Богородицы, установление десятины для содержания духовенства и для дела благотворения—„тѣмъ попы набдѣти, и сироты, и вдовица, и нищая“,—и постройка церквей по всей земле), неизвестный автор, после горячей хвалы Владимиру („бысть апостоль въ князехъ“), переходит к сравнению его деятельности с деятельностью Константина Великого. Последний: 1) крещением просветил весь мир, заповедав закон божий во всей вселенной, 2) уничтожил следы паганизма, 3) воздвиг повсеместно храмы, заповедав в них творить память святым и 4) установил праздники на славу и хвалу Богу. Владимир сделал то же. И перечисляя в том же порядке и в тех же выражениях эти четыре стороны христианской политики Владимира, автор несколько подробнее останавливается на последней, четвертой — на установлении праздников. Владимир светло праздновал праздники господские, выставляя три трапезы (первую—митрополиту с епископами, монахами и попами; вторую—нищим и убогим, и третью—себе, боярам и мужам своим). Указав, что такою настойчивостью в служении закону божьему Владимир сближается с царями Давидом, Езекией, Иосией и великим Константином, автор характеризует жизнь и дела Владимира, как подражание Аврааму в страннолюбии, Иакову в истинности, Моисею в кротости, Давиду в беззлобии и Константину в правоверии. Но главное и основное дело жизни Владимира, как нравственного подвига, была широкая милостыня: немощным и старым он выдавал „всяку потребу“ на княжом дворе и посылал на дом тех, кто не мог придти сам. Но милостыня Владимира выходила за пределы личного дела его, как христианина: она была его христианскою правительственною деятельностью—„не токмо въ дому своемъ милостыню творяше, но и по всему граду, не въ Киеви единомъ, но и по всей земли русской, и въ градехъ и въ селѣхъ,—вездѣ милостыню творяше, нагыя одѣвая, альчныя кормя и жадныя напаяя, странныя покаяя милостію и церковникы чтя, и любя, и милуя, подавая им требованіе; нищая и сироты и

вдовица и слѣпыя и хромыя и трудоватыя—вся милуя, и одѣвая, и накорьмя, и напаяя". За это бог благодатью просветил его сердце и рукою своею помогал ему побеждать врагов. Сделав краткий очерк Владимировых внешних успехов, составитель заканчивал рассказом о смерти Владимира и передавал его предсмертную молитву.

В изложенном виде памятник должен остановить наше внимание на двух своих сторонах. Первая—внешняя. Владимир сравнивается с царями Давидом, Езекиилем, Иосией и Константином Великим, а нравственные подвиги Владимира сравниваются с подвигами Авраама, Иакова, Моисея, Давида и опять Константина Велико. Если вполне понятно и с нашей точки зрения уместно приводить и вспоминать здесь другого равноапостольного государя, то кажется странным, что все остальные имена—деятелей ветхозаветной истории. Наблюдение это может нам пригодиться в дальнейшем.

Другая сторона памятника, возбуждающая к себе интерес,—внутренняя. Автор рисует нам образ Владимира—христианина. действительно, необычными красками: полнота жизнедеятельности и жизнерадостности; радость спасения, полученного через крещение, милостыня, как избыток радости, как покрытие грехов по крещении. Нет никакого намека на хорошо нам знакомые, обычные позднее, ноты покаяния, страха и трепета пред несовершенством природы человека, желания подвигами аскезы, отказом от мирских радостей заслужить спасение. Для автора нет сомнений в том, что настроение Владимира—истинно христианское, потому что сказано: „иже вѣру имѣть (и) крестится, и спасенъ будетъ", т. е. спасение—не дело искания, а уже обладаемое чрез крещение. На земле крещенный может только радоваться. И как великий Константин, так и наш Владимир устанавливают праздники „на славу и хвалу Богу". Т. е. радование вводится в быт христианского государства, и в этом смысле знаменитые пиры Владимира—религиозное установление, о котором не только нужно, но и должно вспомнить, как о подвиге, даже в его „житии".

На Русской земле после просвящения может быть только веселие и радость, как отражение той небесной радости, какою возвеселились ангелы и архангелы, какою взыграпись души святых: русский народ спасен крещением, а лесть диавольская попрана. К этой мысли и к описанию радостных чувств, ею будимых, автор обращается охотно и не однажды.

Как отсюда видно, былинный ласковый князь Владимир, пирующий в Киеве со своею дружиною, вовсе не искажая, передает нам житийный образ св. Владимира, христианскую традицию оценки жизни и деятельности крестителя Руси.

Совершенно теми же чертами, что в основе „Памяти и похвалы", проникнуто восхваление Владимира и в „Слове о законе и благодати". Для автора „Слова" Владимир—свят, и

к этому признанию ведут три основания: он не видел Христа, к нему не приходили апостолы, а он уверовал „токмо от благаго помысла и остроумія", второе основание—его ночные милостыни и дневные щедроты, которыми у господа очищаются все грехи; наконец, третье основание—спасение чрез крещение всего русского государства. И как равное дело—равная оценка, так и Владимир должен быть прославлен, как прославлен Константин Великий. Совершенно ясно тожество христианской настроенности авторов „Памяти и похвалы" и „Слова": крещение спасает, милостыня очищает согрешения после крещения, радость—христианское настроение. Если позволительно догадаться ближе, что разумел автор „Слова" под „ночными милостынями" и что под „дневными щедротами", то кажется вероятнейшим, относя последнее к актам христианской политики Владимира, видеть в первом — установления первовековой христианской жизни—„вечери любви", чем, конечно, по существу и должны были быть христианские пиры Владимира, раз о них с особым уважением говорит нам первая попыта его „жития".

Оба памятника—и „Память и похвала", и „Слово"—проникнуты одним и тем же настроением христианской победы над диавольскою тьмою, избыточной радостности и жизнерадостности, полным отсутствием нот скорби и покаяния, страха мира и его соблазнов. Наконец, и автор „Слова" черпает образы и сравнения из той же ветхозаветной истории, как и автор „Памяти и похвалы".

Нельзя не остановиться еще на одной черте в „Слове", черте отличной от „Памяти и похвалы", и для нас особенно любопытной. „Слово" несомненно составлено после отказа митр. Феопемптом канонизовать Владимира и, вероятно, после разрыва Ярослава с этим митрополитом. И однако в „Слове" легко уловляется искание компромисса, желание примирить непримиримое по существу. Автор подчеркивает в жизни и деятельности Владимира только то, что сближает его с Византией и ее церковью: ведь крестился Владимир от руки греческого духовенства; ведь св. София, построенная Ярославом, не разрушила Десятинной церкви, построенной Владимиром. И готовый обходить молчанием многое из Владимирова времени,—как вопрос о церковной иерархии,—раз это неприятно греческому уху, автор решительно и твердо рисует нам существо христианского мировоззрения Владимира, его и времени ближайшего к нему, совершенно не желая считаться здесь с греческим христианским мировоззрением, проникнутым тогда уже печальными и скорбными нотами аскетизирующего духа.

Через несколько десятилетий после появления „Памяти и похвалы" и „Слова", в самом исходе XI в. появился, или лучше сказать мог появиться, греческий ответ на искание русских Владимировой канонизации. Памятник этот, восстановленный и изученный А. А. Шахматовым, как известно, назван им Корсун-

скою легендою. Нас сейчас не может интересовать в ней та сторона, где подвиг крещения истолковывался, как случайный этап в добывании невест женолюбивым Владимиром „несытым блуда", где место и время крещения умышленно отодвигалось к Корсунскому походу и где, наконец, во все это событие вплеталась фикция непрерывности на Руси греческой митрополии с самого момента крещения. Но нам весьма важна та сторона этого памятника, в которой читается явно тяжелая и жестокая насмешка над самым нравственным обликом Владимира, превращающая то жизнерадостно-христианское, торжествующее и победное настроение, на фоне которого выступает страннолюбивый, инстинствующий, кроткий, беззлобный и беспредельно-милостивый Владимир первых его литературных отражений, конечно, только греческою рукою, давно отошедшею от такого восприятия жизни и Христова учения и проникнутою напряженным аскетическим ригоризмом, в картину безудержного плотского излишества—пьянства и блуда.

Легко понять, насколько далеко расходились указанная оценка личности и всего дела Владимира с русскою традициею, как легко уловить здесь и то, что на обрисовке Владимира памятник давал свою оценку тому христианскому настроению, которым проникнута была „Русская земля".

И несмотря на всю резкую разницу этих оценок с русской традицией, очень скоро после появления Корсунской легенды мы встречаем попытку компромиссного примирения их в летописании конца XI в. (так называемый Начальный свод), перешедшую и закрепившуюся как в позднейшем летописании, так и в житийной владимировой литературе. Попытка эта—известна: образ Владимира Корсунской легенды, со всеми излишними подробностями его плотских невоздержаний, сохранен и закреплен за Владимиром-язычником, еще не вырванным из сетей дьявола, образ же Владимира русской традиции, с добавлением важных и любопытных подробностей установления им на Руси христианского княжего уклада, отнесен к поре после крещения, с тем, однако, новым оттенком, в котором видим уступку греческому миропониманию: Владимир-блудник, резко преображаясь в христианина, кается всю жизнь о своем языческом греховном житии: „аще бо и бѣ преже на скверьную похоть желая, но послѣ же прилежа к покаянью".

III.

Еще в 40-х годах минувшего века в науке стало известно „Слово неизвѣстнаго сочинителя, произнесенное до татаръ въ день свв. Бориса и Глѣба", но не целиком, а в отрывках. Целиком это „Слово" было напечатано впервые Х. М. Лопаревым только в 1894 г. (Памятники древней письменности Об-ва

любителей древней письменности, вып. 98) по четырем спискам. Памятнику не посчастливилось и в дальнейшем: он как-то не привлек к себе особого интереса, он не подвергся внимательному и многократному анализу, как большинство его сверстников, он, так сказать, не вошел в научный оборот, удастаиваясь упоминания больше во имя полноты научной осведомленности излагателя, чем во имя существа дела. А между тем „Слово" может дать много ценных наблюдений, как живой и непритязательный свидетель подлинных церковно-политических интересов древней Руси, вызывавший к себе отклик и в позднейшее время, о чем говорят нам попытки его переделок и приурочений.

Все четыре списка „Слова", опубликованные Х. М. Лопаревым и условно названные $П_1$, $П_2$, $О$ и $С$, могут быть—при самом поверхностном сличении—разбиты на две группы. В первую из них войдут $П_2$ и $О$, которые не только явными подновлениями и смягчениями, но простым, титулованием св. Владимира, как самодержца Русской земли, свидетельствуют о значительно-позднейшей переработке основного текста. Так как ближайшее изучение $П_2$ и $О$ обнаруживает, что ни $П_2$ из $О$, ни $О$ из $П_2$ получиться не могли, и так как взаимная близость их текстов—очевидна, то нам нужно возвести оба эти списка к общему тексту (назовем его условно чрез $А$), до известной степени легко восстановляемому.

Списки $П_1$ и $С$ можно отнести во вторую группу. Правда, список $С$ представляет собою только среднюю часть всего текста (житие князя Давида Черниговского), без вступительной и заключительной частей, но им нельзя пренебречь, потому что как $П_1$, так и $С$ сохраняют нам без всяких, повидимому, внесений и дополнений первой группы—древний текст памятника.

Так как $А$ (список, получаемый чрез сличение $П_2$ и $О$) есть позднейшая переработка этомо древнего текста, то, выделяя эти дополнения и переработки, мы можем привлечь список $А$ к обсуждению искомого древнего текста, восстановляемого в основе $П_1$ и $С$.

В рамках настоящей работы, к сожалению, представляется возможным указать только этот ход анализа списков, без действительного приведения получаемых выводов текста.

Итак, представляется несомненным, что $П_1$ (чрез сличение со списком $С$ и проверенное по $А$) дает нам весьма удовлетворительное чтение того древнего памятника, который, конечно, не носил (и не мог носить) столь неловкого и странного заглавия, какое дал ему издатель, поверив спискам позднейшим: „Слово похвальное на перенесение мощей свв. Бориса и Глѣба", а назывался, кажется, коротко: „Словомъ о князьяхъ".

„Слово" представляло собою весьма резкое обличение, произнесенное духовным лицом по адресу и, вероятно, в упор князьям, задумавшим поднять рать на старейших братьев и призывающим для того в помощь поганых, обличение, повидимому,

расчитывающее на возможность воздействия, т. е. предотвращения всего кровопролития и приступа к мирным переговорам.

Без всякого сомнения „Слово“ должно быть отнесено к до-татарской поре; вероятно, родилось в Черниговском княжестве (про жизнь князя черниговского Давида говорится, как о бывшей „не в чюже странѣ“); и проповедник и автор скорее всего может быть определен. как черниговский епископ, п. ч. сначала обращаясь к князьям с прямым титулованием: „князи!“, в дальнейшем называет их: „чада!“

Итак, в до-монгольскую еще пору, в самом конце XII или начале XIII в.. как об этом будет сказано ниже, по поводу какой-то ничтожной ссоры черниговские князья решили поднять рать на „старѣйшую братью“ (среди своего черниговского дома или вне его), заручившись помощью степняков. Повидимому, черниговский епископ, узнав об этом, решил прямо и смело воздействовать на князей силою церковного поучения, воспользовавшись днем памяти кн. Бориса и Глеба („ею же днесь оубиениа празднуемъ“, т. е. вероятно 24 июня). Оратор без излишних подробностей и вступлений начинает с указания на пример кн. Бориса и Глеба, которые в свое время предпочли смерть вражде на старшего брата, и советует своим князьям, подражая в кротости этим своим предкам, „претерпеть“ и „миръ преже начать“, чтобы получить от бога награду, равную награде свв. братьев-мучеников. Затем проповедник напоминает князьям жизнь и деятельность другого святого из их дома — черниговского князя Давида Святославича, который отличался неизменностью своего слова, кротостью и прощеньем к тем, кто слова ему нарушал,—за что господь наградил его благополучным княжением при жизни, а при смерти и во время погребения прославил чудесными знамениями святости. В заключении, возвращаясь к призыву подумать о загробном воздаянии и поревновать свв. Борису и Глебу, проповедник оканчивает „Слово“ церковным их восхвалением.

Простота замысла и его выполнения, смелость и прямота мыслей, равно как и многие другие привлекательные стороны „Слова“—сделали его, повидимому, памятником хорошо-известным и популярным. Он пережил не одно столетие и, вероятно, в начале XVI в. подвергся переработке (*А*). Переработка эта лучше отразилась в нашем списке *О*, так как список $П_2$, представляя собою более смелое удаление от текста *А*, носит на себе следы свободной и не лишенной талантливости, но иной против *О* литературной манеры.

Переделка—не украсила, а обесцветила памятник. „Слово“ теперь обращается не к князьям, а к „братии“, советуя вообще избегать вражды между „братиею и дроузи“. Вступительная часть, приданная к древнему тексту (длинный рассказ о существе нравственного подвига Бориса и Глеба в борьбе со Святополком) еще более затемняет и стирает остроту былой постановки темы. Наконец, в рассказе о жизни и деятельности князя Давида теперь читаем подробности, свидетельствующие или о плохой осведомленности переделателя в действительных событиях того времени—князь Давид будто бы прожил 90 лет (сп. *О*), прокняжив 73 г. (сп. *О* и $П_2$)—или о неумелом желании усилить впечатление на читателя (так голубь, по древнему тексту, севший на грудь умирающего князя, по переделке—„сягноу носомъ въ оуста“; и др.).

Степенная книга предпочла переработке этой (*А*) первоначальный текст ($П_1$), но взяла из него только житие кн. Давида, внеся со своей стороны некоторое толкование в мало понятные древние выражения (например, „въ Черниговѣ, въ большемъ княженьи“ переделано в Черниговскую землю, „иже тогда бяше болшее княжение кромѣ Киева“).

Приведенное выше изучение „Слова о князьях“ дает нам право остановиться на той его части, которая излагает житие кн. Давида († 1123 г.).

Несомненно, что автор „Слова“ напоминал своим слушателям уже того кн. Давида, которого не знали и плохо помнили и слушатели, и автор. Это ясно из пояснения, вставленного здесь о родстве этого Давида с кн. Борисом и Глебом, из указаний (и указаний не точных) на состав семьи Давида (упомянуты только три сына, а у Давида их было, вероятно, пять). Вот почему с одной стороны видим в этом указание на датировку „Слова“ (конец XII или начало XIII в.), а с другой—пользование автором для рассказа о Давиде письменным памятником. Последнее, впрочем, не может вызывать сомнений еще и с точки зрения литературного стиля: житие кн. Давида выделяется из всего состава „Слова“ большею простотою и краткостью, а в своем построении носит один след своей поры, совершенно не относящийся к задачам „Слова“.

„Житие“ кн. Давида, можно уверенно думать, использовано в „Слове“ целиком. Оно давало живую картину идеальных междукняжеских отношений, воплощенных в жизнь кн. Давидом, и, как результат, описывало тот нравственный авторитет среди князей-братьев, которым при жизни пользовался кн. Давид („братья же его, видяще тако соуща, вси слоушахоуть его яко отца и покоряются ему, яко господину. В велицѣ тишинѣ бысть княжение его“) и то чудесное прославление, которое Давид получил от господа при смерти и при погребении. Житие прямо называло кн. Давида святым, а в заключительной части предлагало подумать „какоу славу приемлеть на небеси“ новый „угодник“, ходивший в повеленьях божиих и прославленный здесь такими чудесами.

Совершенно неожиданно Житие после этого впадало в полемический тон, возражая тем, кто утверждает, что имея жену, детей и дом (имущество),—нельзя „заповѣдь Господню исправити“, нельзя „спастися“. Этим „невѣгласам“ Житие указывает,

что, хотя кн. Давид и имел и жену, и детей, и не один дом, но всю Черниговскую землю,—он все же исправил заповедь Владычню, потому что ни с кем не имел вражды.

В этой полемической части Жития, конечно, нужно видеть ответ на возражение митрополичьей кафедры, отстранявшей мысль о канонизации ссылкою на отсутствие в жизни кн. Давида аскетических наклонностей. Если вспомнить, что канонизация Владимира и Ольги греками была отклонена под формальным предлогом—отсутствия чудес после смерти, и если принять в соображение, что в данном случае этого возражения сделать было нельзя, потому что чудеса были засвидетельствованы, конечно, упоминаемым в житии епископом Феоктистом, при них присутствовавшим, то становится понятным, что при отклонении данной канонизации кафедре пришлось выдвигать возражения по существу: кн. Давид жил в мире, пользуясь всеми удобствами этого мира—семейною жизнью и богатством, он был далек от всяких аскетических идеалов.

Время составление Жития нужно относить к году смерти кн. Давида († 1123 г.) или к последующему, потому что Житие распространяется о чудесах, бывших при смерти князя и сейчас же, при погребении, и на этом кончает свое изложение, переходя в полемическое обсуждение вопроса о возможности спасения в мире, т.-е. не говорит ничего о продолжении чудес или их отсутствии после погребения.

Если это предположение справедливо, то перед нами двоякое любопытное указание на то, что старое русское, знакомое нам по житиям кн. Владимира, христианское мировоззрение для Чернигова оставалось живым и бесспорным, как в первой половине XII в. (время составления Жития), так и в самом его конце или даже начале XIII в., когда составитель „Слова“ счел уместным при включении Жития сохранить эту часть его без изменений.

То обстоятельство, что христианское мировоззрение эпохи св. Владимира сохранилось и не преклонилось пред аскетическим мировоззрением греческой иерархии даже на протяжении всего XII в., об'ясняется, конечно, тем постоянством общего анти-греческого направления в политике и церковной практике Черниговского дома, которое сознательно наростало у Святославичей по мере укрепления в Киеве потомства Всеволода Ярославича, и особенно ярко вылилось в борьбе за Киев Всеволода Ольговича с Мономашичами и в церковной политике Всеволода, как киевского князя, принудив старшего Мстиславича, Изяслава продолжать ее вопреки традиции семьи (см. „Очерки“ § 113). Только неудачами Ольговичей в дальнейшей борьбе с Мономашичами после смерти Всеволода и гибели Игоря, настроение это было ослаблено, хотя временно и, повидимому, неглубоко, при Святославе, искавшем дружбы и союза с греческствующим Юрием Долгоруким.

IV.

Константинополь ревниво и внимательно следил за успехами своего влияния и руководства над церковною и религиозною жизнью варварской Руси и неуклонно стремился к уравнению северной митрополии своего патриархата с положением и практикою обычных митрополий греческих. Время Мономаха и особенно время его „чада старейшего“, Мстислава, видимо, было залито волною широкого грекофильства в Киеве, насаждаемого рукою киевских владельцев, и не было упущено из виду политическою находчивостью и прозорливостью „ромеев“. Те черты из деятельности митрополита Михаила (1130—1145 г.г.), которые вскрываются пред нами из фактов его управления киевскою митрополиею: отказ в поставлении епископов из русских; патриаршая ставропигия в Печерской обители, ставшею теперь рассадником и школою греческого влияния; наконец, выписка энергичных и выдающихся борцов за греческое дело из византийского монашества с целью занятия ими епископских кафедр—все это заставляет с особым вниманием следить за преломлением удач и неудач в задуманном напоре.

Как известно, в 1137 г. (по Ипатьев. лет.) митрополит Михаил поставил на вновь открытую кафедру Смоленска епископом скопца Мануила, который—„певечь гораздый“—пришел „из Грек сам третий“. Судя по поведению Мануила, в деле поставления кн. Изяславом на киевскую митрополию Клима Смолятича, в лице этого ставленника митрополита Михаила в число русских епископов вступил непреклонный насадитель греческого направления, сумевший захватить и подчинить своему влиянию смоленского князя Ростислава Мстиславича в такой степени, что последний, будучи верным союзником и другом брата Изяслава во всех планах и предприятиях, упорно не соглашался с его попыткою „полегчать“ византийскую руку над русскою церковью—„оправити Клима в митрополью“. Мало того, Ростислав позднее ссорится с киевлянами и племянником Мстиславом при занятии киевского стола по их приглашению и добивается вызова в Киев митрополита от императора и патриарха. Однако, через три года, по смерти этого митрополита-грека (1160—1163), Ростислав сам решает повторить попытку брата Изяслава—добиться в Константинополе признания Клима митрополитом. Хотя попытка эта неудалась, предотвращенная политическою изворотливостью греков, и Ростислав принял нового грека-митрополита, перемены в настроениях Ростислава по этому вопросу остаются любопытным и немаловажным фактом.

Приведенные данные о церковной политике Ростислава, как князя смоленского и как князя киевского, как будто не дают возможности видеть в нем сильной и крепкой натуры,

способной в разных случаях жизни хранить прямоту и последовательность раз выработанных взглядов, а скорее дают почувствовать в нем ту уступчивую и мягкую натуру, которая не имеет внутреннего упорства пред чужим влиянием и волей и, даже не соглашаясь может быть до конца, не имеет характера бороться и отстаивать свое. Эти черты облика Ростислава, мелькнувшие в ходе его церковных дел, неожиданно находят полное подтверждение в весьма яркой и подробной картине его предсмертной болезни, какую читаем в Ипатьевском своде под 1167 г.

Услышав о разладе сына своего Святослава с новгородцами, Ростислав решил в этом году личной поездкою исправить дело. После торжественной и сердечной встречи в Чичерске с зятем Олегом и дочерью, после пышного в'езда в свой родной Смоленск, где принимал Ростислава сын его Роман с былым другом еп. Мануилом, престарелый Ростислав расхворался и, не имея сил добраться до Новгорода, вызывает и примиряет новгородцев с сыном в Луках. Когда на обратном пути из Лук Ростислав, уже совершенно больной, заехал в Смоленск, сестра Рогнеда стала уговаривать брата остаться в Смоленске, чтобы найти себе погребение в „своем ему здании“, т.-е. в им построенном, в связи с учреждением в Смоленске епископии, соборе. Ростислав, отказавшись от этой мысли, сделал распоряжение вести себя в Киев с тем, чтобы в случае смерти в дороге его похоронили в Федоровском отцовском монастыре в Киеве, а если „Богъ отдасть болѣзнь сию“ и его живым привезут в Киев,— постригли в Печерском монастыре. Согласно этому распоряжению, свита выехала с больным князем из Смоленска, хотя болезнь заметно усиливалась. Действительно, дойдя до Заруба, села Рогнедина, Ростислав приказал вызвать к себе духовника („Семьюна попа“) для чтения отходной („ать створить молитвоу“). Не ожидая прихода замешкавшего духовника, Ростислав, воздев руки, стал один горячо и со слезами молиться сначала на икону богородицы, потом на икону „Самого Творца“. „И бѣ видити слезы его лежачи на скранью его, яко женчужная зерна, и тако отирая слезы оубрусцемъ успе месяца марта в 14 день“.

Приведенный рассказ имеет значительную и интересную вставку, которая отвлекает читателя от последовательного хода событий и вводит в душевный мир Ростислава, нам сейчас особенно важный.

В том месте, где сообщалось о приказании Ростислава погрести или постричь его в Киеве, составитель рассказа решил сделать отступление, чтобы дать знать читателю, что это желание пострижения у Ростислава явилось не вдруг пред смертью, а было давним его настроением. Из всего описания смерти Ростислава и особенно из этого отступления явствует, что автором был игумен Печерского монастыря Поликарп, видимо, сопровождавший Ростислава в поездке и присутствовавший в его смертый час. (А. А. Шахматов, Изв. О. Р. Яз. и Сл. Ак. Н. за 1897 г., кн. 3; мои „Очерки“ § 116). Это придает, как увидим, особый смысл и интерес всему рассказу, который передаем здесь современною речью:

„Когда отходил Ростислав от жития этого, маловременного и мимотекущего, тогда молвил он Семену, отцу своему духовному: „ты ответишь за меня богу в том, что удерживал ты меня от постриженья“. С этим упреком Ростислав часто обращался и к печерскому игумену Поликарпу, который отвел его от мысли о пострижении, пришедшей Ростиславу при известии о (внезапной) смерти черниговского князя Святослава Олеговича. И всегда с тех пор говорил Ростислав игумену: „устрой для меня хорошую келью, потому что боюсь я внезапной смерти; впрочем пусть будет, как обо мне строит бог и ваша молитва“. Завел Ростислав и то доброе дело по собственному решению, что в каждую субботу и воскресенье великого поста сажал у себя за обед 12 монахов, а тринадцатым был игумен Поликарп, и так угощал их, что они уходили от него далеко не голодными. Каждое воскресенье поста Ростислав причащался, омывая лице свое слезами, смиряя себя частым воздыханием и испуская стоны от самого сердца; и все, видевшие его в таком смирении стоящего, не могли удерживаться от слез. Когда же кончался весь пост, в Лазареву субботу, Ростислав потчивал всю братию, приглашая всех печерян и посылая приглашения и по другим монастырям. В другие дни года созывал он печерскую братию по средам и пятницам, потому что имел великую любовь ко св. богородице и св. отцу Феодосию. С игуменом Поликарпом Ростислав беседовал ежедневно и (часто) говорит ему: „хочется мне освободиться от маловременного и суетного света этого и от мимотекущего и многомятежного моего житья, как я и раньше уже говорил тебе“. Игумен же ему так отвечал (обыкновенно): „Вам, князьям, бог так велел жить: правду делать на этом свете, судить по правде и твердым быть в крестном целовании“. Ростислав же ему на это (однажды) так отвечал: „отец мой, княжить и в миру жить нельзя без греха, а я уже не мало пожил на свете! Хотелось бы мне поревновать, как и все правоверные цари, которые пострадали и приняли за то награду от бога, как и св. мученики, кровь свою пролив, получили нетленный венец, как и св. отцы удручали тело свое постом и ходили тесным и узким путем, получив за то небесное царство, как слышал я о самом правоверном царе Константине, что сказал он: „если бы я знал об этом честном черническом лике, восходящем с ангелами к престолу господа беспрестанно, то снял бы я венец свой и багряницу“. И на эти слова сказал ему тогда игумен Поликарп: „Если ты этого хочешь, князь мой, то пусть будет воля божия!“ Когда Ростислав услышал эти слова игумена, тогда решился внутри себя, но сказал: „По-

дожду еще некоторое малое время, потому что у меня на руках есть одно дело". После этого разговора благословил его игумен, а он отпустил игумена".

Приведенное отвлечение от главной нити рассказа о последних днях Ростислава характерно во многих отношениях. Тут вырисовывается сам Ростислав, искренне и упорно желавший постриженья, всегда, однако, удерживаемый влиянием духовного отца и игумена Поликарпа, и то столкновение двух мировоззрений, которое ясно видно во всем этом деле. Ростислав, сын Мстислава, причисленного скоро после смерти к лику святых, проникнут тем аскетическим христианским мировоззрением, которое через греческий клир упорно стремилось побороть и сломить старое русское мировоззрение. Такое аскетическое и покорное греческому руководству направление вообще характерно в доме Мономаха, претендента на византийский престол. Ростислав еще смоленским князем обнаружил себя, как верный традициям дома: принял епископа грека Мануила и упорно отказывался признавать митрополитом Клима, несмотря на любовь и дружбу к ставившему Клима брату Изяславу. Приглашенный потом на Киевский стол, Ростислав делает из этого именно вопроса о Климе—главное и единственное условие своего вступления в Киев: „оже мя въ правду зовете с любовию, то я всяко иду Киеву на свою волю; якожь вам имѣти мя отцемь собѣ въ правду и въ моемь вам послушаньи ходити, а се вам являю: не хочю Клима оу митропольи видити, зане не взялъ благословениа от св. Софья и от патриарха". Но Ростислав, теперь князь Киева, скоро изменяет своим прежним взглядам: он ссорится с Константинополем, желает видеть на митрополии именно Клима, неохотно отказывается от этой мысли; он ежедневно беседует с игуменом Печерского монастыря Поликарпом, известным борцом против „неправды" греческого митрополита; он подпадает влиянию другого национального, грекоборствующего настроения и остается верен ему до конца дней, хотя и вздыхает об аскетическом подвиге и выговаривает перед смертью своему духовнику, стоящему на знакомой нам точке зрения составителя жития кн. Давида и—еще ранее—кн. Владимира: спасение достижимо и в мире, без отказа от мирской суеты; грехи покрывать надо правдою жизни и милостыней.

Не менее характерно здесь поведение игумена Поликарпа. Он—монах и игумен—отказывает—и не раз—князю в приеме в число братии монастыря; он не соглашается ставить просимую „добрую" келью и вообще не сочувствует мысли о пострижении князя! Когда же, убежденный доводами Ростислава, что на старости лет желание уйти из мира и поревновать о Господе—желание естественное и понятное, Поликарп согласился, наконец, на просьбу князя, то он счел, однако, своею обязанностью об'яснить обществу, что он, Поликарп, не сразу

на то согласился, что он не раз до того удерживал Ростислава и не боялся его укоризны, подобной предсмертной укоризны попу Семену, что он приводил князю ту точку зрения, что спасение возможно и в мире, и уступил Ростиславу, когда понял, что князь, удрученный годами, утратил вкус к миру и его делам и думает лишь о спасении.

Думается, что все изложенное дает право утверждать, что русское христианское мировоззрение времен кн. Владимира продолжало жить в умах духовенства и общества не только в XI в., но и во всю первую половину XII в. для Киева, до конца XII и начала XIII в. для Чернигова, хотя может быть и не столь ярко и глубоко теперь расходясь с обычным греческим.

V.

В подкрепление сейчас высказанного наблюдения может быть приведено то обстоятельство, что за все указанное время—от крещения Руси и до конца XII в.—в княжеском христианском быту, очевидно, сложившемся при кн. Владимире и Ярославе, отсутствует характерное потом (для XIII в. и позже) пострижение князей перед смертью. Наши древние летописные своды (Лаврентьевская и Ипатьевская) не однажды останавливаются—и часто с большими подробностями—на описании кончины и погребения князей как Киевщины (Ипатьев.), так и Суздальщины (Лавр.), и это дает право заключать, что в отсутствии упоминания предсмертного пострига пред нами не забывчивость источника, а подлинная черта княжого быта. Достаточно, например, указать на сообщение летописи о смерти князя Святослава Юрьевича (Ипатьев. под 1174 г.), чтобы согласиться с тем наблюдением, что монашеский путь представлялся тогда в княжеских семьях—весьма необычным: „Преставился благовѣрныи князь Святославъ Дюрдвичь, мес. генв. въ 11 день; сѣй же князь—избраникъ божии бѣ от роженья и до свѣршенья мужества; бысть ему болѣзнь зла, ея же болезни просяху на ся святии апостоли и св. отци оу бога, кто бо постражеть болезнью тою, якоже книги глаголять, тѣло его мучиться, а душа его спасеться; такоже и тъ Святославъ въ истину божии оугодникъ избраный во всих князѣх; не да ему богъ княжити на земли и да ему царство небесное по оуспеньи его; положи братъ Андрей тѣло его въ церкви Святѣй Богородици въ Суждали въ епискупьи". Если князь Юрий Долгорукий, столь преданно служивший императору в своих политических выступлениях, всегда в союзе с Галичем, „вассалом Империи", столь решительно охранявший церковно-политическую гегемонию Империи на Руси от попыток каких-либо изменений, мелькнувших в деле ставления на митрополию Клима Смолятича, если этот князь своего неизлечимо-больного от рожденья сына не „посвящает" Богу при жизни своей, и сын этот, назы-

ваемый летописью „благоверным князем“, „угодником Божиим, избранным из всех князей“, остается жить и умирает мирским человеком,—то пред нами решительное подтверждение факта отсутствия пострижений в княжеском семейном укладе.

Как известно, из всей многочисленной и многоколенной семьи „Игорева дома“ за время от крещения Руси и до конца XII в. только один князь принял монашество. Это был князь Николай, сын того черниговского князя Давида Святославича, о житии которого мы говорили выше. Замечательно то обстоятельство, что ни факт пострижения князя, ни его личность не вызвали к себе интереса в наших памятниках литературы, и только епископ Симон в своих посланиях Поликарпу (нач. XIII в.) старается уделить внимание этому необычному брату Печерского стада. Сдержанное отношение общественного интереса к этой одинокой фигуре тогдашнего правящего „дома“, несомненный оттенок сарказма, вложенный в его прозвище, вероятно, данное ему членами „дома“ и поддержанное их дружинными кругами—„Святоша“,—все это, думается, менее всего может быть отнесено к личности этого князя-инока или к плохому выполнению взятого им на себя жизненного подвига. Напротив, все те косвенные данные, которыми мы располагаем о нем, рисуют нам высокую и вполне достойную личность. Князь Святослав—Николай весьма рано, приблизительно на 25 году жизни, принял монашество. Об этом событии кратко и, повидимому, не без умысла опуская подробности (места посвящения; лиц, его производивших и при том присутствующих; места его монашеского подвига, не говоря уже о мотивах самого шага), сообщает летопись („Повесть вр. лет“), вышедшая из Печерского монастыря: „В то же лето (1106 г.) пострижеся Святославъ, сынъ Давыдовъ, внукъ Святославль, месяца февр. въ 17 день“. Князь-инок жил до 1143 г., т.-е. прожил слишком шестьдесят лет, почти сорок лет из них под монашеским клобуком. Какие степени священства он прошел за эту некороткую жизнь, в каких монастырях жил,—неизвестно. Только по данным, относящимся к последним годам его жизни, мы определяем его, как рядового брата Печерской обители. Не трудно отсюда заключить, что Святоша сам не искал иной роли, не думал о иерархических движениях, потому что при его высоком происхождении, засвидетельствованном широком богословском образовании и искренней преданности интересам матери-церкви (т.-е. Константинополя), как иначе можно об'яснить этот факт?

Когда Симон в посланиях к Поликарпу решил дать, в числе других замечательных братьев, образ монаха-князя, то в распоряжении Симона, повидимому, не оказалось никакого письменного памятника, кроме выше приведенной летописной заметки, и Симон построил весь рассказ свой о Святоше на живом предании братии Печерского монастыря и князей Черниговского дома.

В самом деле, Симон, как и летопись, ничего не знает о причинах, приведших Святошу в монахи, о месте пострижения его, как и о месте его первоначального монашеского жития. И если из рассказа Симона выходит, что Святоша все время был иноком Печерской обители, то обстоятельство это об'яснялось тем, что последние годы Святоша действительно провел там. В Печерском монастыре сохранилась до времени Симона келья Святоши („яже и донынѣ зовома есть Святошина“), в библиотеке монастыря хранилась, как отдел, библиотека Святоши („суть же и книгы его многы и донынѣ у васъ“), но уже место Святоши в Печерской церкви, на котором видел себя в предсмертном сновидении новгородский епископ Нифонт († 1156 г., Ипатьев. лет.), Симону неизвестно.

Из семейных преданий Черниговского княжого дома Симон почерпнул не мало для своего рассказа. (Так, например, известие, что брат Святоши, князь Изяслав просил игумена Печерского по смерти Святоши на память о нем некоторые его вещи, и за это дал в монастырь 3 гривны золота; что власяница Святоши исцелила Изяслава от тяжкой болезни и позже всегда в сражениях оберегала Изяслава, который пал на поле брани как раз в тот день, когда „съгрѣшившу“ не посмел „взяти ее на себѣ“). Что предания эти верно передавали подробности отношений того времени, видно из одного указания, которое Симон выдумать не мог: когда Изяслав сам захотел ехать к брату в Печерский монастырь, то „удръжанъ бысть отъ тогда сущихъ епископъ“. В другой связи (см. „Очерки“) мною было указано, что под это указание Симона совершенно точно подходят черниговские епископы Пантелеймон († 1142 г.) и Онуфрий (с 1143—1147 г.), горячие борцы за русское направление церковной политики, конечно, враждебно относившиеся к Печерскому монастырю, ставшему в это время ставропигией Константинопольского патриарха и рассадником греческого влияния.

Сверх этого небольшого круга данных, которыми располагал Симон о Святоше, можно привести только два известия. Ипатьевская летопись под 6650 г. сообщает о вовлечении Святоши в мирное посредничество, обычно выполняемое для киевского князя киевским митрополитом, его двоюродным братом Всеволодом Ольговичем, тогдашним политическим хозяином Киева, не ладившим с митрополитом Михаилом. Другое известие проливает свет на литературные интересы Святоши: „инок Феодос“, игумен-грек Печерского монастыря в пору патриаршей там ставропигии, перевел для Святоши послание папы Льва об ереси Евтихия.

Итак, отстраняя из рассказа Симона все то, что могло быть присочинено им или ему о том сообщавшими лицами, собирая лишь те несомненные по правдивости подробности, которые относятся к последним годам жизни Святоши в Печер-

ском монастыре, когда он дружил и был связан литературными интересами и с игуменом монастыря Феодосом, и с новгородским епископом Нифонтом, высокими аскетами той поры; привлекая сюда указания летописи на приглашение Святоши в качестве замирителя в междукняжеских спорах черниговского княжеского дома,—мы в праве думать, что Никола—Святоша был достойным и образованным монахом, искавшим в монашеской жизни не поприща тщеславия и власти, а путей удовлетворения запросов своей душевной жизни, что таким он оставался до самой своей кончины, и что саркастическое прозвище и явное замалчивание о нем тогдашней литературы поэтому нужно отнести к самому поступку князя—пострижению,—столь необычному тогда в укладе княжеских семей, в котором общество видело еще и измену общерусскому, от времен кн. Владимира идущему, христианскому мировоззрению, и торжество здесь греков. Святоша и выделялся, повидимому, преданностью греческому направлению в широком смысле слова: он живет в Печерском монастыре, когда здесь была водружена ставропигия патриарха; дружит с поборниками власти этого патриарха и императора над русскою церковью и государством в самый острый момент русско греческого конфликта сороковых годов XII в. (время Клима), так что черниговские епископы удерживают местных князей от возможности личного общения с братом—монахом.

Епископ Симон, сообщая Поликарпу о жизни Святоши, подчеркивает, что это—единственный князь, принявший монашество, потому что до времени Симона никто из князей, кроме Святоши, добровольно не подстригался. Действительно, князь Судислав, сын кн. Владимира, и князь Игорь Ольгович—приняли пострижение, как ручательство своей политической смерти, и добровольные пострижения в монашество до конца XII в. можно встретить лишь в немногих случаях среди женской половины „Игорева дома".

Картина, однако, меняется с конца XII в. В 1194 г. постригается пред смертью в Киеве кн. Святослав Всеволодович, в 1195 г. во Владимире—кн. Всеволод Мстиславович, в 1198 г. в Смоленске—князь Давид Ростиславович, а с XIII в. (особенно с 20-х годов) пострижения предсмертные князей делаются бытовым явлением, так что неупоминание о том летописи в известии о смерти того или иного князя могут быть об'яснены обычною краткостью летописания этой поры.

VI.

Все изложенное выше, думается, дает право догадываться, что то жизнерадостное и торжествующее христианское мировоззрение, которое ярко засвидетельствовано памятниками нашей ранней письменности и зарисовано в житийном лике кн. Владимира, очевидно, очень прочно было усвоено первыми христианскими поколениями на Руси, и при первых князьях - христианах сложилось и закрепилось в общем укладе христианского княжего быта, устойчиво прожившем почти два века. Мы не видим за это время постригов князей перед смертью; в некрологических (и иногда весьма обширных) характеристиках князей в летописи постоянно встречаем княжеские пиры для духовенства и нищих, а основною чертою княжеских добродетелей все по-старому там считается милостыня; наконец, единственного князя-инока, добровольно принявшего монашество, находим осмеянным и забытым, хотя он с достоинством выполнил свой обет.

Правда, постоянное воздействие и напор со стороны греческой правящей иерархии не прошли бесследно: аскетическая струя заметно начинает искажать пред нами полноту той настроенности, которая когда-то вылилась в русский княжеский быт, и летописцы охотно говорят о покаянии и глубине его в том или другом князе второй половины XII в., хотя до самого конца этого века быт оставался живым и упорным.

Задаваясь вопросом, каким образом на Руси могло появиться это жизнерадостное христианское мировоззрение, закрепленное потом в быт княжеского христианского двора, столь далекое от покаянных и аскетических настроений византийского христианства,—мы должны вспомнить о том, что наше обычное предположение о принятии кн. Владимиром церковной иерархии от Византии основано на позднейших присочинениях, потому что древняя летопись знает появление у нас греческой иерархии в лице первого митрополита Феопемпта лишь с 1037 г. В другом месте нам приходилось указывать (см. „Очерки") уже, что до учреждения в Киеве митрополии Константинопольского патриархата при Ярославе наша церковь находилась в иерархической связи и подчинении с Охридским патриархатом, потом архиепископатом. Только политическая смерть Болгарии и полное подчинение ее церкви Константинополю привели нашу церковь в прямую зависимость от Византии.

Если загадочна церковная десятина, установленная у нас кн. Владимиром и сохранявшаяся долго после него,—потому что подобного установления Византия не знала; если непонятно происхождение на Руси того христианского мировоззрения кн. Владимира, сохранявшегося долго после него, о котором говорилось выше,—потому что для Византии оно было давно уже пережитым; если, наконец, вызывает недоумение наша практика постов в среду и пятницу, с которой ведет упорную борьбу греческая митрополия у нас в течении сорока почти лет,—потому что такая практика была неприемлема грекам по своей снисходительности,—то об'яснение всему этому нужно искать в том обстоятельстве, что церковная иерархия, вводившая Русь в христианскую жизнь, была иерархия не греческая, и что корни всех наших расхождений с греками лежат в Охриде, от

времен которой мы сберегли, вопреки всяким усилиям греков, и нашу службу на „церковно-болгарском“ языке, легшим в основу нашего литературного языка.

Беспощадная и настойчивая греческая рука со времен знаменитого „Болгароубойцы“ с поразительною систематичностью и успехом уничтожила следы и памятники былой эпохи болгарской независимости. Мы плохо и мало знаем теперь об умственной и религиозной жизни той поры в Болгарии, хотя и можем догадываться о необычайном под'еме и расцвете национальных сил и средств.

Позволительно, кажется, обратить внимание на одну черту тогдашней болгарской жизни. Возрождающаяся Болгария своей предсмертной поры, поры вероятных наших с нею церковно-политических отношений, имела руководителями и об'единителями четырех братьев македонского князя Николая. Имена всех четырех звучат странно, они все ветхозаветные: Давид, Моисей, Аарон, Самуил. Но наклонность к ветхозаветным именам—характерная черта, как мы уже знаем, наших древнейших памятников литературы: „Памяти и похвалы“, „Слова о законе и благодати“. Наконец, ведь и самое установление церковной десятины—установление ветхозаветное.

Не переживала ли Болгария какого-то глубокого и плохо нами теперь улавляемого церковного движения, исходившего, конечно, из отрицания той церковно-политической постановки христианства, какую мы видим в империи Второго Рима, и в отрицании ее поднимавшегося до переоценке всей византийской христианской идеологии, очищая последнюю от аскетического уныния и покаянных нот для бодрого и радостного христианства первых веков, торжествующего спасение человеческого рода, и в милостыни к неимущим, как естественном душевном движении спасенных и просвещенных, и в „агапах“, как бытовых закреплениях общей радости и взаимной любви,—видевшего подлинное христианское мировоззрение?

М. Приселков.

Из мира торговых отношений в Москве XVII века.

Печатаемая ниже под этим заглавием статья принадлежит Елене Захаровне Вулих, скончавшейся в декабре 1920-го года. Покойная, на ряду со многими другими работниками науки, стала жертвой тяжелых условий того времени, подорвавши свои силы в повседневной борьбе за существование. Смерть застигла ее накануне расцвета ее научной деятельности, когда, после первых удачных опытов [1]), засвидетельствовавших ее научную зрелость и перед другими, и перед нею самой, она приступила к серьезной ответственной работе. Ее увлекала задача проследить эволюцию московской правительственной системы в конце 17 в., закончившуюся Петровским абсолютизмом,—задача исключительной трудности в виду того, что относящиеся сюда данные рассыпаны мелкими крупицами в обширном до необозримости и вместе с тем крайне однообразном по содержанию делопроизводстве московских приказов. Началась упорная работа по изучению этого материала в московских архивах, и вот, когда конечная цель стала принимать отчетливые очертания, когда собран был огромный материал и уже наметилась схема будущего большого труда, неожиданно подкравшаяся смерть оборвала эту многообещавшую жизнь.

Работая над своей темой в Моск. Арх. Мин. Юст., Е. З. случайно натолкнулась на любопытный материал, не относившийся к предмету ее специального изучения, но привлекший ее внимание своей оригинальностью: это—обширная переписка нескольких дельцов из московского торгово-промышленного мира, об'единившихся около одного предприятия [2]). Она и занялась попутно своей находкой. Переписка эта является единственным в своем роде историческим памятником. Имея совершенно частный характер, она сохранилась и попала в руки современного исследователя по той причине, что упомянутое предприятие за-

[1]) Такое значение имела для нее, гл. обр., ценная в научном отношении статья „К вопросу о новгородских своеземцах“, напечатанная в Журн. Мин. Нар. Пр., 1914 г., авг.

[2]) А. М. Ю., Прик. ст. Разряда, № 531. лл. 1—519; № 652, л. л. 48.–81; № 1316, лл. 60—146; № 2664, лл. 1—47.

кончилось судебным процессом между его участниками, и вся их деловая корреспонденция была представлена на суд истцами в качестве судебного доказательства, оставшись затем в архиве Разрядного приказа. Как живой отголосок старины, письма эти знакомят нас с разными сторонами московской жизни. Перед нами—московская торгово-промышленная среда в ее расслоении на группы различного удельного веса, сообразно размерам капитала и широте предпринимательского размаха. На переднем плане—представители средних слоев, сравнительно мелкие дельцы, располагающие пока еще скромными средствами, но своей энергией и изворотливостью упорно пробивающие себе дорогу на верх. Они хлопочут и устраивают разные комбинации, которые должны приблизить их к цели; а за ними, в роли прикрытой главной пружины действия, виднеются фигуры гостей, прочно усевшихся на верхней ступени и спокойной уверенной рукой заправляющих движением всего механизма. Самая форма предприятия, уклоняющаяся от известного нам для того времени типа и некоторой неопределенностью способная вызвать чувство неудовлетворенности у исследователя-юриста, получает, благодаря этому же дефекту, особую бытовую ценность, давая простор для обнаружения таких отношений, которые в рамках обычной нормы остались бы скрытыми от глаз наблюдателя. Конечно, в схематическом виде структура московского торгово-промышленного класса более или менее знакома нам; но здесь она представлена живыми лицами, с нетронутыми схематизацией индивидуальными чертами и во всей сложности переплетающихся житейских отношений. Благодаря этому, ярко, с непосредственностью конкретного факта, выступает та обстановка, бытовая и юридическая, в которой должен был делать свои первые шаги московский капитал и которую обычно приходится историку воссоздавать усилием своего воображения. Е. З. вполне, не преувеличивая и не преуменьшая, оценила этот материал и в своей статье использовала его, можно сказать, исчерпывающим образом, сумев в то же время сохранить в своей передаче красочность своего источника [1]).

Л. Заозерский.

[1]) К сожалению, по требованию экономии места, статья печатается с значительными сокращениями, а, с другой стороны, в виду того, что она не успела получить от автора окончательной литературной обработки, редактор позволил себе внести некоторые стилистические поправки.

I.

Речь идет о подряде на провоз дворцовой рыбы из Астрахани в Москву. Первое время после заведения казенных рыбных промыслов в Астрахани и в Яицком городе, в половине 17 в., перевозка рыбы производилась самим приказом Большого Дворца—силами местных крестьян и посадских людей. Повинность эта оказалась, однако, достаточно тяжелой, и в Москву „многое челобитье бывало“ от крестьян и посадских людей, что им „та служба в тягость“. В виду этого, в приказе было решено сдавать доставку рыбы на откуп. Был произведен расчет стоимости провоза по прежней системе и об'явлены торги—при условии, чтобы подрядчик ежегодно доставлял в Москву „по сту тысяч пуд и больши“, „сколько в. г. укажет“, перевозя рыбу на своих судах и подводах своими рабочими, принимая на свой страх и риск все расходы и убытки.

В 1682 году явилось несколько конкуррентов на подряд: гости Василий Шиловцев и Владимир Воронин, купцы гостиной и суконной сотен Иван Володимиров и Тимофей Боков, кадашевец Андреян Луковников и „іные торговые люди“. При торгах запросили по 6 алт. с пуда, спустили до 4 алт. 1½ д., но ниже не шли. Между тем, монастырские крестьяне Климка и Федька Калмыковы брались перевозить по 4 алт. с деньгой, и так как остальные „с торгу все отказали“, то подряд сдали Калмыковым, взявши по них, как водилось, „поручные записи“ с целого ряда лиц. Условия подряда были такие: ⅔ платы выдается авансом в Москве, а из остального половина—по привозе рыбы в Нижний, последняя часть—по сдаче ее в Москве. Доставка распределялась на три зимних срока. Принимать рыбу на месте подрядчики должны были у дворцовых „промышленников“ за клеймами. Всякий недовоз и порча рыбы взыскивались на подрядчиках и поручителях не только возмещением стоимости по рыночной цене, но еще и пеней в 10 тысяч рублей в год.

Этими немногими сведениями и ограничивается оффициальная запись о сдаче подряда в приказе Большого Дворца. Судебное дело, завязавшееся вокруг этого предприятия, вскрывает, однако, иную, закулисную, его сторону. Оказывается, торги были в большой степени фиктивными. Приглядываясь к именам соискателей подряда и поручителей за Калмыковых, мы видим, что в большинстве случаев, это—одни и те же лица. Здесь опять фигурируют и гости Шиловцев и Воронин и кадашевец Луковников и др. Имеются данные за то, что и „іные торговые люди“, претендовавшие на получение подряда, ограничиваются потом ролью поручителей. В чем же дело? Выяснется, что все

было предусмотрено заранее. Торги закончились 24 февраля, а еще 27 января большинством соискателей была заключена между собою формальная, заверенная на Ивановской площади, „полюбовная договорная запись", согласно которой в качестве реальных претендентов на подряд допускались одни Калмыковы, но с условием, что если „тот провоз за ними устоит", то „тот промысл взяти и промышлять вопче всѣм" участникам „записи". Вместе с тем, тут же делалась оговорка, что если на торги явятся иные „посторонние" челобитчики, то никто из договаривающихся не имеет права „ни приставать" к ним, ни за них ручаться. Создавалась целая компания, желавшая торги монополизировать; оставалось только пустить дело в ход. Запись была заключена непосредственно перед началом торгов, продолжавшихся почти целый месяц. Уже 11 февраля начинается отвод отдельных конкуррентов. Двоим Клим Калмыков дал „здачю" т.-е. попросту откупился от них, двое других отказались сами, так как сделались соучастниками договора. Дальнейшие перипетии не известны, застаем мы только финал. 19 февраля выступает гость Владимир Воронин с заявлением, что берет подряд по 4 алт. 1½ д., а на другой день Калмыковы соглашаются на 4 алт. с деньгою. Так как после того „іные подрядчики отстали и после их отвѣтчиковы скаски нихто под тот провоз подрежатца не стал и цѣны не убавил, и он, истец Володимер, в скаске своей сказал, что он менше своей прежней скаски за тот провоз не возьмет и торговать не станет",—подряд был закреплен за Калмыковыми.

Такая громоздкая и сложная инсценировка имела совершенно определенную цель:—нужно было „подряду учинить окончание, чтоб промыслом неизпоздать"; истцы на суде прямо сознаются, что и сказки то в приказ Большого Дворца сказали только затем, „чтобы тот промысел за ними отвѣтчиками устоял". Такая форма торгов была делом обычным: „во всѣх де приказах во всяких подрядех подрежаютца и бьют челом многие о подряде подрядчики, а к настоящему дѣлу как тѣм подрядом состоица об оддаче указ в. г-рей, і в подрядную запись пишутца подрядчик один человек или два, а товарищи их пишутца порукою", заявляют гости на суде.

II.

Так заканчивается предварительная стадия, и дело пускается в ход. Выделяется ядро активных участников, функции которых распределяются очень точно. Калмыковы и некоторые члены компании действуют в Нижнем, налаживают весеннюю отправку насадов в Астрахань, нанимают рабочих, заготовляют им продовольствие, готовят помещение под склады и т. д. Гости остаются в Москвѣ, и на их долю выпадает роль толкачей: они должны „быть на Москве, того общего промыслу

за приказными и за всякими московскими делами"—добиваться того или иного государева указа, искать у сильных людей поддержки, двигать дела в приказах и т. д. Не менее важно значение их, как финансовых руководителей дела. Для наблюдения и контроля они отправили на насады своих агентов и прикащиков.

Между обеими сторонами завязывается оживленная переписка, которая и позволяет нам следить за ходом дела.

Насады надо было отправить в Астрахань ранѣй весной, подряд был сдан в конце февраля, и потому медлить было невозможно. Прежде всего нужно было озаботиться снаряжением судов. Строить новые было уже поздно, приходилось укрепить за собою казенные насады, на которых возили рыбу прежние „промышленники". В первом же письме, от 16 марта, подрядчики шлют из Нижнего Воронину в Москву усиленную просьбу, чтобы он выхлопотал там государев указ о передаче им двух старых насадов со всеми припасами и снаряжением. Просьба эта повторяется в каждом письме, так как положение было безвыходное—„за насады промысл остановился, а иных судовъ опрочь тех дву насадов в Нижнем промыслить никоими мѣры негдѣ". А между тем время не терпит: „святѣйшаго патріарха насадные промышленники насад отпустить хотят в Астрахань вскорѣ", сообщают 31 марта из Нижнего,—не нужно отставать от них.—„Мы, государи, удивляемся, что по се время об насадах и о всяких насаднѣх припасах указу не пришлете, а то самое нужное дѣло—за насады и весь сталъ промыслъ",—повторяется в письме от 4 апреля. Вместе с насадами должно было перейти и все снаряжение их—ружье, „которое бывает на насадахъ для обережи, пушки и ядра и мушкеты и знамена и орлы на шегольномъ деревѣ". Опасаются только новые подрядчики, как бы прежние „силою" на них „не навалили" каких нибудь негодных попорченных припасов и просят потому Воронина позаботиться, чтобы в государевой грамоте было оговорено—принимать им припасы „по волѣ", только такие, которые им „по цѣновной будут годны".

Дело с получением насадов затягивается, да и не это одно нужно уладить в Москве перед отправкой судов из Нижнего. В каждом письме дается Воронину целый ряд поручений.

Нужно заранее обеспечить себя помещением в Астрахани. Подрядчики люди бывалые, Астрахань им хорошо знакома, и они дают в Москву точное указание: „да побеіте челом вел. государю о грамоте в Астрахань, чтоб указал в. г. отвести для приѣзду вешняго и для всякія поклажи в Астрахани нам анбар, которої стоит за Кутумовою, да другой анбар же, котокоторої стоит на обрубѣ у Рустобскаго зимовья, который бывалъ прежъ сего икряного промыслу". Еще больше, пожалуй, заботил подрядчиков вопрос о зимнем помещении в Нижнем. Там был для склада дворцовой рыбы определенный зимовой

двор, который и следовало закрепить за собой поскорее. По крайней мере, начиная с первого мартовского письма, посылаются гостям настоятельные напоминания об этом: „да побеіте челом в. г. о зимовомъ дворѣ, чтоб указалъ в. г. хотя половиною владѣть на урочные годы без оцѣнки или как вам Бог по сердцу положитъ", пишут в Москву уже 16 марта. Это дело было, повидимому, довольно сложное, и до отправки насадов из Нижнего оно так и не получает разрешения.

Путь по Волге длинен и опасен. Недаром насады снабжены и ружьями и мушкетами и даже пушками. Но всего этого для „обережи" мало: обычно на насады командируется еще человек по 10—15 служилых людей,—нужно в Москве и об этом напомнить. Нужно еще получить в низовых попутных городах подкрепление в виде местных городовых стрельцов, иначе этих опасных мест благополучно не проедешь и можно от „воровских людей" быть „в порухе". В этих видах Воронин заранее должен получить из Москвы грамоты к воеводам низовых городов „о даче стрѣльцов провожатых".

Но и сами воеводы могут всячески задерживать насады в пути,—нужно значит заранее принять на этот случай свои меры. Прежде всего нужно позаботиться, чтобы всем рабочим и занятым в насадном деле людям была дана отсрочка в судебных делах, „чтобы по городам воеводам, а по селам приказным людем суда в исцовых искѣх давать не велѣли", — иначе начнется бесконечная волокита и задержки в пути, затормозится все дело. Прежние промышленники имели в попутные города к воеводам „грамоты с прочетом и памяти" о всяком „вспомеженіи и об наймѣ по городам работных людей и о пропускѣ",—Воронин должен постараться от прежних промышленников эти грамоты добыть; „а буди такъ не возможно учинить, и вам бы с прежнихъ отпусковъ такие ж грамоты и памяти взять на наши имяна", пишут из Нижнего.

Но легальных мер недостаточно; нужно принять и другие—иначе с воеводами не сладишь. „Да купите, пожалуйте, в почесть два пуда сахару, пятсот лимонов, два погребца водки или что пригож", добавляется в том же письме. Нужно использовать и личные связи гостей: „Да возьмите, пожалуіте, советные грамотки от боярина князя Іакова Никитича и от боярина князя Василія Ѳедоровича Одоевских в Астрахань к околничему Алексею Петровичу Головину, чтоб он был к нам милостив или от кого знаете", просят гостей несколькими строками ниже. Предосторожности оказываются не лишними.— Еще до начала кампании подрядчикам пришлось испытать на себе тяжелую воеводскую руку. Посылают подрядчики в мае в Лысково нанимать на насады рабочих. Воевода, Семен Ѳедорович Языков, подъячаго схватил, посадил его в тюрьму, „морил ево на умор гладом ради своей бездѣльной корысти, а которые были наняты работные люди в Лыскове і писали

тутошные площадные подъячіе, і он у них записи отнял і всѣ изодрал, і работные люди, свѣдав, разбрелис, и чинил он все пьянством". Немедленно же сообщается об этом Воронину в Москву—вместе с просьбой по этому поводу: „Миласти, государь, у тебя просим, доложи государя князя Василія Ѳедоровича (Одоевскаго), чтоб он, государь, у того великаго государя у промыслу не далъ разорить и доложил бы государя при Богдане Матѳеевиче (Хитрово) такіе образцы, и их, таких воевод, в тюрьму сажали за такое ж дело".

Все эти хлопоты и приготовления в Москве затягиваются на долгое время. Между тем и в Нижнем идет кипучая работа по подготовке к отправке—нанимаются рабочие, заготовляется продовольствие и всякие припасы. Хотя „дѣло уже изпоздано" и совершенно оборудовать заново насадов не удастся, придется использовать старое снаряжение, но, что возможно, обновляется. Кроме того, нужно было позаботиться о том, чтобы насады не шли вниз порожнем. Берется поэтому подряд на перевозку вниз, в Астрахань, дров. Только ко второй половине апреля в Москве и в Нижнем приготовления заканчиваются, и 21 апреля насады трогаются в путь. Калмыковы остаются еще некоторое время в Нижнем; а один из активных компанионов, Андріян Луковников и вовсе остается в Нижнем. Подробности пути нам неизвестны, переписка обрывается, и Луковников из Нижнего, от 4 июня, только предположительно сообщает, что теперь уже и насады и подрядчики в Астрахани „в добром здравіи давно".

Возобновляется переписка уже в конце августа, по возвращении Ѳедора Калмыкова в Нижний. Мы post factum узнаем, что прошла нагрузка насадов очень успешно. Их погрузили рыбой „против указнаго числа и слишком" очень быстро: 11 июня отпущен вверх первый насад, 18 июня—второй. Зато обратный путь был чрезвычайно долог. Нагруженные насады тянулись вверх необычайно медленно и до зимы несмотря на все принятые меры, так и не дошли до Нижнего. Передний становится на зимовку в Кругловском затоне, в 80 верстах ниже Нижнего, второй—под гор. Кузьмодемьянском. Предстояло перевозить рыбу на подводах до Нижнего и до Москвы, и при том спешно, „чтобы с Москвы какова дурна не дождатца". И прикащикам гостей, на попечении которых остаются насады по отъезде в Нижний, Калмыковым и рабочим приходится на насадах зимовать, и им строются там зимние избы. Из Нижнего отправляют на насады все необходимые принадлежности: рогожи для зашивания рыбы, иглы зашивательные, котлы для перетопки жира и т. д. Главной заботой теперь является наем извощиков. Рядить их удается либо прямо до Москвы, либо только до Нижнего,—в последнем случае предстоит перегрузка в Нижнем. И прикащики на насадах, и Калмыков в Нижнем опечатывают при отправке рыбу особыми печатями—у Калмы-

кова, напр., „на воску вырѣзан насад и четыре слова азбучных“,— а в качестве накладных даются извощикам подробные росписи отсылаемого товара, с тем, чтобы при приеме могла быть произведена подробная проверка.

Весь ноябрь, декабрь и январь заняты этой работой, и только 2 марта прикащик Воронина мог с удовлетворением сообщить своему патрону, что переехал уже с насада в Нижний „дѣлать книги“, т.-е. подводить счета, и что рыба в Нижний вся поднята.

Первый год работы был закончен и закончен блестяще: отпуск рыбы не только „сошелся“ против Астраханского приема, но даже с некоторым излишком. Можно было спокойно приступать опять к весенней отправке насадов в Астрахань.

Но опыт первого года не прошел даром, и подрядчики стараются заранее устранить замеченные недочеты.

В первый год весенняя отправка шла наспех—некогда было ни построить новых насадов, ни даже отремонтировать старых. Теперь это делается заранее, и еще 5 января Калмыков сообщает в Москву, что порядил людей „дѣлать новый насад“. Когда при отправке из Нижнего вниз насады погрузили дровами, это оказалось, по мнению подрядчиков, „гораздо не прибыльно и чинитца мѣшкота за тѣм великая“; потому еще с декабря посылаются в Москву усиленные увещания взять подряд на перевозку в Астрахань хлеба...

Таков, в общих чертах, ход дела в начале. Варьируя в деталях, таже картина повторяется из года в год.

III.

Каковы были хозяйственные условия, в которых приходилось оперировать нашим подрядчикам?

Все работы на насадах производились наемным трудом. Сами подрядчики лично в работах не участвовали, и их роль сводилась к организации, руководству и наблюдению за работой.

Мы видели, что наем на насады рабочих был одною из первых забот Калмыковых в Нижнем. И не даром. Повидимому, в эту пору года, т. е. весною уже почти невозможно было найти в Нижнем людей. Все сезонные договоры, очевидно, заключались с зимы и к апрелю месяцу в Нижнем оказывалось „малолюдство, нанять неково“. На один насад еще удалось подыскать полный комплект людей в Нижнем, а на другой — только, так сказать, квалифицированных рабочих—передовщика, кормщика, нарядчика и завощиков; рядовых же, „тяглых работников“, пришлось нанимать в Астрахани. Это было, конечно, чрезвычайно неудобно, и на следующий год подрядчики начинают нанимать рабочих уже с декабря.—„А впредь на наем насадных работников денег у нас на задатки нет, і вы, государи, пожалуйте, пришлите денег, чтоб не испустить времени, всякое дѣло хорошо чинить заране“, резонируют они в письме от 28 декабря. Сколько именно рабочих требовалось на насады,—мы не знаем; повидимому, число их колебалось в зависимости от той или другой экстренной надобности; так, когда потребовалось спешно разгрузить рыбу,—было нанято 30 лишних выгружальщиков.

Договоры с рабочими заключались, повидимому, обычно письменные на все лето до закрытия навигации, при чем в записи включалась оговорка о том, что после первых заморозков рабочие должны еще отбыть на насадах определенные „урочные дни“.

Условия найма рабочих в подробностях неизвестны. В одном из писем глухо сообщается, что рабочих удалось нанять „против прошлого года с уступкой“. Чем вызвано такое понижение цен, несмотря на малолюдство,—выяснить не удается. Имеются, впрочем, и более точныя данные: на паузки, погруженные в Нижнем хлебом, были наняты рабочие „вселетные, по шти рублев“. Более подробны сведения о наемной плате извощикам, перевозившим рыбу с насадов в Нижний и в Москву. Их рядили двояко-либо огулом, с подводы, либо по пудно. Обычно на ближнее расстояние—до Нижнего рядили с подводы, а до Москвы договаривались с пуда. Цена на провоз до Москвы колебалась от 7 до 8 денег с пуда, за провоз до Нижнего платили 5—6 алтын „с прибавком“. Цены изменялись в зависимости от рода товара; так, за провоз соли платили значительно дешевле—всего по 3 алт. 2 д. с пуда. Не всегда, впрочем, расчет велся деньгами. Зачастую с извощиками расплачивались прямо солью, которую везли на насадах вместе с рыбой. Вызывалось это, повидимому, больше всего хроническим безденежьем, которым страдало предприятие—по крайней мере, по всем данным, такой способ расплаты чаще являлся желанием подрядчика, чем рабочего. Так, в одном из писем рекомендовалось расплачиваться деньгами, только „буде таких охотников солью имать за провоз будет мало“. В других, впрочем, случаях, если в Нижнем цена на соль резко повышалось, на насад посылался обратный приказ—ни в каком случае „солью не рядить“, потому что „у нас (в Нижнем) соль купят бѣс полушки по осми копѣек“. Расплата производилась в несколько сроков. При найме выдавались задатки, бывали какие то платы в пути, а окончательный расчет производился уже в Нижнем, на зимовом дворе, самими подрядчиками после того, как насады становились на зимовку, и прикащики, произведя подсчеты, присылали расчетные книги.

Внутренняя организация рабочих не вырисовывается достаточно выпукло. Можно только определенно сказать, что нанимаются они обычно артелями, а не в одиночку. Во главе каждой артели стояли десятники, которым обычно и выдавались

харчевые деньги на артель. Иногда, повидимому, в особенности при найме извощиков, прибегали к услугам посредников, своего рода подрядчиков, которые и являлись ответственными лицами. Но такой порядок был не всегда удобен для рабочих, и они жалуются, что в этих случаях „для них чинятца напрасно лишние харчи“ и предпочитают, чтобы их „писали“ круговою порукою.

Гораздо определеннее выступает общий тон отношений к рабочим, создававшийся, несомненно, особенностями местных хозяйственных условий. Достаточно вспомнить значение Нижнего, как хозяйственного и торгового центра, чтобы живо представить себе, какой громадный спрос на рабочие руки был там при открытии навигации. И вот, в условиях борьбы за рабочие руки, под влиянием боязни упустить людей и складываются дальнейшие отношения. Прежде всего, при найме приходилось раздавать очень крупные задатки: в одном из писем упоминается, напр., о „половинных деньгах“, выданных в задаток. При таких условиях, естественно, соблазн бежать для рабочих был так велик, что требовались экстренные меры для борьбы с этим злом. Обычная система поручительства была бессильна; поручители бежали сами вместе с рабочими и если бы, пишут подрядчики, „к воеводѣ только докучать и по вся дни за тѣм ходить или о приставех бит челом и работных людей приставом сыскивать, так нам насадным промыслом и промышлять нѣколи“. Приходилось прибегать к вооруженной силе:—„а преж сего промышленники на зимовом дворѣ всякіе долги дворцового промыслу правили и бѣглых работников и порутчиков их на зимовой двор водили и сыскивали нижегородцкіе стрельцы и тут на них и деньги правили и нам бы, государь, также учинить, чтоб за бѣглыми работниками задаточныя деньги и за их порутчиками напрасно не пропадали и работникам бы, взяв задатки, бѣгать было не повадно“. Опасность бегства рабочих оставалась и в пути. Пользуясь неопытностью прикащиков, они часто в попутных городах скрываются с насадов. „Нас ради порадеі, а людей бы тебѣ отнюд по городам не спущать ни единаго человѣка. Господа ради, іс запасу выбери таких, чтоб которые не хотели, таких пошли в потчалке“, советует осторожный Калмыков Тимофею Кузьмину, прикащику, который вел второй насад.

Необходимость заставляет подрядчиков чутко прислушиваться к настроению своих рабочих, улавливать всякий слух о начинающемся недовольстве и в корне его пресекать. Они из Нижнего зорко следят за жизнью на насадах; каждого посланного, повидимому, расспрашивают о настроениях рабочих и, при первых намеках на начинающееся брожение, дают точные инструкции, как поступать. „Климу скажи нашим словом, есть ли он что станет держать или что станет заводит, или на какое дурно будет наговаривать, то ему скажи, чтобы припас себѣ богадѣльную“, пишут Калмыковы в письме к тому же Кузьмину. „Да сказывал Михайла Телега, что есть закликальщиков четыре человѣка, и ты гораздо их проучи, да вели свесть с насада, чтоб въпред от них дурна не было“, советуют они в одном из следующих писем.

Но следя за настроением рабочих, исключая, при первых намеках на какое нибудь брожение, нежелательные элементы, они в то же время крайне озабочены репутацией своего предприятия среди рабочих. Забота об аккуратной раздаче денег рабочим красной нитью проходит по письмам. Почти нет письма в Москву, где бы не повторялись просьбы о высылке денег „для роздачи работным людем“. В одном из писем такая очередная просьба сопровождается и подробной мотивировкой: „а буди, государи, работным людем задержать, і впред насадных работников наімоват будет с великою передачею, да і наіматца будут мало. І вы, государи, пожалуйте, не положите забвенно, изволте денег прислать не помешкав“. Подрядчики присовокупляют к этому даже угрозу, что в случае задержки денег они начнут их „из росту заімоват“, и „рост“ этот разложен будет между неаккуратными пайщиками. Ничем иным, как той же боязнью испортить репутацию своего предприятия на рабочем рынке Нижнего, продиктована, очевидно, спешная и настоятельная просьба, отправленная в одном из первых писем в Москву, о разрешении безпенного провоза на насадах в Астрахань вина „ведр по сту или по чему пригож для промыслу всяких работных людей“.

Содержание рабочих в пути лежало на обязанности подрядчиков. Как это дело было организовано,—в деталях не ясно. Ближайшим образом закупкой припасов ведали сами рабочие через посредство своих артельных десятников, которым и передавались харчевые деньги на всю артель. Часть продуктов выдавалась, впрочем, непосредственно натурой, по крайней мере, своевременная доставка хлеба лежит всецело на подрядчиках и заботит их еще с весны. Закупался хлеб оптом в Нижнем весною в сыром или молотом виде, на стругах отправлялся вслед за насадами вниз и складывался в попутных низовых городах—в Саратове, Царицыне, Астрахани, с тем, чтобы к обратному насадному приходу „на дачю работным людям все уже было готово“. Конечно, такой способ снабжения хлебом был и очень затруднителен и очень дорог, но закупка хлеба на местах, в низовых городах, была в то время невозможна. Выдвинутые в недавно освоенную, мало замиренную страну, низовые города того времени были только острожками, поставленными для охраны пути и никакого надежного рынка представить из себя не могли. К тому же, закупка хлеба у себя, в Нижнем, представляла неоценимые удобства, которые вряд ли могли повториться в отдаленных городах. В Нижнем компанейщики были люди свои, у них были торговые связи и они пользовались,

повидимому, известным кредитом,—могли, напр., заплатив за 984 меха муки 200 р. в задаток, „достальные деньги отдать на Макарьевской ярманке“, а, м. б., и расплатиться другим товаром. Впрочем, когда это представлялось возможным, подрядчики наши всегда старались использовать и другие местные рынки, зорко следя за колебанием цен. Так, в январе в Москву сообщают: „да вѣдомо вам, государи, буди—сказывают в Синбирску хлеб не дорог, а становится четверть по осьми алтын по две денги с молотьем; и мы хотели в Синбирск послать для хлѣбной покупки, да денег у нас нѣт, и мы затѣм и не посылаем, а в Нижнем рожь купают по 13 алт. четверть и нам бы в Синбирску купить прибылнѣе“. Хроническое безденежье, которым страдало предприятие, опять становилось на пути и подрезало предприимчивость наших подрядчиков.

В чем же была причина этого безденежья? Как вообще построена была финансовая сторона дела?

IV.

Основным фондом предприятия был тот аванс, который выдавался из приказа до выполнения подряда. Аванс представлял собою солидную сумму „2 доли по 8333 руб.“. Все же, повидимому, этого фонда было недостаточно, и уже в первом письме подрядчики предвидят тот случай, что денег, „которые задаток возметца ис приказу“, не достанет даже на первых порах и придется складываться „по паям“. Точная сумма затрат, даже на первоначальные расходы, остается неизвестной; выясняются только некоторые цифры: отступного пайщикам, которых желательно было от дела отстранить, 1050 р., „в провоз и пошлины“ в Москве истрачено было 2600 р.; для того, чтобы в Нижнем „искупить всяких судов; всяких снастей и работных людей нанять и каких всяких запасов“, нужно было иметь наготове две—три тысячи рублей; на раздачу рабочим в Казани „изошло 600 р. и т. д. Как видим, предприятие было довольно значительного масштаба и требовало всегда свободной наличности. А такой-то именно и не было. Главные расходы были на местах—в Нижнем и по пути, главные же рессурсы—в Москве. И приказные-то деньги получались в Москве, и сверх того, более состоятельные члены компании, гости, которые могли субсидировать предприятие, оставались в Москве же. Те же компанионы, которые были при деле, в Нижнем, не располагали, по всем данным, свободной наличностью или, во всяком случае, она вся была у них помещена в различных предприятиях, и ничего лишнего вложить в дело они не могли. При таких условиях приходилось либо допускать какие нибудь крупные упущения, грозившие подчас затормозить все дело, либо занимать деньги, а это было почти невозможно. Если вообще денежный рынок того времени был очен скуден и проценты, платимые по займам,

очень высоки, то в Нижнем дело обстояло еще хуже: денег „и с великим ростом не добудешь“, горько жалуются оттуда в Москву. Поэтому нельзя удивляться, что из Нижнего чуть не ежедневно посылаются в Москву усиленные слезные просьбы. Между тем пересылка денег была очень затруднительна и недостаточно надежна. Это заставляло подрядчиков, по мере возможности, ее избегать. Они внимательно следят за состоянием дворцовой казны в Нижнем и как только, например, получают сведения, что „у государевых промышленников Прохора Маслова с товарыщи в Нижнем денег есть с шесть тысяч рублев“, сейчас же отправляют в Москву просьбу, чтобы в случае, если деньги еще из казны не взяты, им разрешено было бы получить их в Нижнем. Даже пересылки своих компанейских денег они стараются по возможности избежать. Мы наталкиваемся на любопытную, довольно уже сложную, денежную операцию. Владимир Воронин должен был выслать своим сотоварищам в Нижний 1000 р. Вместо того, чтобы отправить их с каким нибудь нарочным „посыльщиком“, гость вносит эту сумму в Москве в приказ Б. Казны и берет оттуда память в Нижний, чтобы деньги эти были выданы там его компанионам из таможенных и кабацких доходов. Перед нами довольно хитроумный денежный перевод, обеспечивавший взаимные выгоды: и отправителю он гарантировал передачу, и для казны представлял большие удобства, ускоряя и облегчая поступление сборов. Такого рода комбинации были, повидимому, в деловых отношениях того времени в большом ходу. Мы видим, по крайней мере, что для наших дельцов они очень привычны и практикуются, очевидно, во всех приказах. „А взятые, государь, деньги в патриаршъ казенноі приказ не отдавать, что у промышленников патриаршихъ денегъ нѣтъ“, предостерегают нижегородские компаниоиы 16 марта своих московских сотоварищей, намеривавшихся, очевидно, произвести подобную операцию через патриарший приказ.

Но как велики были паевые взносы, и как они распределялись между компанионами? Это подведет нас к вопросу о том, как вообще строились взаимоотношения участников нашего предприятия, каков был состав компании?

V.

В основу взаимоотношений между подрядчиками был положен определенный договор—запись, заключенная, как мы видели, между соучастниками подряда еще до формальной сдачи его Калмыковым и имевшая целью установить их взаимоотношения во время торгов. Носила она как бы прелиминарный характер и договор, предполагалось, будет возобновлен после того „как тот провоз за ними будет“. Впоследствии, однако, этого сделано не было,—обстоятельство, послужившее позднее

главным основанием для Калмыковых оспаривать права гостей на участие в подряде. Сами гости об'ясняли это упущение иначе: по их словам сейчас же после укрепления подряда Калмыковы „манили бутто за поспѣшеніем низовые ѣзды, а обѣщались многою своею клятвою, что было им, пріѣхав с низу, написат в том промыслу новые записи против съемных записей. И онѣ, исцы, повѣря им, отвѣтчиком, и съемным записям и многой их клятве по прежнему их знакомству и по иным их многим промыслом, что онѣ учинили быт люди полные и многопромышленные и лжи от них никакой не начаялис,—для того по них с той съемной записи в неправде их і в неустойке в то время не били челом. А то у них дѣло торговое и межь ими торговыми людьми того бывает много, что в торговых промыслах і в торгах во многих вѣрят друг другу и без крѣпостей для того, что у них в торговых промыслах лжи не бывает". Как бы то ни было, в результате доверчивости гостей получился важный пробел в наших документах: в той, повторной, записи, которая бы действительно была „съемной", а не только предварительной „полюбовной", как эта, „складные деньги" обязательно бы, на что и указывала Калмыков на суде, „написаны б были имянно", т. е. очевидно, как доля, так и характер участия каждого члена предприятия были бы определены вполне точно и структура подобнго рода предприятий выступала бы достаточно ясно. При существующих же условиях, имея под руками только вот эту предварительную запись и лишь ряд косвенных указаний, приходится поневоле центр тяжести переносить на описание бытовой стороны дела, ограничиваясь при уяснении его формальной постановки только некоторыми предположительными выводами.

Существующая запись регламентирует только поведение участников при торгах и потому никаких сведений о правах и обязанностях компанионов в предприятии мы в ней не найдем. Там глухо говорится: „и буде по той цене за нами тот провоз устоит и нам всѣм тот промысл взять и промышлять вопче и поручную запись в приказ собрать вопче ж". Но ни форма, ни доля участия каждого ближайшим образом не формулированы. Все же запись позволяет констатировать довольно тесное общение компанионов между собою. Все крупные вопросы на торгах должны были решаться с общего совета.—Станет падать подрядная цена, - „нужно межь себя всем чинить по совѣту о цѣнѣ, почему устоит та провозная цѣна, а без совѣту нам друг без друга тое цѣны не убавливать, а буде в том нашем приказном торгу в провозе всѣм намъ учинятца какие харчи и убытки, и нам всѣм по совѣту для тех харчей по паям сложить деньги по чему доведетца, всѣм поровну, а без вѣдомости всѣх насъ, товарыщей, никому из нас тех денег в харчи никуды не держать"... При этом в запись вводится оговорка, что она носит только преливинарный характер и что будет „тот промысл против нашего челобитья за нами будет",—компанионам вменяется в обязанность „вновь о том учинить договор и покрепитца записми в тожъ время, как тот провоз за нами будет"... Нарушение кем-либо из компанионов указанных обязательств влекло за собою выплату остальным компанионам по 500 р. на каждого человека и полное возмещение убытков по заявлениям потерпевших.—Итак, разверстка возможных убытков пропорционально паям,—вот единственный признак, которым можно на основании записи характеризовать финансовую структуру предприятия. Не говоря уже о размерах паев, неясным остается и значение, какое вкладывалось в самое понятие пая. По тексту записи как будто выходит, что никаких предварительных взносов в предприятие компанионами не производилось. Деньги вкладываются пайщиками, только „буде в том нашем приказном торгу в провозе всѣм нам учинятца какие харчи и убытки";—до тех пор, пока в деньгах не будет экстренной надобности, никаких взносов с компанионов и не требуется.

Вообще паи были не одинаковы, паи видных компанионов были крупнее. Направляя в Москву 15 октября очередную просьбу о высылке денег и прося Воронина прислать на выдачу рабочим „своего ж паю девятсот рублев", Калмыковы убеждают другого капиталиста—Шиловцева прислать „против Володимера Васильевича (Воронина) своего паю, что доведетца" т.-е., предлагают ему, руководствуясь взносом Воронина, сделать дополнительный расчет, применяясь к размеру своего пая. Никаких более точных указаний на размер паев мы не имеем.

Нельзя не сознаться, что такая форма паевого предприятия чрезвычайно странна и малопонятна.—Из какого расчета исчислялась прибыль, в чем выражалась связь с делом пайщиков, не сделавших в предприятие никаких взносов и т. д.—все это остается совершенно неясным. Создается, впрочем, определенное впечатление, что такая форма складничества была делом необычным и свидетельствует о какой то недоделанности, о домашнем характере предприятия, дававшем повод ответчикам на суде опровергать и самый факт существования товарищества. „Без денежного складу не бывают товарыщами в промыслах і в товарех і в подрядех", категорически заявляют ответчики на суде. Здесь, между тем, „исцы против съемной записи не устояли, того промыслу всѣ не взяли и промышлять вопчѣ не стали і в поручную запись в приказ вопчѣ подрядчиками не написались і в приказные торговые убытки по совѣту по паям денги поровну не положили і в нов меж себя в тож время договору они исцы товарыщи своими ответчики не учинили и записми в тож время в том великом промыслу не укрепилис",—стало быть они и не товарищи, пытаются доказать Калмыковы на суде.

Способ разверстки дальнейших „харчей и убытков" по паям, о которой говорится в записи, свидетельствует о том же семейном, домашнем характере нашего предприятия. Деньги вкла-

дываются в дело по мере надобности теми компанионами, у кого они оказывались налицо,—окончательный расчет будет произведен позднее. „А что вы, государи. своих денег положили в промысел, и мы о том впредь с вами сличимся. А у нас, государи, сколько денег дошло на какие расходы, и то у нас написано в книги имянно",—пишут Воронину и Шиловцеву в Москву.

Счет каждого пайщика велся в книгах вполне точно, и заправилы предприятия в любой момент могли учесть, сколько с кого следует дополучить, какая за кем числится недоимка. „А буде вы, государи, денег ныне на разделку не изволите прислать, и мы станем денги из росту заімовать и работников раздѣлывать и на щетѣ чьѣх денег паю положено будет менше и тѣ убытки на тѣ заемные денги станем зачитать", пишут в письме. Но именно только при конечном расчете разверстка расходов становилась обязательной; во время же хода дела она была добровольной: пайщики делают взносы по мере своих возможностей, получают даже, в случае надобности, свои взносы обратно. В письме от 21 апреля в Москву сообщают, например, что один из пайщиков, Аѳонасий Первов, положил было в промысел „три ста рублев, да он же, Афонасеі, и назад взял сто тритцеть рублев, а сперва говорил, что хотел положить пятьсот рублев".

При всей неясности структуры предприятия общее финансовое положение его вырисовывается все же достаточно отчетливо. Аванса из казны не хватило и на первоначальные расходы; предварительные взносы пайщиков были не обязательны, так что вся тяжесть легла на плечи тех компанионов, которые сами пожелают оказать предприятию активную поддержку и дать ему оборотные средства. Письма наши дают возможность установить вполне точно, кто именно из пайщиков с самых первых дней поддерживает предприятие. Уже из приведенных выдержек видно, что это прежде всего гости Воронин и Шиловцев: просьбы о высылке денег составляют чуть не главное содержание писем в Москву. Вместе с тем, однако, и Нижегородские корреспонденты Воронина, Калмыковы, Луковников и Первов, не отказываются оказать посильную поддержку и в первом же письме сообщают, что сложились по 500 руб. и „помогать ради, по чему на пай достанетца". В одном из майских писем, где Калмыковы слезно молят Воронина не презреть их „прошенишка" и „сослать" на Макарьевскую ярмонку рублей тысечю или больши", они попутно сообщают точные данные, сколько чьих в деле было в тот момент денег: „нынѣ в промыслу, пишут они, наших болши тысячи рублев, Аѳонасьева (Первова) только сто рублев". Если прибавить к этому сведение, что Луковников вложил в дело за весь год 500 р., то этим, повидимому, список активных участников и заканчивается.

Несмотря на постоянные жалобы на безденежье, на постоянные попытки где нибудь перехватить денег, чтобы хоть сколько

нибудь выйти из затруднительного положения,—никаких упоминаний о возможности получить что нибудь с остальных компанионов нет. Совершенно ясно, что все остальные пайщики ничего до окончательного расчета в дело и не вносили.

Да и в этом небольшом ядре активных участников затраты распределялись далеко не равномерно. Первов скоро от дела отстал, внеся всего на всего сто „с прибавком" рублей; Луковников вложил за целый год всего 500 р., оставались главные персонажи, братья Калмыковы, с одной стороны, гости Воронин и Шиловцев—с другой.

Финансовое положение их было далеко не одинаковым. Капиталисты—гости и монастырские крестьяне Калмыковы—люди совершенно различного имущественного положения. Несмотря на то, что Воронин на суде определяет Калмыковых как людей „полных и многопромышленных",—из дела все же совершенно ясно, что свободной наличности у них во всяком случае на руках было очень мало. Одно позднейшее интимное письмо Федора Калмыкова к брату чрезвычайно ярко рисует скудость их финансовых рессурсов. Написано оно уже было значительно позднее, чем вся остальная серия писем, когда судебный процесс был в полном разгаре.—Им предстояло выкупить у вдовы Андрияна Луковникова один сильно компрометирующий их документ, от которого мог зависеть даже исход процесса—(копию с выданной ими Андрияну „здѣлошной записи") и пришлось от этого отказаться за неимением денег.—„Да я ш х тебе, братец, писал о денежной скудости во многих грамотках, что на низу, в Астрахане, исправитца нечем, а и ныне сказывают в Астрахане гораздо худо за денежною скудостью", сообщает Федька брату, „да и про то тебѣ буди ведомо, преж сего Варвара зъ братьми (вдова Луковникова) просила денег, в то число хотела выдать (запись) и я к тебѣ писал про то, что выкупит мне было нечем за денежною скудостью и ты, братец, ничево моево письма в дело не поставил". „Удивляюсь, что ты не опасен ни чево, что я не пишу, въсе ты забываешь, а я тебѣ не в смѣх писал, смех бы не оборотился в слезы, а я тебѣ не в одной грамотке писал, что в Астрахане денгами не исправитца, а бѣду свою выкупить нечѣм", красноречиво добавляет Федька несколькими строками ниже.—При таких условиях понятно, что взнос денег в предприятие составлял для Калмыковых нелегкую задачу. Видимо, они прилагают все старания, чтобы, по возможности, не выпустить дела и в финансовом отношении из рук и внести в него все, что в их силах. Горькой жалобой звучит их обращение в Москву в мае месяце: "А есть ли бы Спаситель не послал на нас гнева, да не залежал у нас меншоі брат, не просили бы мы никого, просили-б у Спасителя милости". На деле же им приходится буквально засыпать гостей просьбами о высылке денег. Сумма расходов гостей определяется вполне точно. В исковой своей челобитной

они пред'являют длинный счет сделанных ими затрат, общая сумма которых исчислена ими в 3649 р., 21 алт. 2 д.

Любопытно то, что все эти затраты произведены в первый год существования предприятия, хотя исковая челобитная подана более чем через два года. Ясно, что либо предприятие стало окупаться, либо Калмыковы стали обходиться своими средствами. Очевидно, во всяком случае, что дело стало приносить участникам какую то значительную прибыль. Откуда же она могла получиться? На счет легальных получек из приказа ее отнести нельзя—Калмыковы в 194 г. в приказе прямо заявляют про „государскую денежную казну, что дано им ис приказу Большого Дворца на рыбноі провоз шесть тысяч рублев", что „она вся у них в расходе в платеж заемных денег, которые они заимывали в приход осенних насадов на расплату с работными людьми, да за провоз же рыбы до Москвы и на всякие расходы работным же людем". Расчеты участников строились, очевидно, на каких то побочных выгодах, сопряженных с этим казенным подрядом. Размолвка между участниками вскрывает нам некоторые черты этой закулисной стороны дела. Первые годы прошли для подрядчиков вполне благополучно—рыба была доставлена вся сполна и никаких недоразумений при приеме ея не было. В 1686 г., однако, „по осмотру обявилась их государская рыба в привозе в Нижнем из зимовя клейменая за воровским, а не за Астараханским клеймом, а клеймили де тоѣ рыбу в зимове подрятчиков прикащик Івашко Петров да подячей"... Вслед за тем, в Юрьеве Польском человек гостя Воронина именем своего хозяина и гостя Шиловцева подают изветную челобитную с отказом от поручительства в виду того, „что подрятчик Клнмко Калмыков з братьями, хотя их по поруке разорить, продают по розным городам государеву лутчую насадную отборную рыбу і в их подрятчикове рыбе государской рыбы не сыскано многаго числа". Вряд ли это был первый случай. Вряд ли гости так преисполненны были гражданскими добродетелями, чтобы не принимать раньше участия в подобного рода комбинациях, Пока между участниками был мир, все было шито-крыто; нарушились добрые отношения, и сейчас же пошли в ход изветные челобитные. Интересен финал этого эпизода: Калмыковы попали под одну из очередных царских амнистий и пеня в 10 тысяч, наложенная на них, была им прощена, поставку рыбы им указано продолжать и на последний пятый договорный год, а гостям в их просьбе освободить их от поручительства—отказано. Очевидно, в приказной практике подобные случаи были настолько обычны, что разрывать из за этого преждевременно договор и искать новых подрядчиков не признавалось нужным.

Так складывалась в общих чертах финансовая жизнь нашего предприятия. Никакой прочной финансовой основы оно, как видим, за собою не имело. В этом отношении компания

жила, перебиваясь изо дня в день, и принуждена была для срочных расплат перехватывать средства то здесь, то там. Раскладка расходов по паям существовала только в теории, а на практике вся тяжесть их падала на небольшое ядро активных участников, между тем как большая часть пайщиков не принимала в них никакого участия. В чем же тогда, однако, выражалась связь этих пайщиков с делом? Каковы были деловые и житейские отношения участников между собой? Каков был, наконец, их социальный состав?

VI.

С первого взгляда на состав кампании, бросается в глаза его разнородность. „Се яз гости Василей Гаврилов сын Шиловцев, да яз Володимер Васильев сын Воронин, да яз Гаврило Мартынов сын Ѳетиев, да яз суконной сотни Тимоѳей Иванов сын Бѣлавинской, да яз Григорей Тимоѳѣев сын Боков, да яз кадашевец Андрѣян Иванов сын Луковников; да яз великого господина святѣйшаго Іоакима Патриарха моск. и в. Р. домового его Нижегородского Благовѣщенскаго монастыря крестьянин Аѳонасей Емельянов сын Первов написали мы меж себя полюбовные и договорные сіи записи по противням садовой слободы с Никиѳором Аникиевым сыном Володимеровым, да суконноі сотни с Михайлом Ивановым сыном Володимеровым, да с садовником с Ываном Івановым сыном Пестенком, да казенной слободы с Ываном Зиновьевым сыном Салтановым, да с Нижегородцами патриарша домового Благовѣщенскаго монастыря с крестьянами с Климом, да с Ѳедором, да с Никитою Пракоѳьевыми детми Калмыковыми в том...", начинается запись, перечисляя участников компании.

По формальному смыслу текста, перед нами договор, двух компаний. Весь вопрос в том, что это были за компании,—действительные ли артели, об'единившиеся для участия в определенном предприятии и связанные между собою формальным договором, или просто сжившиеся тесно бытовые группы, привыкшие выступать вместе в разных операциях, или, наконец, проводимое записью разделение было фиктивным?

По социальным признакам обе группы особенно существенно друг от друга не отличаются. Правда, вся аристократическая, если можно так выразиться, часть компании—все три гостя, участника предприятия, выступают рядом; зато все остальные члены распределяются по обеим группам, не вызывая мысли о резких различиях в социальном отношении. Это,—в большей своей части, средний московский торговый люд разных слоев, к которому снизу присоединилось несколько крестьян Нижегородского патриаршего домового Благовещенского монастыря. И мы видим двух членов суконной сотни—Белавинского и Бо-

кова в Воронинской компании, одного, М. И. Володимерова,— в Калмыковской; кадашевца Луковникова вместе с Ворониным, а человека садовой слободы Н. А. Володимерова, садовника Ив. Ив. Пестенка, каз. слободы Ив. Зин. Салтанова—вместе с Калмыковыми. Любопытно также, что монастырский крестьянин Первов, которому, казалось бы, естественнее всего выступать вместе с Калмыковыми, фигурирует в компании Воронина и Шиловцева. Значит, не в социальном положении участников лежал смысл разделения на эти две группы.

Зато житейские отношения между участниками каждой группы складывались различно. Группа Воронина—это в большей своей части, по его собственному признанию, плеяда его давних „друзей и хлѣбоѣжцев", по всей вероятности, привычных участников его торговых экспедиций. Из них Андриан Луковников еще в 1677—79 гг. фигурирует в качестве сотоварища Воронина по торговле с персами в Астрахани. Загадочнее компания Калмыковых: никаких признаков особенно тесной связи между компанионами не заметно. Факт тот, по крайней мере, что Калмыковы, с первых же дней обнаружившие определенное стремление устранить, на сколько возможно, Воронина из дела, совершенно равнодушно в то же время относятся к тому, что сотоварищи их постепенно выключаются из дела и паи их скупаются Воронинской компанией, в результате чего вскоре вся группа Калмыковых оказывается разсеянной, и они остаются в деле одни, лицом к лицу с компанией Воронина. В первом же письме к Воронину они охотно соглашаются, чтобы число пайщиков в деле было сокращено. „Писал же ты, государь, что нынѣ стоит в промыслу нас десять человѣк и еще убавить человѣка два—три, буде поiдут на здѣлку, а чают давать им вдвое, і вы изволте им здачю дать, потому что у того промыслу будет многолюдство, не было б ссоры, и которым, государь, то дѣло не в обычай, извольте дать здачю и о том, как вас Бог на разум наставит, потому, государь, меньши людей, менѣши и щету и не ссорно будет", пишут в Москву 16 марта. Вероятно, в результате этого письма и произошла потом скупка паев. Ясно, что выбывшие лица ни для дела, ни для самих Калмыковых значения не имели.

Из компании, стало быть, выделяется лишь небольшое ядро активных участников, инертное же большинство компанионов никакими нитями с делом не связано.

Спрашивается, однако, что же втягивало их в предприятие? На этот вопрос придется, повидимому, ответить двояко. Некоторая часть этой группы готова сейчас же по заключении договора использовать свои права перепродажей своих паев с надбавкой вдвое. Можно думать, что это были скорее всего лишь самые несговорчивые конкурренты при торгах, которые не соглашались идти на сделку заранее и которых пришлось вобрать в предприятие с тем, чтобы при первом удобном случае от них откупиться. Может быть даже, в их лице мы имеем своего рода профессионалов, для которых подобного рода сделки были обычны.

Остальная же часть этих далеких от дела компанионов—„друзья и хлебоѣжцы" Воронина. Чувствуется, однако, что участие их в деле совершенно номинальное. Единственный раз, когда они как будто выступают в активной роли, при скупке паев у других компанионов, при ближайшем рассмотрении участие их оказывается чисто фиктивным. Несмотря на то, что они фигурируют в записи как официальные покупщики наравне с главными персонажами предприятия, на самом деле деньги за их паи, „за себя и за товарищев своих, которые с нами в записи писалис", платили Воронин и Шиловцев. Еще показательнее, может быть, в этом смысле отношение к делу одного из членов этой Воронинской компании—гостя Гаврилы Фетиева. Нам уже много раз пришлось отметить финансовую слабость предприятия. Участники бросаются из стороны в сторону в поисках денег, заваливая своих капиталистов компанионов—Воронина и Шиловцева просьбами. И при всем том, ни одного разу они не делают даже попытки получить что нибудь от Гаврилы Фетиева. Между тем он ведь тоже принадлежит к капиталистической части компании, он ведь тоже московский гость. Очевидно, его участие в деле было настолько фиктивно, что никаких шансов на получение субсидии от него—не было. Невольно приходит в голову вопрос, зачем же понадобились все эти посторонние люди?

Причина, повидимому, была в каких то требованиях приказной практики и обычая, в какой то необходимости обставить предприятие возможно шире, как в смысле числа участников, так и их качества. Надо было иметь постоянно под руками людей, которых можно было бы в любой момент выдвинуть в качестве подставных лиц для той или иной сделки. Так, мы видим, что когда понадобилось, во второй год деятельности компании, взять подряд на поставку казенного хлеба в Астрахань, подряд этот был закреплен на имя одного из таких фиктивных участников нашего предприятия, Белавинского, хотя фактически выполнялся общими силами. Создается впечатление, что фиктивное участие в предприятиях было в московском торговом мире в большом ходу и что все эти гости и торговые люди были связаны целой сетью подобных отношений. Если верхи действовали как равноправные, если какой нибудь гость Фетиев, давая свое имя предприятию, компенсировался, очевидно, тем, что и наши гости, Воронин и Шиловцев, поддерживали своими именами какие нибудь его торговые операции, то весь средний торговый люд вербовался, очевидно из числа, „друзей и хлебоѣжцев" заправил предприятия, из среды той тесной клиентелы их, которая ютилась около каждого крупного капиталиста.

Больше того, присматриваясь к небольшому ядру активных участников предприятия, легко заметить, что и они принадлежали к той же среде.

Активных деятелей в предприятии очень мало. Кроме двух гостей, остававшихся все время в Москве, в Нижнем фигурирует пять человек — три брата Калмыковы, официальные владельцы предприятия, кадашевец Андриян Луковников и монастырский крестьянин Первов. Луковников и Первов фактически оказываются в деле своего рода агентами Воронина. Самый от'езд их на место действия, в Нижний, произошел, повидимому, до известной степени по инициативе Воронина. Как выясняется из показаний гостей на суде, они считали присутствие этих лиц в Нижнем достаточной гарантией того, что их интересы будут соблюдены и что Калмыковы будут под постоянным наблюдением. Дальнейшая роль и судьба их в деле вполне подтверждают такое впечатление. Участие Первова в предприятии было очень непродолжительно. Калмыковы, чрезвычайно заинтересованные, как увидим ниже, в том, чтобы уклониться от постоянных наблюдений, прилагают все усилия, чтобы от этих неудобных для них лиц откупиться. С большой настойчивостью они с первых же дней начинают осуществлять свои намерения. Не имея шансов добиться открыто согласия гостей на выкуп пая Первова, они скрытно, за их спиною, устраивают сделку. Горячо выражая на словах свое удивление по поводу быстрого отдаления Первова от дела, красноречиво осуждая его поступок, они в то же время сами все это и устраивают. „От того времени де Первов и в Астрахань то не поѣхал и от промысла отстал и на зимовой двор не ходит" как Ѳедор Калмыков посулил ему „сдачи" дать „сто рублев и в руку ударил", сообщает Луковников в Москву. Еще определеннее облик Луковникова. Нижегородец по связям, а может быть, и по происхождению, старинный сотоварищ Воронина по далеким торговым экспедициям, Луковников и был использован своим патроном, как фактотум и верный блюститель его интересов. Он исполняет роль коммерческого агента—сообщает Воронину о долге в 900 р., который следует оплатить на Макарьевской ярмарке, осведомляет его о тех закупках „нарочитых" товаров, которые было поручено сделать попутно в Астрахани Шарапову. При первой возможности, от него идут в Москву вести о каждом подозрительном шаге Калмыковых. Немедленно же после от'езда Калмыковых в Астрахань, он считает своим долгом отправить в Москву целое донесение о их поведении в Нижнем. Он обращает внимание на скупку пая у Первова, сообщает, что Федор Калмыков „с товарищи" (какими — неизвестно) подрядился у промышленников (дворцовых) „згонить в Астрахань восемь паузков с хлѣбными запасы". Заканчивает он свое письмо уже формальным предостереженьем, что Воронин поступил крайне опрометчиво, не утвердившись с Калмыковыми „никакими крепостьми": „и я, малоразумный, сему дѣлу удивляюсь, что вы так изволили",—подобострастно добавляет он. Подобные донесения повторяются при всяком удобном случае и позднее. Та же нота

подчиненности звучит и в других обращениях Луковникова и Первова в Москву. Желая, например, оформить свои взаимоотношения с Калмыковыми, они пишут: „а как, государь, нам с Климом и Ѳедором Калмыковыми укреплятца записми и ты, государь, о том, как изволишь, на твою, государя нашего, милость во всем положилис и о том, пожалуй, прикажи к нам отписать, чтоб нам от твоей, государя нашего, милости вовсе не отбыть". При таких условиях совершенно понятно, что устранение Луковникова должно было стать одной из первейших забот Калмыковых. Но в течение целого года им это не удается и только к весне следующего года, и то очень дорогой ценой—отдачей Луковникову на 2 года права пользования заарендованным ими рыбным промыслом—они добиваются своего.

В общем, значит, можно не обинуясь сказать, что оба—и Первов, и Луковников — были просто подручными Воронина, имевшими определенную миссию — защищать в деле интересы своего патрона.

Сводя воедино все эти данные, получаешь впечатление, что и вся вообще компания участников вышла из среды близких клиентов и приспешников Воронина, что центром предприятия вначале были именно гости, по инициативе которых самое предприятие, быть может, и возникнет. Остается выяснить только, какова же была деловая роль Калмыковых, что они собою представляли, как сложились их отношения с гостями вначале, как дошли они до полного разрыва с последними, в какие формы вылилось возникшее единоборство?

VII.

Для того, чтобы уяснить себе сущность позднейшего конфликта, необходимо дать себе отчет, на какой почве он развивается, необходимо разобраться подробнее, как складывались деловые взаимоотношения в этом небольшом ядре активных участников.

Деловое значение нижегородской группы компанионов уже отчасти известно: им принадлежит руководящая роль на месте при снаряжении и позднейшей разгрузке пасадов в Нижнем, при погрузке их в Астрахани. Важно, однако, выяснить степень их деловой самостоятельности. Переписка с Москвой помогает нам в этом. Прежде всего бросается в глаза, что вся текущая работа по предприятию ведется в Нижнем вполне самостоятельно. Никаких руководящих указаний из Москвы не получается ни во время весеннего снаряжения насадов в Нижнем—по оборудованию их, закупке продовольствия, найму рабочих, ни при зимней отправке рыбы в Москву. Калмыковы и Луковников действуют на свой страх и риск, сообщая только в Москву post factum о сделанных шагах. Такая самостоятельность на месте и невмешательство московских компанионов в повседнев-

ную деловую жизнь предприятия считается, повидимому, первым требованием деловой целесообразности и возводится в принцип. Малейшая попытка вмешательства из Москвы, даже если оно исходит от временно находящегося там Клементия Калмыкова, встречает в Нижнем горячую отповедь. „А что писал Клементей Прокоѳьевич про насаднаго кормового подъячего Івашка Никитина, что ему отказать, і мы про нѣго дурна никакова нѣ слыхали, а есть бы какое про нѣго дурно услышали, і мы бы его и смирили, а у Матвея Шарапова на насаде все (м)нитца ісправно, дурна никакова нет, а что, государи, какие вам слова бывают наносные,—всяких слов не переслушать; мы живем вас, государеі, ближе, а дурна никакова нѣ слыхали", пишут в Москву. Даже в финансовом отношении, несмотря на всю материальную зависимость предприятия от гостей, Нижегородцам предоставляется большая степень автономии. Каждая сторона расходует деньги по мере надобности совершенно самостоятельно и только потом оповещает друг друга о сделанных затратах. Даже в таком важном вопросе, как наемная плата рабочим, нижегородцы действуют вполне самостоятельно: „А впреди по той ли ценѣ, или больши или менши работных людей станем наймовать, и о том будем к вам, государь, писать". просто сообщают они. Вся бухгалтерия предприятия, счет каждого пайщика, ведется также в Нижнем, и Калмыковы в любой момент могут сообщить и вычислить „на щетѣ", чьих денег больше, чьих меньше.

Если обратить внимание на тот список поручений, который давался из Нижнего в Москву, легко сделать наблюдение, что техника дела была, очевидно, москвичам мало знакома и ближайшие нужды и запросы предприятия, обстановка, в которой приходилось действовать, от них очень далеки. Из Нижнего в Москву приходилось, по крайней мере, шаг за шагом указывать, какое дело стоит на очереди, что следует в Москве еще предпринять для обеспечения предприятию того или иного необходимого снаряжения, той или иной необходимой заручки. Видно, что нижегородские компаниоиы были мастерами своего дела, которым техника его была отлично знакома. Самая точность поручений обнаруживает в нижегородских компаниопах людей большого житейского опыта, крупных деловых способностей. Им хорошо известно и то, какими именно „почестями" можно ублаготворить строптивого низовского воеводу и они посылают в Москву точное требование: „да купите, пожалуйте, надобно в почесть два пуда сахару, пятсот лимонов, два погребца водки, или что пригож." Хорошо им знакома и общая кон'юнктура московских отношений; они указывают, напр., что от Одоевских именно желательно взять „советные грамотки к околничему Головину в Астрахань, чтоб он был к нам милостив". Даже общее содержание желательного доклада государю по поводу учиненного Лысковским воеводой насилия, намечается ими в

письме: „Милости, государь, у тебя просим, доложи государя боярина князя Василья Ѳедоровича, чтоб он, государь, у того в. г. у промыслу не дал разорить и доложил бы государя при Богдане Матвеевиче такие образцы и их таких воевод в тюрму сажали за такое ж дело". Вряд ли, однако, такая точность поручений была продиктована неуверенностью в том, что гости сами не сумеют ориентироваться в деле. Если обстановка и ближайшие потребности предприятия были там и в действительности не всегда достаточно знакомы и попытки их предпринять некоторые самостоятельные шаги встречают иногда критику в Нижнем, то московские то отношения уж во всяком случае были гостям гораздо лучше знакомы, чем нижегородцам. Скорее всего, детализация поручений вызвана тем, что сами гости стремились иметь под руками готовый материал, не имея возможности или желания разбираться в подробностях дела.

Только в тех случаях, когда нижегородцы окончательно не чувствуют себя компетентными, они неизменно обращаются за проверкой в Москву. Хитроумная канцелярская форма была совершенно не усвоена нашими нижегородскими дельцами, и каждый раз, отправляя отчетные ведомости в приказ, они просят гостей эти отписки распечатать и исправить. „Да пожалуіте, государи, просят они, посмотрите и отписок, кои от нас посланы в приказ Болшого Дворца, и буде, государи, гдѣ что объявитца в чем не исправно написано или описано, изволте вы по своей милости исправить или и переписать, чтоб нам впредь в чем напрасно слова какова не принят".

Можно сказать, следовательно, что душой всего дела являются Калмыковы. Они ведут самостоятельно всю подготовительную работу в Нижнем, от них исходит вся деловая инициатива как на месте, так даже и в Москве, они же выносят на своих плечах всю летнюю погрузку рыбы в Астрахани, на их долю выпадает позднее и организационная и инструктивная работа во время погрузки и отправки в Москву. Между тем для гостей этот подряд был лишь отдаленным, незначительным уголком их больших торговых операций. Они широко его субсидировали, охотно вызволяли в Москве, но в подробности особенно не вникали, предоставляя их своим компаниопам и ограничиваясь посылкой на место своих агентов и подручных. Такое положение вещей должно было естественным образом вызывать в Калмыковых стремление при первой возможности и совершенно избавиться от эгиды гостей и вовсе устранить их из дела. Стоило им только оборудовать при посредстве гостей все нужные на первых порах дела в приказах, чтобы они начали потихоньку выживать из дела агентов гостей; стоило им только к концу года несколько опериться в финансовом отношении, чтобы они предприняли первую решительную попытку вытеснить гостей из дела совершенно. Мы видим, по крайней мере, что уже к лету следующего года дело доходит до полного разрыва

и предпринимается первая попытка покончить его третейским судом. Спрашивается, однако, как же гости, опытные, бывалые дельцы, могли быть так опрометчивы, чтобы не обеспечить себя с формальной стороны ни чем? Что же представляли собою Колмыковы, чтобы гости могли им так слепо довериться?

VIII.

Биография Калмыковых не сложна. Это были homines novi на торговом горизонте Москвы. Карьера их очень стремительна. В 1678 году они числятся еще среди бобылей Благовещенского монастыря и скромно живут в монастырской слободе на дворе с „сусѣдом Оксенкой Ѳедотовым", а в 1682 г. это были уже люди с некоторой торговой репутацией, по признанию гостей — „люди полные и многопромышленные", которым можно было верить „по иным их многим промыслам. „Они примкнули, очевидно, к среде тех оброчных патриарших крестьян, которые выезжали в Москву, чтобы заниматься там торговлей и промыслами и которых, по наблюдению М. И. Горчакова, в XVII в. было довольно много. Диапазон их торговых операций нам в точности не известен; однако, мы знаем, что у них имелись дела не только в Нижнем, а и в Астрахани — с персидскими купцами. Вопрос лишь в том, в какой степени Калмыковы были самостоятельны в своих операциях. По всем данным, еще сидя на своем бобыльском дворе, они были причастны торговле. Мы застаем их, по крайней мере, в нашем предприятии уже людьми опытными, бывалыми. Но все же, несомненно, это — только начало их карьеры.Их финансовая беспомощность и зависимость от гостей, их раболепный тон по отношению к гостям убеждают нас в этом. Встреча их с гостями в нашем предприятии не была случайной. Об'ясняя на суде свою излишнюю доверчивость по отношению к Калмыковым, гости прямо заявляют, что поверили „многой их клятве по прежнему их знакомству". Повидимому, у Воронина были с Благовещенским монастырем прочные связи. Недаром „Благовещенского монастыря архимандрит писал в монастырь к казначѣю, чтоб сто рублев денег отдал в промысл наш"... Мы видели, какую роль при Воронине играл монастырский крестьянин Первов; оказывается, что и приказчик Воронина, Шарапов, принадлежал к крестьянам того же монастыря. Возможно, что в среде монастырских крестьян была целая группа оброчных, начинавших свою карьеру под защитой Воронина, который руководил их первыми шагами на торговом поприще, кредитовал их и в нужные моменты пользовался их услугами. Вот к этой то группе, повидимому, и принадлежали Калмыковы. Такой характер их отношений ярко сквозит в письме к Воронину, которое Калмыковы пишут в Москву самостоятельно, без Луковникова: „Государю моему, благодетелю, Володимиру Васильевичю рабы милости твоей Климко да Федка Калмыковы

за милость твою рабски челом бьем".., начинается письмо. „Володимир Васильевич, пожалуй меня, раба своего, в домишку какая нужда и тебе, государю, будет докука, пожалуі, не презри нашего прошенишка", читаем мы ниже. В этих оборотах сквозь риторику, несомненно, проступает действительный общий тон отношений. А кроме того имеются и прямые данные за то, что торговые связи Калмыковых с гостями выходили за пределы нашего предприятия. Так, Адриан Луковников считает нужным подробно осведомлять своего патрона о ходе других торговых дел Клима в Астрахани, конечно, потому, что Воронин в этом был непосредственно заинтересован. „Ведомо тебѣ, государю, буди", пишет он, например, „Климентей Прокофьевич із Астрахани по се число в Нижнеі не бывал, а ездоки із Астрахани по се число в Нижнеі есть і поехали із Астрахани сентября с 7-го числа, а как он торговал в Астрахани мелочью и что на ту мелоч каких товаров имал і по которої ценѣ тое мелоч на мену ставил, і о том к нам от него ведомости нѣт".

Все это вместе взятое позволяет с большой степенью уверенности утверждать, что Калмыковы вышли из среды „друзей и хлебоѣжцев" Воронина, как и прочие участники предприятия. Отсюда, вероятно,—и чрезмерная доверчивость гостей к Калмыковым. Являясь инициаторами предприятия, не считая удобным по каким то соображениям давать официально свое имя этому подряду и избрав из тесного круга своих ближайших клиентов наиболее способных и подходящих к делу людей, гости закрепили официально подряд на их имя, предоставили им все фактическое ведение дела и вполне доверились им, ограничившись только посылкой для контроля своих агентов и подручных.

На деле, однако, создалось чрезвычайно ложное и двойственное положение. С одной стороны, Калмыковы являлись официальными владельцами предприятия и вместе с тем фактически были полными распорядителями дела. С другой стороны, они на каждом шагу ощущали свою материальную зависимость от Воронина, постоянно должны были чувствовать себя под каким то контролем. Такое положение, естественно, должно было порождать у них сильное желание от этой зависимости избавиться.

И это их желание, действительно, обнаруживается чуть ни с первых дней существования предприятия. Отдельные этапы возникшей отсюда борьбы очень любопытны для характеристики этих мелких провинциальных дельцов, карабкающихся вверх и пробивающихся все таки к концу своей жизни в один из передних рядов московского торгового мира.

Не имея надежды сразу избавиться от своих патронов, Калмыковы прежде всего стараются расчистить себе путь к безконтрольному хозяйничанью на месте и ставят на первый план устранение из дела ближайших агентов Воронина-Первова и

Луковникова. Богатого Кадашевца Луковникова купить было значительно труднее. Они чуть не с первых дней работы устремляют все свое внимание на Первова и очень скоро достигают цели. Действовать в открытую им не приходится. Они добиваются своего за спиною своего патрона и маскируют свою тактику сообщениями, что Первов изменяет своему слову и неизвестно почему отстает от дела. Стоит вчитаться в их письмо по этому поводу, чтобы оценить степень их ловкости и лицемерия. „Да о том тебѣ, государь Володимер Васильевич, вѣдомо чиним", пишут от 20 апреля, „Аѳанасей Первов от насадного промыслу отстал и ни зачем за насадным промыслом ходить не стал. Положил было он, Аѳонасеі, в тот промысл триста рублев, а сперва говорил, что хотел положить пятьсот рублев, и в том слове не устоял,—знат, что он Аѳонасеі, любит торговат хвастанем и за чюжими денгами. И о том, как ты, государь, изволиш знат, что худоі торг, кто мотами торгует и не постоянством живет, хвастает тысячами, а к делу и сто рублев займует. И про то тебе, государю, опроче нас извѣстно будет, каким он Аѳонасеі нравом живет"... Интересно то, что письмо это подписано Федором Калмыковым и Луковниковым вместе. Только значительно позднее, после отъезда Калмыкова в Астрахань, Луковников сообщает в Москву, каково истинное положение вещей: „тебѣ ж, государю, буди ведомо, Ѳедор Калмыков посулил дать здачи Аѳонасью Первову сто рублев і в руку ударилі. Аѳонасей от того времени і от промыслу отстал и на зимовоі двор не ходит і в Астрахань не поѣхал, а как у них будет і впредки, про то Бог вѣст". К этому времени Калмыковы успевают уже вполне раскрыть свои карты, и Луковников, выражая удивление, что Воронин „не утвердился" с Калмыковыми никакими „крѣпостьми", сообщает подозрительный факт: „какие деньги им даются в промысл, а в тех деньгах они расписок не дают". В декабре Луковников повторяет свои предостережения и сообщает, что Калмыковы вновь отказались дать расписку в получении денег: „манили со дня на день, а сказали—такой-де расписки не дадим".

На очереди стояла задача избавиться от бдительного ока Луковникова. Мы видели, какой дорогой ценой Калмыковы этого добиваются,—и к марту месяцу остаются в Нижнем полными хозяевами дела. Удаление Луковникова сыграло, повидимому, решающую роль, и после этого дело идет к быстрой развязке. Еще весной компаниоиы совместно берут подряд на перевозку в Астрахань хлеба, а уже к лету, по позднейшему показанию гостей на суде, Калмыковы отбивают от дела не только „товарищев", но также и прикащиков, а в июне происходит открытый конфликт, который пытаются, хотя и неудачно, разрешить третейским судом. В следующем году гости, повидимому, уже активного участия в деле не принимают. Проходит два года, прежде чем гости подают свою исковую челобитную в Патриарший Разряд. Такая терпимость их совершенно непонятна и диктуется, очевидно, какими то сторонними соображениями, которые остаются вне поля нашего зрения.

Между тем, при малейшем желании, гость Воронин, мог без всякого труда справиться со своими зарвавшимися компанионами. Счастливая случайность дает нам возможность определить вполне точно удельный вес Воронина в Москве.

По своему материальному положению он вряд ли выделялся из среды остальных московских гостей. Сохранившееся в столбцах Белгородского стола дело о непоставке Ворониным и другими поставщиками провианта для войск во время 1 Азовского похода [1]) дает вполне точные сведения о его имущественном положении в 1695 г. Привлеченный к ответственности, он дает такие показания о своем имущественно положении: „Двор де у него за Москвою рекою в Кадашеве, в рядѣх, в приходе у Козмы и Доміана, а лавок в рядѣх в суконном, в сурожском і в овощном і в ыных с тридцать (л. 19).—„В Московском уѣзде по Звенигороцкоі дороге за селом Павловским на Бѣлой рѣчке, да на рѣчке на Истрице за ним двои заводы желѣзные і даны ему тѣ заводы во 189 году із приказу Большого Дворца на двадцать на пять лет. А с тех заводов и с пустошей платит он в тот приказ по сту по двat-цати рублев в год, і работают де на тѣх заводах із найму русскіе люди, і иноземцы і всякіе прихожіе люди, і на тѣх заводах у него для приѣзду построено два двора со всяким дворовым строеніем, да мастеровым и работным людем дворов с пятдесят. Да ему ж отдано ис того ж приказу на Самаре і на Сызране збирать рыбу белуги и осетры і всякие рыбные припасы с Яицких казаков и со всяких чинов и с торговых людей, которые приезжают с Яику десятую долю на 5 лет по 206 год, а с того промыслу платит он откупных денег в приказ Б. Дворца по две тысячи по двѣсти рублев на год, і для того промыслу в тѣх городах построены дворы и амбары и живут прикащики ево і люди для збору. А помѣстей и вотчин и крестьянских и бобыльских дворов за ним нѣт нигдѣ".

Вопрос о размерах капиталов московских гостей совершенно еще не обследован в научной литературе, даже специалист исследователь принужден был от этого отказаться [2]). Так что материала для сравнения под руками мало. Но даже если оставить в стороне таких крупных тузов XVII в., как Надей Светешников и Василий Шорин, и обратиться к сведениям о достатках рядового гостя Ивана Ушакова, имеющимся в том же деле [3]), можно все же с достаточной степенью уверенности ска-

[1]) Ст. Белг. ст. № 1495.

[2]) Довнар Запольский. Торг. и Пром. Москвы, стр. 36.

[3]) Ив. Ушаков, не имея, правда, лавок в Москве, владел зато кроме двух дворов в Москве, еще вотчиной в 22 дв с винным заводом на 150 котлов, 5 солян. варницами в Уфимск. у., усольем в Иркутском у., усольем в Енисейском у., 10 лавками „в рядѣх" в Енисейске, да в Иркутске—6-ю лавками.

зать, что Воронин даже к 1695 г., т.-е. к концу своей карьеры, в этом отношении ничем особенным не выделялся и концентрировал свою хозяйственную деятельность около Москвы и Поволожья. Гораздо внушительнее фигура Воронина в смысле личных связей в Москве. Он был лично близок к правительственным кругам 1682—89 г. Параллельно с нашим судебным процессом Воронину пришлось вести другое судебное дело с Брянскмм жильцом Саввою Тухачевским, не выполнившим своих обязательств по поставке поташа. Это судебное дело было разрешено в пользу Воронина, и ему в компенсацию было отписано поместье Тухачевского в Брянском у. Направляя туда своих приказчиков, Воронин давал им постоянно из Москвы письменные инструкции. В этих грамотках Воронин настолько подчеркивает свою близкую связь с семьей Василья Голицина и с Аѳон. Фед. Толочановым, что дает повод Тухачевскому позднее, после переворота 1689 г., на суде воспользоваться его признаниями и выдвинуть против него эти компрометтирующие факты: „И Володимер в тех своих грамотках к работникам своим князь Василья и княз Алексея Голициных і и околничего Семена Ѳедоровича Толочанова писал друзьями, надѣясь во всяких своих дѣлах на их вспоможенье“, показывал он на судѣ.

При таких условиях, казалось бы, победа над Калмыковыми не могла стоить Воронину ни малейшего труда. И все же мы видим, что процесс тянется целые годы, несмотря даже на очевидность представленных Ворониным доказательств. Причины такой медлительности мало понятны. Если некоторую роль могла играть ловкость и увертливость Калмыковых, то решающее значение имели все же, очевидно, некоторая инертность и нерешительность самого Воронина. По свойственной русским людям двойственности психологии, он мог, ведя свой судебный процесс, в то же самое время пользоваться деловым сотрудничеством своих противников, способности которых высоко ценил. Мы видим, по крайней мере, что в деле по невыполнению интендантских подрядов в 1695 г., обвиняемым наряду с Ворониным является и Никитка Калмыков. И позднее Воронин продолжал иметь деловые сношения с тем же тесным нижегородским мирком, в котором Калмыковы играли к тому времени видную роль.

Как бы то ни было, никаких нажимов со стороны Воронина сделано не было и судебный процесс был предоставлен своему естественному ходу. Калмыковы во всю ширь могли применить свои способности, проявить свою ловкость и изворотливость. Отдельные эпизоды этой борьбы хорошо дополняют характеристику наших героев.

Ответчикам предстояла неблагодарная задача опорочить на суде такие неоспоримые документы, как их собственная деловая переписка с гостями и их приказчиками, как расписки, выданные Никитою в получении денег на „отдельной промысел“, как

собственная их „здѣлашная“ запись Луковникову и т. д. И нужно слышать, с какою развязностью они к этому приступают.

Не опровергая подлинности некоторых из представленных на суд их собственноручных грамоток, они пытаются построить свое оправдание на утверждении, что грамотки эти писаны ими исключительно „по знакомству“, а не по делам общего промысла, на что истцы весьма резонно возражают: „а есть ли хто кому в каком промыслу не товарыщ, и к тому по знакомству ни о каких делах того промыслу и не пишут, а пишут всегда с промыслов друг к другу о таких делах для товарыщства“. Очень хорошо ориентируясь во всех тонкостях юридической практики того времени, они твердо стоят на том, что по Уложению это дело не „ссылочное и не словесное розыскное“, а „крепосное“, и потому неуклонно пытаются отвести все „их исповы многие отбывочные вымышленные многіе непристойные слова“ или всякие попытки проверить их утверждения розыском, и твердо стоят на том, что можно опираться в таком деле только на заключенные крепости, а раз такой крепости, настоящей съемной записи, заключено не было,—очевидно, и факта товарищества на лицо нет.

В своем стремлении реабилитироваться Калмыковы не останавливаются даже перед тем, чтобы отречься от собственного брата. Узнав, что истцами предъявлена на суд расписка, выданная Никитой Воронину в получении от него „в ево пай насадной артѣлной промысл 69 р.“ и понимая, что расписка эта не позволяет усомниться в характере предприятия и может погубить все их дело, Федор и Клим, не задумываясь, заявляют на суде, что „брат их, Никита, с ними, отвѣтчикі, в том промыслу не написан и ему де Миките до того провоза и дѣла нѣт, и он де Микита по той договорной записи так же, что и они, исцы, не устоял и от того промыслу отстал“, а до того промысла, где Никита участвует вместе с Ворониным, им, ответчикам, и дела нет.

Но нигде, может быть, моральная физиономия Калмыковых не выступает так ярко, как в том перехваченном истцами письме Федора к матери и брату, которое написано было по поводу неудавшегося выкупа у вдовы Луковникова данной ими Адрияну записи. Федор сообщает брату, что Воронин присылал в Нижний к Варваре Луковниковой за нужным ему документом: „и Андріяновская жена список с записи дала, а я говорил, чтоб не давала и она не послушала, а Микиткина жена (Никиты Калмыкова, очевидно) ходила и со слезами молила, да не послушали, отдали записи список“, пишет он брату. „Да хотя они и отдали, утешает он себя, только худова в записи не написано ничево“. Но, не доверяя себе, он „под сею грамоткою“ посылает брату „список“ и просит его: „применяся к списку и покажи людям, а мне кажеца, дурного ничево нет“.—„А когда буде запись на

их руку и прилична к іх делу, и не мочно ли порочить?",— цинично добавляет он и тут же измышляет и мотивировку такого опротестования: „потому что такую запись я дал от неволи". „Одно, что покажи людям список сеі с моеі записи, какову я Андреяну запис дал, просит он еще раз брата, худова ничево в неі нѣт и буде что в неі худо, и ты ее пороч, на нее не шлись".

Такая неразборчивость приемов, изворотливость и ловкость оказали свое действие, и мы видим, что Калмыковым удается затянуть процесс на десятки лет. В конечном результате дело все же разрешается всецело в пользу Воронина, но решение это выносится только в 1702 г., когда обоих наших истцов уже не оказывается в живых, и иск разрешается в пользу вдовы Воронина.

Деловые таланты и настойчивость Калмыковых не пропадают даром. Если в 1678 г. мы застаем их в скромной роли монастырских бобылей, то покидаем мы их в конце их карьеры в 1696—7 г. уже в качестве торговых людей гостиной сотни. Соразмерно с этим изменяется и их материальное положение и домашний обиход. Если в 1678 г. все три брата скромно живут на монастырском дворе „с сусѣдом", то в 1695 г. они уже владеют в Нижнем целой усадьбой и лавкой. Наши документы позволяют заглянуть внутрь их двора и дома в 1695 г. Их имущество было описано вместе с имуществом прочих обвиняемых по интендантскому делу 1695 г. Опись эта дает нам некоторые сведения об их домашнем обиходе. В Нижнем у Никиты общий с братом Климом двор, в нем „хоромное строение — горница с комнатою на подклѣтах, против сѣни, в сѣнях чюлан, дару тѣх же хором обходные сѣни, два крылца, на тѣх хоромах чардак, да к обходным сѣням придѣлана баня с передбанем; погреб с напогребницем, да подле конюшня, на них сушило бревенное; погреб под сараем; поварня бревенная. Да в угороде два анбара, да на дворѣ колодезъ. Дворъ в городбе, ворота покрыты тесом, створчатые". К моменту описи хозяева в доме уже постоянно не живут. Несмотря на самое тщательное описание обстановки дома, никаких упоминаний о какой нибудь домашней утвари, меблировке, лошадях в конюшне, как в других домах,—нет. Висят иконы и сложено преимущественно в коробьях и ларцах платье, но б. ч. ветхое и „плаченое" и белье. Кроме этого двора у Никиты „в Нижнем ж Новѣгороде в Кузмодемьянском приходе анбар, а в нем рыба и соль бузун" (соли на 15 п. две четверти). „А в рогозинном ряду лавка евож Микиткина, а в ней сидит из найму Благовѣщ. м-ря крестьянин Кирюшка Иванов, со своим он, Кирюшка, товаром". В Омшенике у Васьки Серебренникова сложено Никиткино „Нижегородцкой покупки железо Олонское—600 пуд.". Если прибавить к тому, что жилой его двор находился еще где то вне Нижнего, по всей вероятности к тому времени в Москве, то можно сказать, что он достиг уже некоторой степени зажиточности.

Это не такое еще прочное благосостояние как, например, у другого соучастника того же интендантского подряда, торгового человека гостиной сотни Федота Городничанина, у которого, судя по описанию, имеющемуся в том же деле, на Балахне на пасаде „двор с садом, на дворе палата каменная о семи жилях, на них чардаки брусяные крыты тесом"; в одной только передней палате кроме „Деісуса" в драгоценном окладе еще иконостас с 17-ью окладными и несколькими неокладными иконами, в той же палате „стол столярной раздвижной кедровой о дву ящиках", целая палата с сундуками, много подворных построек и т. д. Но во всяком случае Калмыковы, несомненно, жили уже не хуже, а может быть и лучше средних посадских людей того времени.

IX.

Каково же в общем итоге значение наших документов? Факт существования в московском торговом мире компанейских предприятий известен в научной литературе давно. И Костомаров в своем очерке торговли [1]) и общеизвестные труды об артелях [2]) и Лаппо Данилевский [3]) и позднейший исследователь истории русской торговли—проф. Довнар Запольский [4]) говорят нам о них. Но самая форма этих предприятий изучена очень мало, и тот же проф. Довнар Запольский, приводя вкратце содержание архивного дела, рисующего жизнь одной такой торговой компании, принужден констатировать, что подобные документы чрезвычайно редки и что особенность организации такого рода предприятий „далеко еще не исследована в нашей науке".

Н. И. Сидоров, изучая типы и строение складных записей, по известным в настоящее время актам, составил в своей статье [5]) полный их инвентарь, и мы видим, что складных на торговлю или промыслы чрезвычайно мало, всего две-три, и что структура промышленных и торговых складничеств с трудом поддается изучению. Подходя к нашему материалу с этим запросом, нужно сказать, что он немного дает нового. Как мы видели, никакого формального договора, окончательной записи, между компанионами заключено не было, и все их отношения покоились в конечном счете на каких то устных соглашениях, нам неизвестных. Таким образом формальное строение компаний из нашего материала нисколько не уясняется. Мало того, вопрос даже как будто до известной степени затемняется тем, что вырисовы-

[1]) Стр. 154—155.
[2]) *Калачев* стр. 6, Исаев стр. 46.
[3]) Торг. пром. комп.
[4]) Торг. и пром. Москвы стр. 25.
[5]) Сб. ст. в честь пр. Лаппо Данилевского, стр. 240 и сл.

вается какая то особая форма складничества—без обязательных паевых взносов, но—в таких смутных и неясных чертах, что перейти из области предположений и гипотез к положительным выводам не удается.

Гораздо существеннее значение наших документов для изучения повседневного быта торгово-промышленной среды. Если формальная, юридическая сторона торговых отношений изучена так мало, то их деловая житейская обстановка остается от нас скрытой совершенно. Если до нас доносятся еще глухие отзвуки какой то борьбы, происходившей в особенно обострявшиеся моменты жизни, то отношения и обстановка „мирного времени" от нас ускользают. И вот в этом отношении наши документы могут иметь некоторый интерес. Они позволяют нам заглянуть в тот тесный мирок дельцов, которые группируются около московского капиталиста и образуют его деловое окружение, а в то же время на конкретных примерах рисуют первые этапы торговой карьеры мелкого дельца, пробивающего себе дорогу в среду крупного капитала, очерчивают его нравственный облик, его имущественное и общественное положение, его деловые приемы. С другой стороны, они вскрывают особенности хозяйственной жизни края, описывают ту обстановку, в которой приходилось жить предприятию, те опасности и затруднения которые ему приходилось претерпевать в Москве и на месте, а также некоторые особенности местной хозяйственной кон'юнктуры, давая понятие об условиях местного денежного, хлебного, соляного рынка, и о положении рабочего вопроса в Нижнем-Новгороде.

Привлекает наш материал еще и своей формой. Живой разговорный язык, красочность и сочность выражений допетровского времени невольно нас подкупают и заставляют подчас забывать бедность и незначительность содержания. Дальнейшее изучение богатейших архивных фондов XVII в., несомненно, вскроет и более яркие и более типические образцы подобных предприятий, рядом с которыми рассказанная история может вовсе утратить свой интерес, и только полная неизведанность этих фондов позволила мне теперь обратить внимание на найденные мною материалы и так много времени посвятить на их пересказ.

Е. Вулих.

Экспедиция на Мадагаскар при Петре Великом.

В предисловии к своему Морскому уставу Петр Великий рассказал нам, как случайное впечатление пробудило в нем охоту к кораблестроению и как старый английский бот сделался родоначальником русского флота. Этот рассказ самому преобразователю, не склонному к пространным изображениям своих душевных переживаний, мог казаться достаточным для об'яснения одной из главных его реформ, однако, мало удовлетворяет стороннего наблюдателя. Последний и при полной готовности признать заслуги „дедушки русского флота", но имея перед глазами размеры явления, все же будет спрашивать себя: откуда могло возникнуть и развиться до таких пределов увлечение Петра морем,—было ли оно просто игрой природы, сделавшей страстным моряком представителя „самого сухопутного в мире государства", или в нем сказалась восприимчивость гениальной натуры к требованиям государственного интереса. К утвердительному ответу в первом смысле склонны были, как известно, современники преобразователя, которым его морские предприятия, под впечатлением горького вкуса корней навигацкой науки, часто казались проявлением самодержавного каприза. Наоборот, историки все больше накапливают оснований, чтобы с уверенностью ответить во втором смысле. Можно считать установленным, что собственные гавани и собственный флот ко времени Петра стали для России исторической необходимостью и что морская политика его в ее соответствии насущным интересам страны находит полное оправдание со стороны целесообразности. Нельзя, однако, сказать, чтобы в настоящее время его замыслы в этой области были выяснены во всем их об'еме и во всей их многообразной связи с условиями его времени. Достаточно обозначившиеся в основных своих линиях, они в некоторых деталях остаются еще как бы отрывочными эпизодами, которые истолковываются, как случаи, иной раз—даже курьезные, чрезмерного увлечения Петра морской стихией, тогда как при более внимательном отношении к ним оказываются яркими штрихами, оттеняющими ту или другую сторону широкого и обдуманного плана. Такое, приблизительно, значение имеет и тот эпизод, который послужит предметом дальнейшего изложения [1]).

[1]) Относящиеся сюда документы см. Архив Морского Мин.; дела, хранящиеся в Адмиралтейств-совете, № 29. Большая часть документов напечатана Туманским: „Собраніе разныхъ записокъ и сочиненій о жизни и дѣяніяхъ государя императора Петра Великого", ч. IX, стр. 209—269.

В декабре 1723 г. вице-адмирал Вильстер, находившийся при эскадре в Ревеле, получил из Походной канцелярии генерал-адмирала Апраксина инструкцию, за собственноручной подписью Петра, согласно которой он должен был отправиться с двумя фрегатами—Амстердам-Галеем и Крон-Деливде—в дальний „вояж". Ни в инструкции, ни в последующей переписке конечный пункт вояжа не назван и обозначен везде описательно—„в назначенное вам место". Обнаруживается он из своеобразного документа, который в составе других, относящихся к тому же делу, помещен на первом месте и носит заглавие: „копия с кредитиву к Королю Мадагаскарскому". Ясно, что предпринимавшаяся экспедиция должна была направиться во владения Мадагаскарского короля, как ясно и то, что письменной инструкции должны были предшествовать личные об'яснения между государем и Вильстером относительно цели вояжа. Все предприятие обставлялось строгой тайной,—„чтобъ сіе все, требовала отъ вице-адмирала инструкция, содержано было въ вашемъ добромъ секретѣ". Отправляемые суда должны были идти „подъ видомъ торговыхъ кораблей" и лишь „когда необходимая нужда возтребуетъ", могли поднять военный флаг, и то—не вице-адмиральский, а только капитанский—„именемъ своего капитана" каждое; вице-адмиралу же „своего по рангу флага" предписывалось на всем пути „отнюдь не употреблять". Равным образом, запрещалось входить, „будучи въ вояже", в гавани, „развѣ, что паче чаяния, какое нещастие постигнетъ"; но и в таком случае следовало выбрать „свободную гавань", где бы нельзя было попасть на сторонний любопытный глаз. Теми же соображениями определялся и маршрут: Вильстер должен был, пройдя Зунд, „править свой курс кругом Шкоции и Ирляндии, а каналом отнюдь не ходить, дабы не дать никому никакого подозрѣния". Ближайшими помощниками вице-адмирала, капитанами названных судов, назначались капитан Мясной и капитан-поручик Киселев,—оба бывавшие в заграничных плаваниях и пользовавшиеся доверием Петра. Однако, в предупреждение неосторожности с их стороны, они должны были узнать о цели экспедиции уже в пути, миновавши Зунд, из данной специально им инструкции. Повидимому, эта инструкция, к сожалению, не сохранившаяся, не была тождественна с той, которую получил вице-адмирал, и содержала в себе особо секретные пункты: в указе Мясному и Киселеву, при котором она сопровождалась, прямо было сказано, что прочесть ее должны были только они двое, а „вице-адмиралу и другимъ офицерамъ отнюдь не объявлять, но содержать въ такомъ крѣпкомъ секретѣ, чтоб... никто про оную не зналъ". Не поручалось ли им наблюдение за самим Вильстером, бывшим шведским адмиралом, незадолго перед тем поступившим на русскую службу? Это было бы применением довольно обычного Петровского приема, и трудно иначе понять, почему те же капитаны, скрывая свою инструкцию, должны были

в известный момент „требовать отъ помянутого вице-адмирала оригинальной его инструкции"—для собственного ознакомления. О посылке экспедиции как будто должна была остаться в неведении даже Адмиралтейств-коллегия: по крайней мере, все распоряжения идут из походной канцелярии генерал-адмирала Апраксина, и привлеченные к участию в ней лица должны были, по его требованию, посылать свои „репорты" непосредственно к нему, а не в коллегию.

Цель экспедиции, в сохранившихся официальных документах, рисуется довольно неясно. Упомянутая выше кредитивная грамота начинается с приветствия: „Божіею милостію Мы Петръ Первый Императоръ и Самодержецъ Всероссійский и прочая, и прочая, и прочая—Высокопочтенному Королю и Владѣтелю славнаго острова Мадагаскарского Наше поздравленіе"! Имелись ли в виду какие-нибудь определенные обстоятельства в качестве повода к поздравлению, или такая формула показалась наиболее пригодной за полной неизвестностью каких бы то ни было обстоятельств,—сказать нельзя. В дальнейшем излагается только просьба к повелителю Мадагаскара „склонно допустить" к своей особе присланных от россійского самодержца вице-адмирала и офицеров, предоставить им „свободное пребываніе" и в том, „что они... предлагать будутъ, полную и совершенную веру дать". Несколько более содержание предложений, которые должны были сделать Вильстер и его спутники, выясняется из адмиральской инструкции. Там, в последнем параграфе, значилось: „ежели объявленный Король по склонности своей пожелаетъ персоною своею ѣхать в Россію с некоторыми кондициями, то вамъ надлежитъ въ Наши порты пристать, ежели зимою, то в Колу, понеже тамо никогда не мерзнетъ, а ежели лѣтомъ, то в Архангелогородскій портъ; и буде безъ него, но только посланные отъ него будутъ, то вамъ возвратиться чрезъ Зунтъ". Очевидно, предполагали установить какие-то постоянные отношения между Россией и Мадагаскаром, и считали возможным, что для выработки условий договора король Мадагаскарский собственной персоной приедет в Россию, не останавливаясь перед перспективой путешествия чуть не через северный полюс во избежание нескромного любопытства Европы.

Больше этого ни о возникновении проекта, ни о задачах экспедиции документы, вышедшие из русских учреждений, не говорят. Но в деле имеются документы иностранного происхождения и документы русские же, но полу-официального характера, которые,—если не прямо, то косвенно,—позволяют сделать дополнительные раз'яснения и в том, и в другом направлении. Это—три инструкции (в русском переводе) шведского короля Фридриха III генерал-адъютанту и капитан-командору Карлу Густаву Ульриху, ассессору Манделю и комиссару Остову, „которые имѣют свой путь къ островамъ Санктъ-Маріи и Мадагаскару", от 16 и 26 августа 1721 г., и две об'яснительные к ним

записки знакомого нам вице-адмирала Вильстера, одна—под заглавием: „Экстрактъ изъ порученныхъ мнѣ писем", другая—„Всеподданнѣйшая обсерваціа и мнѣніе не въ указъ". Каким образом в архиве русского морского министерства оказались шведские официальные документы, при том же секретные, открывается из последней записки Вильстера, где автор предлагает „докупиться копии" еще с одного нужного, по его мнению, документа, который, по его словам, можно таким способом „достать отъ штатнаго секретаря иностранныхъ дѣлъ Фон-Гепкина". Ясно, что и в этом случае Вильстер имел в виду использовать уже испытанный им путь и что под деликатным названием „порученныя письма", „экстракт" из которых представляет собой первая из названных его записок, надо разуметь добытые им ранее через фон-Гепкена же королевские инструкции, скрепленные, кстати сказать, тем же самым ф.-Гепкеном.

Из всех этих документов узнаем, что за несколько лет перед тем, как у Петра Великого возникла мысль послать русские корабли на Мадагаскар, подобная экспедиция готовилась в Швеции. Еще к Карлу XII явился представитель укрывавшихся на Мадагаскаре беглых шведских преступников, некто Морган, с просьбой „о прощеніи и протекціи" и получил от него „конфирмацію", которая затем подтверждена была преемниками Карла—Ульрикой и Фридрихом. Было постановлено предоставить желающим из беглецов право вернуться в Швецию, а оставшимся на островах „быть въ протекціи государства Шведскаго колоніею и для вящшаго обнадеживанія оное мѣсто тамо крѣпостьми укрѣпить". Те и другие, однако, сохраняли связь между собою, административную и экономическую, образуя особый „соціететъ" в составе государства: для общих дел создавалась из их представителей „Африканская контора", а на местах они должны были управляться выборными директорами и своими конторами, независимо от общегосударственных учреждений—коллегий и губернаторов. С другой стороны, за „соціететом" удерживалось преимущественное право „имѣть промыслъ съ Шведскимъ націоналомъ въ Африканской Индіи и въ тамошнихъ мѣстахъ". Сам Морган назначался губернатором Мадагаскара и должен был отправиться на острова, для осуществления плана, с вооруженными кораблями под командой адмирала Ульриха. Дело затянулось на несколько лет и чем кончилось,—неизвестно.

И хронология, и вся обстановка обоих предприятий не оставляют сомнения в том, что одно из них, русское, не было, в своем происхождении, самостоятельным. По всей вероятности, вице-адмирал Вильстер, принятый на русскую службу вскоре после Ништадского мира, и дал Петру мысль об экспедиции, сообщив о планах шведского правительства. Но сначала и сам он, видимо, знаком был с делом очень поверхностно, только понаслышке, что явилось, до известной степени, источником некоторых особенностей русского проекта. Останавливает на себе

внимание, прежде всего, одно курьезное недоразумение, допущенное составителями кредитивной грамоты. Она написана, как мы знаем, на имя Мадагаскарского короля, и по его адресу русский император выражал в ней даже свои чувства, подписавшись „Вашъ пріятель"; а потом обнаружилось, что короля на Мадагаскаре вовсе не бывало. Очевидно, готовя экспедицию, имели весьма смутные представления о тех местах, куда ее посылали, может быть даже,—не имели и никаких, и положились всецело на Вильстера, а тот до знакомства с королевскими инструкциями, попавшими к нему в руки позднее, также не располагал особенно точными познаниями в политической географии, как и сам признавался в своей „всеподданнейшей обсервации": „по всему можно видѣть, читаем там, что на тѣхъ островахъ Короля не имѣется, какъ рѣчь о том неслась, и я лучше о томъ свѣдомъ не былъ, но признаваю быть онымъ мѣстамъ Республикѣ, понеже болѣе нежели однимъ отправляется". Но при свете более точных сведений о положении дел на Мадагаскаре, в Петербурге могли увидеть ошибку не только в адресе кредитивной грамоты; менялись, можно сказать, все условия задачи, и требовался, может быть, пересмотр всего проекта. Это чувствовал и Вильстер; изложивши в „экстракте" извлеченные им из королевских инструкций данные, он настоятельно предупреждает Петра: „и по сему надлежитъ заготавливаться", т.-е. соответствующим образом изменить первоначальный план. Впрочем, новые обстоятельства не были в его глазах достаточным основанием к тому, чтобы русское правительство отказалось от своего намерения. „Ежели, продолжает он свои соображения, Его Императорское Величество изволитъ тамо поселеніе (колонію) завесть. то надлежитъ удобнаго человѣка губернаторомъ избрать, кому бъ было тамо надлежащее управить". Не ясно, однако, предполагалось ли основание русской колонии на Мадагаскаре с самого начала, или такой проект явился у Вильстера и только теперь, под влиянием шведских документов.

Итак, замышляя экспедицию, Петр, выходит, перехватывал случайно подвернувшуюся ему чужую мысль и спешил „произвесть ее, как говорили тогда, в действо", не постаравшись даже наперед уяснить себе условий ее осуществления. Только что победив шведов на севере, он как будто ловит первый повод, чтобы померяться с ними под экватором, на новом для него поприще колониальной политики. В действительности замысел здесь был, по всей видимости, иной, и Петр в своих планах был более независим от случайных конъюнктур, шел дальше наивного соревнования.

Для шведов Мадагаскар был конечной целью предприятия; существенно другое значение он имел для Петра. В тот же день, 5-го декабря 1723 г., которым помечена известная нам инструкция вице-адмиралу Вильстеру относительно Мадагаскара, на имя Вильстера же дана была другая инструкция, согласно которой

его „вояжъ“ должен был стать значительно длиннее: „ѣхать вамъ, начинается она, отъ Санктпетербурга до Рогорвика и тамо сѣсть на фрегатъ Амстердамъ-Галей и другой съ собой взять Декронделивде, и съ помощію Божіею вступить въ вояжъ до Остъ-Индіи, а именно до Бенгаля“. Те же, как видим, лица, те же корабли, очевидно, это—та же самая экспедиция; но ее конечный пункт не Мадагаскар, а Индия. Точно и ясно формулируется далее и цель такого назначения: „Когда съ помощію Божіею въ показанное место въ Остъ-Индіи прибудете, тогда явитесь тамъ Великомочному Моголу и всякими мѣрами старайтесь его склонить, чтобъ съ Россіею позволилъ производить коммерцію и имѣть с нимъ договор, которые товары потребны въ Россіи, также и какіе въ его областяхъ товары въ Россіи надобно суть, и какъ можно трудитесь, чтобъ между обѣихъ сторонъ произвести къ пользѣ благополучную коммерцію“. К общей задаче государственной важности присоединялось еще специальное поручение, в котором мы без труда отгадаем мотив личного характера: „ежели тамо будетъ съ довольствомъ покгауту, то стараться, какъ можно, достать такихъ деревъ, какихъ здѣсь мало находится, а именно, чтобъ в діаметрѣ были отъ 26 и до 30 дюймовъ“. Покгаут—дерево, особенно пригодное для токарных работ: и в данном случае, как во многих других, Петр за государственным делом не забыл своего токарного станка. Теперь мы понимаем, почему инструкция Вильстеру, касавшаяся Мадагаскара, для обозначения конечного пункта экспедиции предпочитает пользоваться неопределенным выражением—„назначенное место“, не называя острова: Мадагаскар был только по пути.

Конечно, если бы намерения Петра сводились, в точном соответствии с шведским проектом, только к установлению протектората над Мадагаскаром, то мы имели бы перед собой скорее психологический курьез, чем государственное предприятие. На деле же Мадагаскар, как мы видим, нужен был Петру не сам по себе, а как удобная промежуточная станция в торговых сношениях между Петербургом и манившей своим богатством весь тогдашний европейский мир Индией. С другой стороны, этот план не явился на свет и случайной вспышкой воображения, вызванной соприкосновением с чужой мыслью: последняя в уме Петра дала такой эффект потому, что сейчас же связалась с рядом его собственных, уже давно занимавших преобразователя, замыслов. Мечта об Индии не теперь только и не из Швеции залетела в Россию.

Можно сказать, что торговый интерес к востоку в Московский период нашей истории возник в связи и развивался параллельно с торговыми отношениями к западу. Англичане первые раскрыли перед русскими людьми еще в 16 в. выгоды торговли с Персией, и представляется довольно вероятным, что англичанин же Дженкинсон, исполнявший попутно с миссией собственного правительства дипломатическое поручение Грозного в Хиве и

Бухаре, явился виновником первоначального знакомства Москвы с среднеазиатскими ханствами. Непосредственные сношения с восточными странами в последующее время становятся тем чаще и тем настойчивее вторгаются в круг задач экономической политики Московского правительства, чем более расширяется спрос на восточные товары со стороны западного рынка. В 17-м веке, особенно во второй его половине, Москва уже вполне ориентируется в обстановке международного обмена и, правильно оценивая свое значение посредницы, стремится сделать своей монополией, прежде всего, наиболее ценный из даров востока—шелк. При Алексее Михайловиче по этим соображениям приступлено было даже к сооружению флота для Каспийского моря с помощью выписанных из Голландии мастеров, и только благодаря Разину начатое с успехом дело терпит крушение. Стараясь прикрепить к своим рынкам Персию, по преимуществу снабжавшую тогда Европу шелком, Москва не прочь распространить свои коммерческие операции и дальше, в пределы средней Азии. Отправляя посольства в Хиву или Бухару по тем или другим поводам, главным образом—по вопросу об освобождении русских полоняников, она обычно ставит им в задачу „довѣдаться“ и „о тамошнихъ товарѣхъ“, „которые были бы годны на Московскую руку“, прежде всего—о шелке, где и сколько его „водится и что какому шелку цена“. Так доходит она и до Индии. Без особого азарта, но и без серьезных затрат, пользуясь больше случаем, за то с несомненным постоянством интереса, производит она разведки о сказочной стране и о путях к ней. Полнее всего виды Москвы в этом направлении сказались, пожалуй, в наказе В. А. Даудову и Касимову, посылавшимися в 1675 г. с дипломатическими поручениями в Бухару. Перед нами—целая, в своем роде, программа для политико-экономического исследования вопроса. Первый ее пункт: какими путями провозятся товары из Индии,—„изъ Бухары и изъ Юргенча на которые мѣста и города, и сухимъ ли путемъ или водянымъ, или горами въ Индѣю путь“; второй пункт: в Москве уже обратили внимание на течение р. Аму-Дарьи, и теперь хотят увериться, не может ли она служить искомой дорогой: „откуль та рѣка Дарья вышла и въ которыхъ пределахъ путь свой имѣетъ и какіе по той рѣкѣ поселены народы и какіе промыслы и ходы и которыхъ государствъ люди по той рѣкѣ имѣют“; наконец, третий пункт касается политических условий: готовясь к сношениям с „восточным индийским шахом“, поручают разведать: „какъ ему имя и титла, и какъ къ нему писать, и съ которыми государствами царство его смежно“. В результате подобных разведок представления московских людей, если не о самой Индии, то о путях, ведущих в нее, должны были до некоторой степени проясниться. Ободряющие сведения собрал, напр., в Балхе посылавшийся туда в 1669 г. подъячий Медведев, сообщивший, что „индійская дорога изъ Балху (идет)

жилыми мѣсты и никакова дурна и грабительства и налоги не бываетъ"; он же описал несколько маршрутов из Балха в Индию. Дальше Медведева заходил Касимов в 1675—8 годах: он был в Кабуле и отчасти уже по личным впечатлениям мог дополнить сообщения своего предшественника.

Решительного результата, однако, не было. Можно ли завести сношения с Индией и какие меры должны быть приняты для этого,—так и не выяснили. Чтобы поставить вопрос на реальную почву, требовалась большая инициатива и большая решительность в преодолении разнообразных затруднений, а Москва с ее тактикой подходящих случаев как раз и не чувствовала в себе ни той, ни другой, и остановилась перед таким препятствием, которое, казалось бы, должно было считаться устраненным с самого начала: упоминавшегося выше Касимова послали было к „индийскому шаху" и вернули с дороги, уже из Кабула, об'яснив новое распоряжение опасением, что „шах в дружбе и любительных ссылках с великим государем быть не захочет, ибо с давнего времени послов к нему от российского государства не было". А потом наступили обстоятельства, при которых об Индии, повидимому, забыли, пока не вспомнил о ней Петр.

Благодаря своей близости к Немецкой слободе, Петр раньше и глубже, чем его предшественники, мог оценить значение торговли и в жизни отдельного государства, и в международных отношениях. В этом своеобразном обществе, составившемся из выходцев различных стран и по профессиям людей—частью военных, частью коммерческих, самый живой отклик находили складывавшиеся в Европе политические комбинации, в силу их тесной связи с национальными и торговыми интересами, в частности—отношения, вытекавшие из конкуренции на восточных рынках. Преобладавшие в составе населения слободы немцы и голландцы, особенно последние, усиленно искавшие удобнейшего пути к сокровищам Китая, Индии и Персии, ревниво следили за успехами шведов в Персии и за планами Людовика XIV по укреплению французского влияния в Китае, занесенного туда иезуитами. Но чем настойчивее становилось среди европейских наций стремление на восток, тем в большей степени приходилось всем считаться с Московским государством, которое как раз лежало на дороге к заветным областям. В этой обстановке личность молодого Московского государя приобретала исключительное значение, и естественно, что иноземцы Слободы, пользуясь его любознательностью и его доступностью, старались осветить перед ним волновавшие всех вопросы,—каждый в духе воззрений и симпатий той партии, к которой принадлежал. В это именно время, под влиянием сообщений своих земляков из Слободы о личности царя, завязывает с ним непосредственные сношения знаменитый Амстердамский бургомистр Витзен. Выдающийся знаток востока, он пишет в 1691 г. Петру письмо, в котором обращает его внимание на торговлю в Китае и Персии, обещая свои советы и поддержку, и получает от него в свою очередь очень благосклонный ответ. В Немецкой же Слободе Петр встречал людей, которые по личному опыту были хорошо знакомы с странами востока, как, напр., датский купец Елизарий Избрант, посылавшийся потом, в 1692 г., от имени царей (Ивана и Петра) в Пекин для установления торговых сношений между Россией и Китаем, или как лекарь Термонт и корабельный мастер Брант, побывавшие и в Персии, и в Индии, а по возвращении в Москву ставшие близко известными Петру. Интерес, внушенный иностранцами, находил поддержку и в традициях русской политики, а отчасти—и в фактах современной Петру русской жизни. По свидетельству А. П. Волынского, Петр „наслышался" от Термонта и Бранта „объ отеческомъ дѣлѣ", т. е. о попытке Алексея Михайловича „дѣлать корабли и навигацию на Каспійскомъ морѣ": оба они участвовали в начавшихся работах и знали историю этого предприятия во всех подробностях. С другой стороны, Петру не осталась неизвестной поездка московского купца Семена Маленького с товарами в Индию, предпринятая в 1695 г. Впоследствии, подготовляя экспедицию Бековича-Черкасского, Петр вспомнил о Маленьком и от одного из оставшихся в живых его спутников потребовал подробного отчета об их путешествии и торговых операциях.

Изложенные, а равно и некоторые другие, наблюдения позволяют думать, что Петр вступал в самостоятельную правительственную деятельность с широким пониманием экономических задач России, указываемых ей ее географическим положением. Реальные условия, в которых проходила эта деятельность, лишали ее выдержанности и систематичности; но всякий раз, как напор расстраивавших ее обстоятельств ослабевал, в действиях его сейчас же начинала сказываться широта и цельность взгляда. По его представлениям, развитие торговли с Западом должно было обеспечиваться столько же усилением собственной производительности России, как и расширением ее постоянных торговых связей на востоке. Вот почему, как только с основанием Петербурга открылась возможность морского сообщения с Европой, Петр немедленно начинает работы по соединению Каспийского моря с Балтийским посредством каналов (Вышневолоцкая система). В то же время случайное обстоятельство—обращение хивинского хана (в 1703 г.) с просьбой о принятии в русское подданство указало ему то направление, в каком можно было бы продолжить коммуникационную линию: среднеазиатские ханства становились для Петра как бы воротами ко всем странам Азии. Отсюда, можно думать,—его стремление упрочить в пределах их территории русское влияние. Под тем предлогом, что в Хиве и Бухаре „ханы бѣдствуютъ отъ подданныхъ", он предлагает им русские отряды, которые в ка-

честве местной гвардии могли бы служить опорой ханской власти, а вместе с тем гарантировали бы самому ему свободу действий в Средней Азии. Еще, может быть, важнее было связать эти области надежной и удобной дорогой с Россией, и Петр настойчиво ищет рек, которые впадали бы с востока в Каспийское море; а на случай неудачи у него есть и другой, грандиозный, проект — восстановить старое русло Аму-Дарьи, которое, по дошедшим до него слухам, вело к Каспийскому морю. В тех же целях производится описание и измерение Каспийского моря, а в обеспечение безопасности будущего торгового движения намечается устройство в нескольких пунктах береговой линии крепостей.

Все это входило в задачу экспедиции кн. А. Бековича-Черкасского, снаряженной в 1715 г. в Хиву и Бухару, а отчасти и следовавшего за нею посольства Флорио Беневини в Бухару в 1718 г. В глазах Петра оба ханства имели ценность и сами по себе: помимо товаров, которые могли быть вывезены оттуда, его в особенности манило песочное золото, будто бы находимое, как ему говорили, в большом количестве по течению Аму-Дарьи. Но главное значение для него этих областей было в том, что за ними виделась ему дорога в Индию и Китай. В наказе Бековичу имелся пункт, который едва ли не следует считать ключем ко всем остальным: „просить у хана хивинскаго судовъ и на нихъ отпустить купчину по Аму-Дарьѣ рѣкѣ въ Индію, наказавъ, чтобы изъѣхалъ ее, пока суда могутъ идти, и потомъ продолжалъ бы путь въ Индію, примѣчая рѣки и озера и описывая водяной и сухой путь, особенно водяной, и возвратиться изъ Индіи тѣмъ же путемъ; если же въ Индіи услышитъ о лучшемъ пути къ Каспійскому морю, то возвратиться тѣмъ путемъ и описать его". С экспедицией Бековича отправлялся ,кроме того, поручик Кожин, которого Бекович потом должен был послать также в Индию под видом „купчины", придав ему в спутники „двухъ человѣкъ добрыхъ людей изъ купечества". Специальный наказ предписывал и Кожину ехать той же дорогой—„Аму-Дарьею рѣкою (или другими, кои въ нее впадаютъ)" и везде „какъ водяным, такъ и сухимъ путемъ все описывая, дѣлать карту", а в то же время „осмотрѣть, какіе товары, а особливо пряныя зелья и прочее, что идетъ изъ Индіи". Кожин вследствие несогласий, возникших у него с Бековичем, отказался от участия в экспедиции, и Бекович получил указ отправить вместо него „надежнаго и тамошніе языки знающаго человѣка чрезъ Турцію въ Индію",—на этот раз, однако, с тем, чтобы возвратился он „черезъ Китай и Бухарію".

Чем свободнее чувствует себя Петр в отношении к западу, тем больше внимания уделяет он востоку. Течение Аму-Дарьи—не единственное направление, в котором он рассчитывает добраться до Индии. Ту же возможность он видит со стороны Персии. В 1715 г. он наказывал отправлявшемуся посланником в Персию Волынскому „провѣдывать, какія гдѣ въ море Каспійское рѣки большія впадаютъ и до которыхъ мѣстъ по тѣмъ рѣкамъ можно ѣхать отъ моря и нѣтъ ли какой рѣки изъ Индии, которая бы вышла въ сіе море". Цель разведки тоже указана: „какимъ способомъ въ тѣхъ краяхъ купечество россійскихъ подданныхъ размножить и нельзя ли чрезъ Персію учинить купечество въ Индію". В случае удачи перед ним рисуется еще более широкая перспектива—сосредоточить в своих руках торговлю шелком со всей Азией, затормозив другой конкурирующий путь—через Смирну и Алеппо, которым часть его шла в Европу: „не мочно ль, читаем в наказе тому же Волынскому, препятствія какова учинить Смирнскому Алеппскому торгомъ, гдѣ и какъ?" Надо думать, что и в начатой в 1722 г. войне с Персией интерес к Индии также играл свою роль.

Водяного пути в Индию ни через Хиву и Бухару, ни через Персию не удавалось найти; а сухопутная торговля с нею представляла бы слишком большие трудности, о которых красноречиво предупреждал, между прочим, трагический исход экспедиции Бековича [1]). Но к тому времени, когда стал выясняться этот печальный результат, в распоряжении преобразователя был уже значительный морской флот, и он чувствовал себя все более уверенным на морских путях. И вот, всегда готовый на новые комбинации, Петр все с той же целью пробует использовать свои морские средства. Ему известно, что еще в 16-м веке англичане искали пути в Индию через Ледовитый океан,—почему бы ему не произвести теперь тот же опыт? И, по сведениям Голикова, Петр в 1720 г. снаряжает в Архангельске экспедицию для следования в этом направлении. Состоялась ли она,—мы не знаем; но самая мысль о ней уже подготовляет нас к тому, как должна была занять Петра аналогичная попытка, на которую вызывали его сообщения Вильстера. При том же новая мысль приходила как раз вовремя: только что окончилась персидская война, не давши тех результатов, в расчете на которые она предпринималась.

Не удалась, однако, и экспедиция на Мадагаскар. Назначенные в нее корабли едва вышли в море, как в одном из них обнаружилась течь, а по исследовании и оба оказались непригодными к столь дальнему плаванию. Из последовавшей затем переписки между разными морскими чинами и ген.-адмиралом Апраксиным мы знаем, как отнесся к этому Петр. По выражению Апраксина, он принял „нещастие с немалою болѣзнию", но не хочет отказываться от начатого дела и требует, чтобы корабли были „съ величайшимъ поспѣшеніемъ" исправлены или, в случае полной негодности, заменены другими. По тону писем Апраксина видно, что Петр придавал экспедиции важное значение и что глава морского ведомства был в большой тре-

[1]) Отряд Бековича, около 2 тысяч человек, был истреблен хивинцами.

воге по поводу его неудовольствия. „Для Бога, неусыпно и всѣми силами, пишет генерал-адмирал шаутбенахту Гофту, сію бѣду съ рукъ своихъ не продолжая времени сведите, понеже ни что такъ нужно, как скорое ихъ (кораблей) отправление; а ежели (отъ чего Боже сохрани) вашею неповоротливостью отъ вояжу своего они остановятся, то можете понести не малое бѣдство". И все же экспедиция не состоялась. Причина, по которой отказались от нее, документами не выясняется, и можно только догадываться, что она заключалась в полученных вице-адмиралом Вильстером более точных сведениях об условиях, какие русская экспедиция нашла бы на Мадагаскаре.

Уже после смерти Петра А. П. Волынский писал по поводу персидского похода 1722 г. „По замысламъ его величества не до одной Персіи было ему дѣло. Ибо, еслибъ посчастливилось намъ въ Персіи и продолжилъ бы Всевышній животъ его, конечно бы покусился достигнуть до Индіи, а имѣлъ въ себѣ намѣреніе и до Китайского государства, что я сподобился отъ его Императорского величества... самъ слышать". Мы теперь отнесемся к планам преобразователя более скептически, чем его современник, и, имея в виду условия того времени, назовем, пожалуй, их неосуществимой мечтой; за то реальным фактом остается для нас широта, с какой сказалось в них понимание интересов России, и та энергия, какая затрачивалась на их достижение.

А. Заозерский.

Из истории законодательной мысли XVIII века.

Наказ главной полиции в уложенной комиссии 1767 г.

Наказы, данные государственными учреждениями их представителям в большой комиссии 1767 г. мало привлекали внимание исследователей. Это понятно, если ближе вглядеться в их скудное и однообразное содержание.

Отголоски сословно общественных мотивов, пожелания в области вопросов местного строя, ближе всего подходящих к ведомству данного учреждения, бледные эскизы отдельных черт будущего учреждения о губерниях—вот все, что мы обычно находим в наказах высших учреждений. Особо стоит только наказ депутату от главной полиции. Наказ депутату от главной полиции принадлежит несомненно к числу наиболее разработанных и наиболее богатых содержанием из всех наказов, составленных в 1767 г. Вместе с тем он принадлежит к числу сравнительно немногих наказов, которые имеют определенную и даже яркую учено-литературную физиономию. Его содержание—не простое перечисление нужд, вытекающих из практики жизни; это обширный трактат, в каждой строке которого чувствуется сильное влияние тех самых немецких полицеистов, Билефельда и Юсти, которые служили источником вдохновения самой Екатерины при составлении некоторых мест большого наказа. Очень часто наказ дает примеры и прямого заимствования из трактатов немецких государствоведов. Основные мысли наказа сказываются особенно ярко в применении к распорядку жизни городов и к ее регламентации. На местных учреждениях XVIII века очень долго и в значительной мере лежали обязанности, обычно возлагаемые на полицию, и быть может, самая разработка идеи „благочиния", полиции в широком смысле, ярко сказавшаяся в наказе главной полиции и в дополнительной, XXI, главе Большого Наказа, была следствием того, что о благочинии слишком мало говорилось в хартии после Петровских областных учреждений—наказе 1728 г. и слишком мало заботились о нем в течение всего 40-летнего периода, истекшего со времени издания наказа губернаторам и воеводам. „Благочиние" или вернее отсутствие его было слишком тесно связано с местными учреждениями; вот почему представляет некоторый интерес остановиться на формулировке идеалов благочиния, сделанной как раз в тот момент, когда мысль о полицейской реформе и о правильной реформе всего полицейского дела начала отделяться от мысли об общей реформе областных учреждений. В 1767 году

их можно еще об'единять; в дальнейшем дело областного управления и дело полиции идут каждое своей дорогой и приводят—первое к „Учреждению" о губерниях, второе—к последовавшему за ним и частью его дополнившему „Уставу благочиния" 8 апреля 1782 г. [1]). Во всяком случае ко времени комиссии 1767 мысль об усовершенствовании областного управления осложнилась мыслью об устройстве полиции и точном определении ее задач.

Наказ главной полиции проникнут мыслью о высоком назначении полиции и высоком месте, которое она должна занимать в системе государственных учреждений, а формулировка этой мысли проникнута типичной для рационализма XVIII века рассудочной, сухой и в то же время отвлеченной идеологией. „Нужно вверять полицию достойно почитаемым особам". „Чин" начальника полиции „весьма благоразумно вверять особам не только знатного достоинства, но и больших фамилий". Сам он должен быть „человеколюбивым, в одно время снисходительным и строгим"; его помощники должны быть назначаемы „из людей честных, особливых к тому способностей, исполненных ревности, чуждых всякого корыстолюбия и удаленных от всякого памятозлобия и зависти" [2]).

Низший персонал, подобно высшему, должен быть безукоризненным. Если этого нет, то нужно создать видимость такого состояния: „пороки полицейских служителей должны сокрыты быть, дабы публика доверенности к оным не лишилась, чего ради и проповедники да не дерзают в проповедях своих

[1]) П. С. З., XXII, № 15379.

[2]) Сб. Р. И. О. XLIII, 296—362, § 3, 4, 5, 12—16, сравн. должность Directeur ou Lieutenant Général de la Police по Билефельду. „Cette charge est d'une si grande conséquence pour l'Etat et demande tant d'autorité qu'il serait convenable de ne la confier qu'à un ministre ou à quelque autre personne fort considérable... La prudence politique veut qu'on attache (a cet emploi) des appointements considérables, qui condamnent le chef de la police et qui justifient le souverain au cas que celui ci se voie obligé de le punir séverement pour sa rapacité exercée contre les citoyens. Il faut aussi que cela soit un homme de loi qui possède toutes les qualités que nous avons requises dans un bon juge" (Institutions politiques Leyde 1767, éd. revue et corrigée, I, chap. VII, § 3). Несколько иначе определяется должность Polizeiobervor steher у Зонненфельса, другого современного немецкого теоретика полицейского государства. (Ioseph v. Sonnenfels, Grundsätze der Polizey, Handlung und Finanzwissenschaft, первое издание, Вена 1765 г.). Однако, ближе всего к редакции наказа главной полиции—выражения трактата третьего немецкого полицеиста Юсти. „Ein General-Policeymeister oder Präsident der Policey in einer grossen Hauptstadt muss ein Mann von vortrefflichen Eigenschafren seyn.. sodann muss er ein Mann von einer grossen Thätigkeit und Munterkeit seyn fertig von Einsicht und Entschliessungen, der niemals in seinen Geschäften nachlässig ist und dasjenige was heute geschehen kann auf morgen aufschiebet... Vor allen Dingen aber muss er ein Mann seyn der von einer wahren Gerechtigkeitsliebe erfüllet und von allen Nebenansichten, Privat-Interesse und Bereicherungs-Begierde befreyet ist." (Ioh. Heinrich Gottlob von Justi, die Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit des Staaten, oder ausführliche Vorstellung der gesammten Policeywissenschaft. Königsberg und Leipzig, 1760—1761, II, § 583). Русский перевод Богаевского издан был Академией Наук в 4 частях в 1772—1778 гг.

что либо к осуждению полиции или ее служителей разглашать, а должны, приметя от той вредное, с начальником полиции об'ясниться или уведомить его" [1]). Так намечается неожиданный, но трогательный союз между довереннейшими служителями государства и служителями церкви, которых наказ, следуя своим немецким оригиналам, продолжает называть проповедниками.

Понятно, что таким людям и такому учреждению даются громадные права и полномочия. Одним из таких полномочий является надзор за правильным применением уголовных законов судебными местами, причем начальнику полиции дается право опротестовывать перед сенатом [2]) неправильные и слишком мягкие приговоры суда.

Общие права и обязанности полиции поражают своей широтой. Полиция всемогуща и деятельность ее всеоб'емлюща: она следит за исполнением приговоров, „благоутверждением полиции вкореняется в сердца граждан образ Божий" вследствие чего полиция должна „и в храмы Божии иметь доступ, надзирать за входящими на молитву жителями, дабы оные подобающую благопристойность сохраняли, будучи на молитве" [3]). Полиция обличает лжецов, лжесвидетелей и клятвопреступников, она „не терпит пасквилей", наказывает за непочтение к родителям, преследует гадателей „прорекателей" и порочных священников; следит, чтобы в праздники все было закрыто и чтоб господа разрешали своим людям ходить в церковь; определяет точное число трактиров в городе и, наконец, здесь наказ доходит до пределов, „полиция как приличествует отцу, другу, промыслителю и питателю вдов и сирот и болезньми одержимых, должна к призрению всем потребным иметь особливую силу" [4]). Полиция обязана подвергать строжайшей регламентации каждый шаг обывателя, каждый момент его повседневной жизни—

[1]) Сб. Р. И. О. XLIII, 296—362, §§ 17—22. „Plus les commissaires seront habiles, intégres, prudents, desinteressés et mieux la police sera administrée". (Bielefeld, Institutions politiques, I, ch. VII, § 4). „Alles dieses (geringere Policey-Bedienten) sollen muntere und wachsame Leute seyn, die unaufhöhrlich auf alle Entgegenhandlungen wider der Policey-Gesetze Obacht haben". (Justi, Grundfeste, II, § 587).

[2]) Сб. Р. И. О. XLIII, 296—362, § 5.

[3]) Сб. Р. И. О. XLIII, 296—362, §§ 31, 34, 35. „Le bon ordre et la sûreté de la conscience veulent que dans toute la chrétienneté les dimanches et les jours de fêtes soient consacrés au culte divin. La police est attentive que les règlements de l'eglise et du souverain à cet égard soient religieusement observés: elle prête son bras a l'église qui parle, qui prêche contre les scandales mais qui ne saurait les réprimer sans le concours de la police". (Bielefeld, Institutions politiques, I, ch. VII, § 25). „Der äusserliche Gottesdienst selbst muss mit Anständigkeit ausgeübet und daher mit Ceremonien und Ordnungen versehen sein und dabey Aufsicht und Zücht unterhalten werden (Justi, Grundfeste, II, §).

[4]) Сб. Р. И. О, XLIII, 296—362, §§ 39—47, 49, 65. „Pasquille gegen den Staat oder das Ministerium können unter gewissen Umständen die strengste Ahnung verdienen" (Sonnenfels, Grundsätze der Policey, I, § 66). Сравн. у Билефельда, I, ch. VII, § 22: „astrologues, magiciens, sorciers etc", § 23 „intendance sur les auberges, cafés etc".

его выезды, одежду, право устраивать пиршества и звать гостей; так, например, лица ниже VI класса не могут звать на свадьбу более 24 человек. Она следит за всеми зрелищами, устанавливает правила езды по улицам, правила держания в городе скота и собак, регламентирует время и продолжительность церковного благовеста в Петербурге и Москве, следит, чтобы не курили на улицах, так как это опасно в пожарном отношении [1]). Я ограничиваюсь приведенными примерами, рисующими власть и права полиции по наказу депутату ее, наказу, который было бы правильнее называть проектом полицейского устава. Проект в полной мере пытается перенести на русскую почву мечты немецких государствоведов об истинном полицейском государстве и их идеалы человеческого общежития, не стесняясь их приложимостью и наивно полагая, что стране с традиционно неограниченной властью немецкий Polizeistaat легко привьется на почве старо московской царской вотчины и на более новой закваске петровской монархии. Творцам его нет нужды, что они переходят все возможные пределы, создавая из полиции государство в государстве, а из ее начальника что то вроде великого визиря, готового упразднить и заменить собою власть государя; они не замечают, что в городских поселениях они уничтожают всякую власть, кроме полицейской, и что воскрешая Кальвиновское постановление о нормировке числа гостиниц и трактиров в городе, они переступают границы смешного. Не детали проекта полицейских учреждений важны для нас, а самый факт их появления, который свидетельствует, во-первых, о том, что назрела мысль о правильном и повсеместном устройстве полиции в государстве, дела, которое общими областными учреждениями того времени оставлялось почти вовсе без внимания, и во-вторых, что наряду с ростом сословных вожделений, в частности политических аппетитов дворянства, не умирало представление об империи, как о государстве чисто бюрократическом и притом властном и всеобъемлющем.

Что авторы наказа, личность которых определить трудно, не были оригинальными мыслителями, а находили воплощение своих идей в готовых оригиналах немецких писателей, достаточно, как мне кажется, ясно свидетельствуют приводимые для сравнения цитаты из трактатов Билефельда, Юсти и Зонненфельса.

Проф. Ю. В. Готье.

[1]) Сб. Р. И. О. XLIII, 296—362, §§ 87—112, 114, 115, 220—230, 360—364, 377. Об отношении полиции к зрелищам, см. Sonnenfels, Grundsätze, I, §§ 107—112.

Николай I и Фридрих-Вильгельм IV
1840—1848 *).

Настоящий этюд вовсе не ставит себе целью дать исчерпывающую обработку вопроса. Он опирается для 1840—1847 годов только на переписку Николая I с Фридрихом Вильгельмом IV, и только на часть ее. Эта корреспонденция разбита между тремя хранилищами: бывшей Собственной Библиотекой Зимнего Дворца, бывшим петербургским Архивом Министерства Иностранных Дел и Шарлоттенбургским архивом. Мне была доступна лишь Собственная Библиотека Зимнего Дворца. Письма петербургского Архива частью использованы Мартенсом в VIII томе его Собрания. Два важных письма Шарлоттенбургского архива напечатаны Шиманом в Festschrift Schmoller.—Для 1848 года я привлек некоторые документы бывшего Государственного архива и попавшие в Собственную Библиотеку донесения Бенкендорфа. — К моему глубокому сожалению я не мог воспользоваться IV томом Шимановского Николая, экземпляр которого имеется в библиотеке Румянцовского музея. Это очень большой пробел в моем этюде, но от'езд в заграничную командировку не позволяет мне переработать свое изложение на основании Шимановского материала.

I.

Время Николая I—время наибольшей близости Романовых к Гогенцоллернам. Она отнюдь не была любовью и уважением. Но даже не любя и презирая, оставались близки друг другу. Позади этой близости стояла, конечно, солидарность правительств в борьбе с польскою самостийностью и с европейскою, особливо французскою революционностью, общий страх перед Парижем и Варшавою, перед своими и чужими либералистами и коммунистами подполья и надполья. Но чрезвычайно важны были и личные, семейственные узы. Главною скрепою была Шарлотта, Александра Федоровна. Муж напрасно величал ее в тридцатых годах русскою бабою. Она всю жезнь, в хорошем и дурном, оставалась доброю немкою, нежно любила отца и братьев и была нежно ими любима. Очень важна была почтительная преданность Николая тестю. Очень важна была давняя, восходящая к сватовству 1815 года, тесная дружба Николая с шурьями, преимущественно с двумя старшими, Фрицем и Вильгельмом.

*) Статья была уже набрана, когда получилось известие о кончине ее автора, профессора Московского Университета Александра Николаевича Савина. Русская историческая наука тяжело почувствует эту утрату. *Ред.*

Вильгельм был значительно мельче, серее, ординарнее Николая, но по складу души во многом и существенном напоминал его. Фриц по своей одаренности скорее превосходил Николая. Но трудно указать двух крупных современников-сотрудников, так мало похожих друг на друга. Николай способен к сильному чувству, не прочь порассуждать, до смерти любит повитийствовать; но это прежде всего натура действенная, волевая, импульсивная, торопливая и непоседливая; он почти весь вовне, снаружи. Фрицу по горькой необходимости довелось принимать решения быстрые, роковые и трагические; но он не любил, даже боялся действовать; зато чувствовал глубоко, сложно, спутанно и трудно выразимо; он почти весь внутри, несмотря на то что много и хорошо говорит и пишет.

Николай твердо убежден в простоте всего сущего: во вселенной для него нет загадок. Он осязает ее остов и грубо, по плотницки, но стройно и стильно созидает для себя и чужие души. Николай знает, чего хочет; знает и дорогу к своим целям; все легко обозримо на его жизненном пути, в его окружении. Фриц кажется вечно колеблющимся, шатающимся. Правда, ярлык Ordre Contre-ordre Désordre налеплен на его лоб едва ли удачно. Нельзя сказать, чтобы Фриц не знал, чего хочет. Он знает, или по крайней мере чувствует в своих тайниках. Но он хочет зараз многого и, главное, слишком трудного, почти или вовсе недостижимого. Он колеблется в том, что поставить на первую очередь, в выборе ближайшей цели и особенно в выборе путей к ней. Оттого, несмотря на свою сердечность, искренность, задушевность, Фриц мог одновременно ладить, даже сближаться с людьми, очень друг от друга далекими, с Раухом и Радовицем, с Бисмарком и Бунзеном, мог быть неровен и казаться фальшив, мог казаться дипломатом или даже актером, только театра психологического, с психологией сложной, запутанной, переливчатой, в которой часто трудно дойти до дна. Если допустить, что Фриц временами играл роль, он переживал ее нервно и тяжело. Николай—превосходный, первоклассный лицедей, великолепно носящий нужную личину, влюбленный в высокие подмостки, придающий огромное значение театральной стихии королевского ремесла. Но он обычно помнит разницу между игрою и жизнью и, если даже живет в своих пьесах, то выбирает себе роли четкие, чеканные, сильные, несложные, выигрышные перед публикой большой и не очень взыскательной. Фриц—артист изящной, интимной, камерной сцены; отсюда и большое место камарильи в его жизни и царствовании. Николай самоуверенный, прославленный и слегка вульгарный гастролер, герой плацпарада военного, штатского и церковного, но также и высокомилостивой, доверительной аудиенции с глазу на глаз, всегда снисходящий, всегда желающий быть головою выше своих партнеров. Фриц, неисправимый, нераскаянный медиевист, хочет быть только первым между равными; как актер'

он кажется много скромнее Николая. Но он опаснее: Николай только поражает, ослепляет, Фриц трогает и привязывает нитями крепкими, разорвав которые больно поранишь себя самого.

Оба, и Фриц и Николай, были очень красноречивы и, что встречается нечасто, не только прекрасно говорили, но и хорошо писали. Однако совершенно по разному. У Николая все сильно, веско, ясно, временами выспренне, банально или грубо, с резкими контурами, с резкими контрастами немногих красок, почти без нюансов, почти плакатно. Палитра Фрица богата тонами и переливами, но в непрерывной светотени очертания расплываются и цвета подернуты вечною дымкою. Николай всегда определенен, выразителен, понятен, слишком понятен и, несмотря на несвободу от графомании, немногословен, при удаче лапидарен. Фриц часто темен и, сознавая это, пространно, слишком пространно и не всегда успешно, пытается раз'яснять смысл своих многозначных слов. Зато он очень превосходит Николая своим юмором, теплым, текущим легко и свободно. Николаю, прямолинейному и торжественному, стихия юмора была почти совсем чужда.

Фриц очень превосходил Николая и своим образованием, своею общею культурностью. По своим интимно-интеллектуальным потребностям Николай до конца своих дней оставался в сущности военным, неспособным и нежелающим вытравить из себя аромат кордегардии, всего свободнее дышал на ученьи и на смотру, был несравненным фронтовиком. Глубокоштатский Фриц сочувствовал высшим умственным порывам своего времени, находил живой интерес в беседах с Гумбольдтом и Ранке. Но здесь необходима оговорка. Фриц не любил точного, лабораторного, цифрового и технического знания. Николай тяготел к практическому, с охотою проверял выкладки своего министра финансов, имел военно-инженерные сведения.

Вот почему ни тому ни другому нельзя дать упрощенной клички—реакционер, консерватор, прогрессист. Если угодно, Фриц—реакционер, и упорный. Его тянет к далекому прошлому, к сильно идеализованной Европе XII и XIII века, к Бернарду и Иннокентию, к Барбароссе и Львиному Сердцу, к цехам и патрициату, к турнирам и миннезангу, к нестротканной и свободной одушевленности и органичности Христианского Тела. Но в то же время Фриц чуток к публичному мнению своих дней, к общественной жажде политической свободы и национального об'единения. Архаизующая преданность Габсбургам во имя давно похороненных другими идеалов священной Римской империи как-то уживается с готовностью стать вождем своекорыстного и хищного, но практичного и энергичного малонемечества. Глубоко принципиальный враг учредительных клочков бумаги, он не отрекся от престола, когда был вынужден согласиться на конституцию, близкую к бельгийской. Николай, конечно, хотел, если не осадить Россию назад к порядкам, еще более архаич-

ным, чем строй Александра I или Екатерины II, то заморозить ее в унаследованных формах грубого самодержавия. Но ведь того же Николая выдающийся историк наших дней назвал самым буржуазным из Романовых. Пусть это—преувеличение; пусть даже наивысшая точка Николаевской буржуазности подымается не очень высоко над уровнем русского до-буржуазного моря. Все-таки поучительно желание Николая, чтобы в его России процветала промышленность, трещали самопрялки и пыхтели паровозы, чтобы самоуправление привилегированных сословий смирилось перед просвещенным полновластием благопопечительной бюрократии.

Николай считал Фрица сумосбродным и вредным мечтателем, а себя рыцарем почвенного реализма, борцом за единственно здоровые политические и социальные устои. Фриц действительно кончил долгим и неизлечимым душевным недугом. Николай помер в здравом уме и твердой памяти. Но разве двумя последними годами славного царствования николаевская фантастика была разоблечена с меньшею ясностью и беспощадностью, нежели фрицевская тою болезнью, которая подкралась в несчастному последнему романтику на кесарском престоле? Фантастами были они оба, как впрочем почти все значительные по своим личным свойствам самодержцы, наследственные и самодельные, коронованные и некоронованные, которым, в обстановке условности, лести, лжи, официального и официозного трафарета, необычайно трудно не то что провидеть грядущее, а просто сколько-нибудь правильно разглядеть и расценить свое непосредственное окружение. Пожалуй Николай, вопреки всей своей трезвенности и классичности, был даже в большей мере фантаст, ибо обладал гораздо большею полнотою власти и мог гораздо дольше дозволить себе роскошь беспрепятственных походов по своей призрачной вселенной. Ему дальше было до снятия масок и мундиров, до встречи с нагою подлинностью жизни.

Долгое время Николаю и даже другим казалось, что он прав, а другие заблуждаются. Россия как будто крепла при нем внутри и прибавлялась в своем международном весе. Николаю удалось справиться с декабристами, персами, турками, поляками, униатами, удержать революцию 1848 года на зачарованной границе Русской империи, даже задавить венгерское восстание. В 1849 г. он высился непоколебленным и, казалось, непоколебимым правофланговым европейского политического фронта и уверовал в свою политическую прозорливость. Презираемый им Louis'ий пал. Пала и французская республика, менее презренная, но все же презренная. В классической стране смут и крамол после 2 декабря водворился пусть бонапартовский, но все же порядок. В Германии одолела реакция. Хотя и не везде полная. Николай не на шутку возомнил себя всеевропейским политическим наставником и вождем. Его презрение к Фридриху

Вильгельму IV, начавшееся с первых же дней фрицевского царствования, достигло своей высшей точки в мартовские дни 1848 г. и держалось на ней кажется до самого начала крымской войны [1]).

Некоторыми сторонами своей многоликой души Фриц был тоже очень невысокого мнения о русском варварстве и николаевском „бонапартизме". Но другими своими гранями—вероятно в связи с общею женственностью своего уклада—Фриц склонялся перед сильною, геройскою мужественностью Николая и, как тогда казалось, николаевской России. Тем круче и стремительнее было конечное крымское падение, навсегда низведшее Россию с ее мнимых екатерино-александро-николаевских высот. В свой страшный день судный оба, и Николай и Фриц, оказались легкими на неподкупных весах истории, но у петергофского трезвенника и здоровяка чашка взлетела еще выше, чем у потсдамского безумца.

II.

Фридрих-Вильгельм III явно дряхлел в свои последние годы, и взоры русских наблюдателей естественно обращались к светилу восходящему. Близкая смена лиц на престоле не возбуждала тревог, наоборот, подавала немалые надежды. Русский посол в Берлине, Мейендорф, жаловался в октябре 1839 г. на тамошний старческий маразм, на безволие. „Машина продолжает работать, но чисто автоматически". В декабре он пробует предсказать, каким будет правительство Фридриха-Вильгельма IV и приходит к весьма утешительным для николаевской России выводам. Теперешняя государственная система не продержится в следующее царствование. Нужны новые люди. К кронпринцу близки Бунзен, Герлах, Гребен, Радовиц, Рохов. Новое правительство будут обвинять в ретроградности, но неосновательно: всякая попытка ввести конституцию ввергнет страну в анархию. В этом убеждены все мудрые патриоты. Но в то же время они хотят, чтобы Пруссия, невзирая ни на какие препоны—имеется в виду Австрия—смело стала во главе протестантской Германии, твердо охраняла и всеевропейский мир и независимость второстепенных немецких государств. Забывая о французской опасности, Пруссия несколько отошла от России. Но она исправит свою ошибку: влияние императора Николая на нового короля будет огромное и в важнейшие моменты решающее [2]).

Старый король скончался 6 июня 1840, окруженный прусской и русской роднею. От смертного одра Николай писал своему Нессельроде. Он вполне спокоен за будущее. „Новый

[1]) 2/14 октября 1848 г. Николай писал Паскевичу: „Нельзя без омерзения следить за происходящим в Берлине! Подлость, трусость и глупость имеют своего постоянного представителя в лице короля, к которому презрение, и заслуженное, не знает уже меры" (Щербатов, VI, 258).

[2]) Schiemann. III 413, Мартенс VIII 240—241.

король, семья, армия и повидимому вся публика полны наилучших настроений. Порядок образцовый. Мы обменялись с Фрицем немногими словами да рукопажатием. Но этого вполне достаточно. Все будет попрежнему. Между двумя братьями, дружбе коих минула четверть века, прибавилась лишь новая связь, новая священная память“ [1]). На русско-прусском небе ни облачка.

Первый заграничный визит Фридриха-Вильгельма IV есть визит Николаю, в Варшаву, в сентябре 1840. Возвращаясь домой, гость пылко благодарит гостеприимного хозяина. „Дорогой и нежно любимый Никс, переезжая Вашу (письмо—французское) границу, я оборачиваюсь, сжимаю Вас в своих об'ятиях и ото всей души благодарю за прекрасные моменты, которыми я Вам обязан, за уютные беседы на балконе, великолепный смотр, очаровательный вечер в Лазенках. Да доставит Вас Бог живым и здоровым в об'ятия моей сестры и Ваших прелестных детей (divine marmaille de toute taille в письме 11 дек. 1840). Дорогой Никс, не забывайте, что у Вас нет на свете друга вернее верного командира Вашего авангарда (в случае войны с Тьером), Вашего старого Фрица“ [2]).

Разочарование в новом монархе начинается очень скоро, в первый же год правления. Любопытно сравнить декабрьские отзывы Мейендорфа в 1840 году с таковыми же предыдущего года. Они еще не враждебны, но они много прохладнее. О новом короле говорили в Берлине, что он не любит армии и дворянства. Оказалось, что он любит армию и дворянство. Говорили, что он хочет дать конституцию. И вначале действительно можно было думать, что король сочувствует либералам. Монархическая партия одно время тревожилась. Но к счастью король окружен верными людьми. Для полного торжества здравых начал полезна была бы национальная и славная война, т. е. война с французами; но она может быть лишь оборонительной, а французы теперь осторожны [3]).

А первые предвестники серьезной политической размолвки обозначились в первые же недели царствования. Король имел пристрастие к средневековому церемониалу и хотел, чтобы чины, в том числе и польские, присягали ему в старинных костюмах. На всякий случай, чтобы не раздразнить Петербурга, он предупреждает Николая о возможности появления жупанов в Кенигсберге, оправдывает себя прецедентами отцовского царствования и торопится прибавить, что в серьезных вопросах, напр., в деле арх. Дунина-Борковского, он будет строг к полякам. Шутливо он радуется выгодности своего положения в Познани между немецкими провинциями и „Вашей дорогой замордованной Польшей“: ни к чему себя не обязывая, он может говорить одновременно в очень любезном и в очень суровом тоне [1]). Все эти меры предосторожности не помогли. В Петербурге и в Варшавском Замке почуяли полонофильскую и руссофобскую интригу и упорствовали в своих подозрениях вплоть до революции 1848 года, когда все тайное стало явным. Самое резкое, вернее одно из двух резких мест в известных мне письмах Фрица Николаю, посвящено как раз нелепым петербургским толкам о полонофильстве прусского правительства. „На днях я видел два сообщения из Петербурга, которые причинили мне боль. Я говорю Вам о них, дорогой Никс, с полною откровенностью, как старый и верный друг. Одно известие обвиняет графа Арнима в потачке польским революционерам в Познани. Другое из „достоверного источника“, сообщает, что недавно публично открыли памятник Немцевичу в городе Позене. Это уж слишком (ça par exemple c'est trop fort). Боже мой, из какого мутного источника черпаете Вы в Петербурге свои новости! Будь мы весною, я принял бы это за первоапрельскую шутку. Арним не насилует польского общества в Позене. Он и его жена принимают у себя с гораздо большим радушием и достоинством, чем его достойный и превосходный предшественник Флотвель. Но это не мешает ему подражать прекрасному примеру кн. Варшаво-эриванского. Что касается бюста Немцевича, возможно, что какая-нибудь Madame Dabrowska ou Grabowska ou Raczinska выписала себе из Парижа что-нибудь из гипса или мрамора и пригласила поклонников поэта на чашку чаю или рюмку вудки перед высокочтимым образом. Но если это было, это проделывалось с такою таинственностью, что об этом ничего не слыхала наша ревнивая полиция. Если „источник“ Нессельроде не хватил вудки в обществе этих дам и кавалеров, то он хватил ее где-нибудь в другом месте; надо быть либо пьяным, либо полоумным, чтобы выдумывать подобные вещи“ [2]).

III.

В 1841 был пройден второй переход Фрице-Николаевской размолвки. Он заполнен завещанием Фридриха-Вильгельма III и провинциальными ландтагами. По мнению Николая, Фриц вкусил от древа конституции вопреки прямому запрету отцовского завещания, составленного при близком участии Николая. Фриц упорно отрицал свою вину. Никакого грехопадения не произошло, а так называемое завещание не имеет ни той силы, ни того смысла, которые ему приписываются в Петербурге.

[1]) Schiemann. III 415.
[2]) Бывшая Собственная Библиотека (дальше цитируется С. Б.).
[3]) Мартенс. VIII 270.

[1]) С. Б. 7 июля 1840. В письме 7 августа 1840 (ib), считаясь с опасениями Николая, король урезывает свои мундирные уступки полякам.
[2]) С. Б письмо от 2 янв. 1842. Особым усердием по обличению подлинного и мнимого прусского полонофильства отличался князь Варшаво-эриванский.—Другое резкое письмо в отповеди Николаю по поводу Шена в письме от 1 июня 1841.

Посылая Вильгельма своим представителем на свадьбу цесаревича, Фриц снабжает его длинным письмом, в конце которого, предвидя петербургские обвинения, защищает созыв ландтагов. „Ландтаги кончили либо кончают свою работу. Я ужасно доволен ими. Дух всюду был прекрасный. И словами и делами все доказали свою старинную и благородную преданность. А между тем благонамеренным и чистым всюду мерещится конституция, конспирация, революция. Я знаю этих честных трусов вот уже 25 лет: они неисправимы. Стоит мне чихнуть, как они вопят караул из страха, как бы из моей ноздри не выскочила конституция. Хорошо же они меня знают! Чтобы я на место естественных отношений между государем и страною поставил парламентскую комедию! Нет, дорогой Никс! Рассмейтесь в лицо тому, кто говорит или пишет так про меня“ [1]).

Николай нисколько не был успокоен этими заверениями. В ответном письме от 27 апреля старого стиля он настоятельно присоветовал Фрицу обнародовать отцовское завещание, чтобы поставить предел лжетолкованию королевских намерений [2]).

Фриц пытается раз'яснить запутанное недоразумение в длинном и важном письме от 1 июня 1841. Очевидно в ответ на запальчивую критику свояка, он соглашается, что не все было благополучно с ландтагами, что в Познани и Вестфалии ландтаги не оправдали ожиданий. Но он с необычной для себя решительностью и силою берет под свою защиту чины В. Пруссии. „Дорогой и превосходнейший Николай, я совершенно не разделяю Вашего мнения о прусском ландтаге: пруссаки, как всегда, показали себя достойными того, чтобы дать имя нашей монархии. Ежели я дозволю горсти либералов рассорить меня с этой провинцией, мне следует эмигрировать... Тот, кого Вы обозвали „известным плутом“ (fourbe connu) и кого так вот уже 30 лет зовут агенты тайной полиции и маленькие лайки, находил у папа упорную и убежденную поддержку против этого отродья и получал повышение за повышением; по отношению к Шену, как и во всем другом, я продолжаю дело папа. Шен был одним из тех троих, к кому папа обратился за советом, когда решил вступить во второй брак. Вы не знаете, дорогой и многолюбимый Николай, что Ваш плут—мой близкий друг вот уже 25 лет. Из своих друзей я не творю себе кумиров. Я знаю их недостатки, а дружба позволяет мне призывать их к порядку иначе, чем если бы не было дружбы. Это я должен был сделать недавно и с Шеном, и я сделал это энергично. Но его поведение в качестве комиссара ландтага было выше похвал“.—От Шена Фриц переходит к отцовскому завещанию, и

[1]) С. Б. письмо от 4/16 апр. 1841.

[2]) Я знаю это письмо Николая только по слишком короткому изложению. Шимана в Festschrift Schmoller 276. О завещании Ф. Вильгельма III см. Treitschke IV[5] 725, 753.

здесь дает возможность восстановить многое в письме Николая. Оказывается, что Николай о деле с завещанием был осведомлен Вильгельмом и Мейендорфом.

Реляция Мейендорфа от 20 апреля старого стиля в извлечении напечатана у Мартенса. Мейендорф сообщает своему шефу, что действия короля и принца прусского в деле с ландтагами можно понять лишь в связи с тайным политическим завещанием покойного короля, которое было вдохновлено императором Николаем и написано Витгенштейном. Мейендорф верно излагает суть завещания и верно зовет его наброском проекта семейного статута. Но Мейендорф заблуждается, когда утверждает, что, несмотря на формальные недостатки проекта, король считает его для себя обязательным. Проект предоставляет агнатам некоторое право протеста против всякой попытки умалить суверенитет. Существование документа известно членам королевской семьи и советникам короны. Мейендорф сообщает, но с осторожною оговоркою—„если я не ошибаюсь“—что король признает за агнатами право протеста. Мейендорф видит в этом моральную, но только моральную, гарантию существующего политического порядка.—Что касается принца прусского, то он, еще когда присягал старшему брату, заявил о своем решении протестовать против всякого новшества, противоречащего отцовскому завещанию [1]). Он-то повидимому и настроил Николая против Фрица во время своей поездки на свадьбу цесаревича.

Николай очевидно упрекал Фрица в обнародовании лишь незначащих мест завещания, в намерении держать в секрете самую существенную его часть. Фриц энергично защищается. То, что он обнародовал, вовсе не было завещание. Фриц сообщает любопытную подробность: еще в мае 1840, вероятно под давлением прусской и русской родни, он обещал исполнить все завещательные распоряжения отца. И он свято исполнил свой обет, хотя после отца не осталось никакого завещания, написанного с соблюдением минимальных формальных требований. Что касается распоряжений насчет имущества, их пришлось извлекать из множества клочков бумаги. А так называемое политическое завещание—всего только черновой набросок, написанный рукою Витгенштейна; Ф. Вильгельм не сделал на нем никаких пометок и вряд ли одобрил бы его целиком. „Папа, а может быть Витгенштейн, советует мне не вводить конституции. Если бы папа дал мне противоположный совет, я вряд ли исполнил бы его. Папа, а может быть Витгенштейн, напоминает мне, что я обязан созвать генеральные чины лишь в случае необходимости заключить новый государственный заем. Если я когда созову их, то только в этом случае“. Но Фриц подвергает резкой и меткой критике предположения завещания относительно

[1]) О выступлениях принца прусского в связи с завещанием в 1840, 1842 и 1845 см. Treitschke V[4] 769, 181—182.

состава чинов: 32 делегата от ландтагов и 32 члена государственного совета. Малолюдное собрание, конечно, работоспособнее многолюдного. Но 32 депутата ни в чьих глазах не будут народным представительством.—Дальше Фриц пишет, что во дни коронования он намеревался ознакомить созванных на торжества депутатов—их было около полутора тысяч—с отцовским завещанием и предложить утвердить его с тем, чтобы закон 1820 года считался отмененным и чтобы впредь государственные займы утверждались 32 делегатами ландтагов. Но все советники короны решительно ополчились против королевского плана, от которого поэтому пришлось отказаться [1]).

Беспокойная мысль Фрица не остановилась на разрозненных ландтагах: ему хотелось увенчать здание, и по своему. В марте 1842 г. он заявил о своем намерении созвать соединенные комиссии (Ausschüsse) ландтагов, в июне он созвал их. Петербургские тревоги усилились. Мейендорф 20 марта (1 апреля) 1842 г. извещает Нессельроде о новейших берлинских затеях, в которых Рохов усмотрел опасность для монархического принципа. Мейендорф заступается за короля: он правда пылок до упрямства в своих заботах о благе страны, но он не совсем глух и слеп к голосу разума и опыта. В реляции 30 октября—11 ноября 1842 г. посол судит однако много строже. „По признанию всех осведомленных людей, корень зла—полное отсутствие определенной системы, твердых начал в прусском правительстве. Сегодня заявляют одно, завтра принимают меры, резко противоречащие этим заявлениям. Министрам приходится либо покорно брести за монаршими вариациями либо снять с себя ответственность за действия главы государства. За министерством остается та заслуга, что оно пользуется монаршим доверием и все же несколько сдерживает пылкое монаршее воображение".—Нессельроде в ответной депеше 14/26 ноября меланхолически отмечает, что имп. Николай вполне признает за прусским министерством подчеркиваемую послом заслугу, тем более важную, что в Пруссии усиливаются конституционные и демократические тенденции. И все-таки Пруссии необходимо сильное и однородное правительство, между прочим потому, что прусская печать позволяет себе все больше вольностей: ее выходки против русского правительства становятся совершенно недопустимы [2]).

[1]) Письмо Фрица от 1 июня 1841 хранится в С. Б.

[2]) Переписку Мейендорф—Нессельроде 1842 года см. у Мартенса VIII, 272, 334.

IV.

Совершенно недопустимые выходки были направлены главным образом против таможенной политики императорского правительства. В русско-прусском торгово-промышленном соперничестве М. Н. Покровский усмотрел почти всю суть, почти все содержание русско-прусских отношений времени Николая I [1]). С презрительной усмешкой говорит он про обычную, напр. Мартенсовскую, схему, по которой в основе внешней политики Николая лежал союз трех восточно-европейских абсолютных монархий, и особенно тесный русско-прусский союз, ради борьбы с революционным Парижем. На деле николаевская международная политика определялась не родственными связями и не политическими теориями, а интересами русского народного и государственного хозяйства, повелительными потребностями молодого, но росшего не по дням, а по часам промышленного, фабрично-заводского капитализма. Весьма обычно рисуют Николая исключительно дворянским, феодальным царем. В действительности он был первым на русском престоле представителем буржуазной монархии, вел сознательную и систематическую буржуазную политику. Если исключить Петра, то ни один государь не стоял лично так близко к торговле и промышленности, как этот любитель парадов и маневров. Стержень его внешней политики—охрана отечественной торговли и промышленности. Конечно самым страшным соперником был английский фабрикант и экспортер, но приходилось серьезно считаться и с немецкой конкуренцией, закрывать и сухопутную, прусскую границу. Столь же естественно руководители немецкой, и в частности прусской, политики стремились обеспечить немецким товарам свободный доступ на польский и русский рынок, свободный транзит через русскую территорию на Ближний и Средний Восток. При Николае приходится говорить не о русско-прусской солидарности, а о русско-прусском антагонизме. На русско-прусской границе пышно цвела контрабанда. Русское правительство, по крайней мере центральное, вело с ней непримиримую вооруженную борьбу; прусское, если не прямо поощряло ее, то закрывало на нее глаза. Русско-прусский антагонизм обострялся неопределенностью торгово-политического положения Царства Польского. Соглашения 1815—1818 годов устранили таможенную черту между русской и прусской Польшей. Таможенная открытость Царства Польского для пруссаков была бельмом на глазу русского правительства, которое всячески стремилось отодвинуть таможенные заставы на государственную границу, во что бы то ни стало сплотить окраину с коренною Россиею. Наоборот, прусское правительство проводило в своей Польше политику мягкую, благожелательную. Эра Флотвеля считается обычно

[2]) Внешняя политика, 1919, passim.

порою грубого преследования поляков. Но крутой на западноевропейскую мерку режим казался чуть ли не царством свободы, при сопоставлении с диким разгулом солдатчины в русской Польше. И прусское правительство афишировало свое нежелание содействовать произволу Паскевича. А прусские либералы и радикалы тридцатых годов были прямыми полонофилами. Да и кронпринц, Фриц, стыдился польской политики своего отца: на него сильно подействовало страстное обращение к нему Платена за изгнанных и гонимых. С его воцарением правительственное полонофильство крепнет. Одною из первых мартовских уступок в 1848 г. было назначение комиссаром в Познань ген. Виллизена, того самого Виллизена, который в 1831 г. в своих статьях учил поляков воевать с русскими.

В предисловии к своему сборнику М. Н. Покровский сам видит свою оригинальность в приложении точек зрения научного социализма к истории международных отношений. М. Н. Покровскому действительно часто приходилось подымать целину. Наши марксисты не занимались дипломатической историей; наши дипломатические историки не чувствовали интереса к судьбам народного хозяйства. Всякому пионеру естественно косить глаза в свою любимую сторону. И чем проницательнее взор у марксистского историка международных отношений, тем сильнее у него искушение всюду видеть элементарные хозяйственные мотивы непосредственно позади изысканных или выспренних дипломатических деклараций, укорачивать цепь, связующую процессы национального производства и международного обмена с дипломатическими столкновениями и соглашениями, выбрасывать промежуточные звенья, чрезмерно стилизовать свой рисунок. Убережся ли М. Н. Покровский от этой опасности? Повинен ли он в экономическом схематизме?

При беглом чтении построения М. Н. Покровского могут показаться простыми, слишком простыми: ведь в них так резко и упорно подчеркивается буржуазный индустриализм николаевской России, противоположность русских и прусских хозяйственных устремлений, бессилие династической солидарности перед натиском народно-хозяйственных расхождений. Читатель более внимательный без труда разглядит в сборнике элементы усложняющие и углубляющие. При всей ортодоксальности своего революционного марксизма, при всей парадоксальности своего острого и насмешливого изложения, М. Н. Покровский слишком осведомленный и тонкий историк, чтобы просмотреть спутанность переплета тем и мотивов в дипломатической игре. Ему по собственному признанию (6) начинают надоедать упрощенно-экономические об'яснения. И в прусской политике по отношению к русской Польше и к России вообще, и в русской политике по отношению к Пруссии он признает спайку политических и экономических побуждений. „Индустриальные интересы разделяли Россию и Пруссию,—общее обладание кусками разорванной

Польши их поневоле сближало: ничто не связывает так людей, как сообща учиненное преступление“ (111). И у русско-прусского антагонизма были не только экономические, но и политические корни. Одна из любимых мыслей М. Н. Покровского та, что пруссаки уже при Николае I серьезно боялись наступательного франко-русского союза, который угрожал левому берегу Рейна (63—64, 121—124). Эта гипотеза очень спорна или даже прямо неприемлема. Пусть французское правительство и при Карле X и при Луи-Филиппе серьезно мечтало о союзе с Россией. Но ведь в Берлине прекрасно понимали, и на это указывает сам М. Н. Покровский (64), что после июльской революции франко-русский союз стал невозможен. А до 1830 года пруссаки не могли бояться этого союза, потому что Николай был по горло занят декабристами, поляками, персами, турками. Таким образом берлинские страхи приходится отбросить; но следует отметить, что переоценивший их историк чувствует, как трудно выводить русско-прусские споры исключительно из промышленного соперничества. Нужно впрочем прибавить, что он отнюдь не везде видит только элементы антагонизма и борьбы в истории русско-прусских отношений. В самой таможенной войне бывали полосы соглашательства, когда выпускались из рук главные козыри. Так, например, в 1844 г. пруссаки, будто бы считавшие угрозу отказом в картеле самым сильным доводом в своей дипломатической игре, продлили картель на 12 лет безо всяких условий. Любопытно, что в об'яснение прусского примиренчества приводится чрезмерно психологическое и потому мало убедительное соображение (90,115). Буквально толкуя одно место в письме Нессельроде от 14 января 1843 г., жалобу на то, что прусское руссофобство стало настоящим безумием, историк замечает: „как это часто бывает при безумии, пароксизм ненависти сменился апатией“. Пусть к такому об'яснению трудно присоединиться; но должно подчеркнуть, что историк, склонный выдвигать вперед факты международной хозяйственной борьбы, не устраняет из своего поля зрения моменты перемирия. В суждениях о польском вопросе М. Н. Покровский временами довольно близко подходит к „традиционной“ схеме и считает возможным говорить о русско-прусском сотрудничестве в ущемлении поляков. Даже французское и английское полонофильство тридцатых годов не без основания представляется ему подозрительным: насмешливо подчеркивает он почти назойливые стремления Луи-Филиппа воскресить франко-русский союз, холодное равнодушие Памерстона к польским страданиям (65—67). Тем легче признать ему солидарность русского и прусского правительств в событиях 1831 года. В двадцатых годах русско-прусская солидарность в польских делах правда разлагалась, но события 1831 года снова скрепили ее и привели к конвенциям 1833 года и к уничтожению краковской республики в 1846 г. (70). А в событиях 1831 года прусская подмога оказалась решающей и путь к Вар-

шаве шел через Берлин. И как ни медлительны были немцы по части продовольственных поставок, Россия не справилась бы с поляками без прусской помощи, которая была так существенна, что Николай после не любил вспоминать о ней (118—120). Какой же был у пруссаков расчет помогать России? Дело было вовсе не в легитимизме и революции. Даже после июльских дней немцы продолжали бояться франко-русского сближения и решили воспользоваться польским восстанием, чтобы надолго освободиться от своих страхов. „Почва, по которой думали итти (мечтавшие о франко-русском союзе), внезапно обвалилась. Надо было расширить провал и, если можно, еще наполнить его польской кровью, чего же лучше?.. В 1831 г. реальные задачи Пруссии сводились к отстаиванию линии Рейна от покушений французов, подталкиваемых русскими". Не ясно, почему М. Н. Покровский забывает о других реальных задачах Пруссии, об отстаивании захваченных польских областей. Но ясно, что он не забывает о сложности и сбвчиивости прусской политики в польском вопросе.

Мне думается, построения М. Н. Покровского в области русско-прусских отношений нельзя считать чрезмерно упрощающими проблему. Их скорее можно упрекать за неравномерность и неслаженность, которая сильно затрудняет их поверку. Я впрочем вовсе не считаю себя в праве ставить себе такую задачу. Я остановился на взглядах М. Н. Покровского только потому, что положенный в основу моего этюда материал трактует о некоторых из поставленных М. Н. Покровским вопросов. Но это материал частичный и специфичный. И все-таки приходится сказать, что он плохо мирится с утверждениями о равнодушии Николая к легитимности и революционности. Нет, Николай очень боялся французской революции и прусской конституции, конечно не как отвлеченных начал, а как совершенно реальных опасностей, непосредственно угрожавших ему и его России.

Изученная мною августейшая переписка позволяет также проверить некоторые частные утверждения М. Н. Покровского, а именно утверждения о полонофильстве Фрица и о русско-прусской таможенной борьбе. Мой материал оказался очень мало благоприятен для теории Фрицевского полонофильства. Разумеется, приходится учитывать лицемерие Фрица, когда он в беседах с Николаем насмешливо или враждебно отзывался о поляках. Но как бы высоко ни расценивать это лицемерие, трудно считать полонофилом человека, который зовет Флотвеля достойным и превосходным предшественником Арнима. Когда мы дойдем до переписки 1848 года, мы убедимся, что даже в первые месяцы революции полонофильство Фрица оставалось очень бледным и трусливым, а руссофильство очень глубоким.

Таможенные споры занимают очень мало места в переписке Фрица с Николаем. Они упоминаются в двух письмах Фрица 1842 и 1843 годов. В июле на русском „Богатыре" Фриц возвращается морем из Петергофа и с пути еще раз пылко выражает свою благодарность. Между прочим он благодарит за таможенные „окончательные уступки" [1]). „Вы сделали их в качестве чистого подарка, чтобы облегчить торговые сношения, которые до сих пор были так страшно невыгодны для моих бедных провинций—Пруссии, Познани, Силезии... В ответ на эти пограничные облегчения, я отдал приказ продлить картель на год. Я хорошо знаю, что Вы, дорогой друг, и Ваши не придаете этому никакой цены; но эта мера хороша для наших; вот почему я был бы счастлив, если бы начатые в Берлине переговоры позволили мне продлить картель на больший срок".—Поражает в письме не решение продлить картель: в нем можно видеть неизбежную ответную любезность. Удивляет утверждение, будто русские не придают картелю никакой цены, и полная готовность продлить картель и на более значительный срок. Или король был никуда негодным защитником прусских интересов, или картель вовсе не был на руках прусских дипломатов тем крупным козырем, каким его считает М. Н. Покровский. И может быть вернее второе. Если отправляться от переписки Николая с Паскевичем, то трудно понять, для кого картель выгоднее и кто его добивается. В 1842 году Николай заверял Паскевича, что не согласится на картель, пока пруссаки не станут умолять русских возобновить договор [2]).

Фриц возвращается к русско-прусским торговым отношениям в письме от 9 февр. 1843 г. Он попал в щекотливое положение: ему пришлось отказываться от русского подарка. Русское правительство предоставило пруссакам новые таможенные льготы. Но оказалось, что соглашения, заключенные Пруссией с другими членами таможенного союза, не дозволяют пруссакам в международной торговле пользоваться привилегиями, не распространяющимися на всех членов союза. Король несколько месяцев думал, как ему выйти из затруднения, и придумал: он решил установить для русских и польских товаров на Немане и на Висле такие же таможенные ставки, как для товаров австрийских, специально для того, чтобы показать всему миру, что пруссаки и не думали ссориться с русскими. „Возможно, что меня за эту уступку будут обвинять в слабости к Вам. Но я буду носить это обвинение с такою же гордостью, с какою я ношу Ваш мундир и орден св. Андрея Первозванного [3]).

[1]) Король отнюдь не видит в них мелких смягчений таможенного надзора, какими их считает М. Н. Покровский: король зовет уступки неожиданными и великодушными.

[2]) Щербатов, V, 291—293. Но с другой стороны в Берлине, при возобновлении договора в 1844 г., жаловались, что от картеля пруссакам нет никакого толку, и, чтобы был толк, включили в ст. 23 проекта параграф, обязывающий русские пограничные власти принимать от прусских всякого русского еврея, застигнутого на прусской территории без русского паспорта (Мартенс, VIII, 337—8).

[3]) Оба письма хранятся в СБ.

Дипломатическая переписка вносит существенные поправки в этот обмен родственными любезностями и подарками. В июле 1842 г. короля сопровождали в Россию два финансовых чиновника для выработки таможенного соглашения. Чиновники держались совсем не так, как их повелитель: по крайней мере Нессельроде резко жалуется Мейендорфу (21 июля 1842 г.) на их заносчивость, грубость, упорность и прибавляет, что император тоже крайне не доволен подобным образом действий [1]). Но ведь и августейшая переписка вносит не менее существенные поправки в резкие дипломатические пререкания, в брошенные налету слова о пароксизмах прусской ненависти к России, позволяет и заставляет видеть в русско-прусских отношениях сороковых годов нечто более сложное, чем „прусское нахальство" Мюллера и Удена или пограничные похождения Павла Ивановича Чичикова, даже нечто более сложное, чем малую таможенную войну и большую борьбу российских купцов и промышленников с немецким засильем.

V.

Дурные предчувствия не обманули Николая. Провинциальные ландтаги оказались только началом преобразовательной деятельности Фрица. На фундаменте ландтагов он с самого начала задумал возвести постройку притязательную и затейливую, воображая при этом, что он отнюдь не впадает в конституционализм, остается верен заветам отца и Николая. Вполне определенные очертания план получил к 1845; он изложен в замечательном письме Николаю от 12 — 20 янв. 1845; но король напоминает в самом начале письма, что он впервые завел с Николаем речь о своих замыслах еще в бытность кронпринцем, кажется в 1838, а подробно развил свои политические мечты в 1843, в длинной и памятной беседе в Шенгаузене. Николай был первым человеком, которому Фриц поведал свои предположения. И теперь он спешит посвятить его в свое окончательно продуманное решение.

Повидимому отводя шенгаузенские возражения Николая, король начинает с торжественного и формального заверения, что он никогда, ни при каких обстоятельствах не дозволит ни хартии, ни конституции, ни периодических генеральных штатов, ни выборов в генеральные штаты. Он хочет только завершить здание, которое начал папа и которое грозит обвалиться без хорошей крыши. Он не считает себя связанным ни так называемыми обещаниями 1815 и 1823 годов, ни прецедентом 1811 г. Но он связан законом 1820 года о государственных займах. Этот закон—великое несчастие, опасная болезнь прусского общества. Весь политический проект короля придуман главным образом для того, чтобы избавиться от рокового закона, при существовании которого у либералов есть законная база для своих требований, а у людей благомыслящих такой базы нет.

[1]) М. Н. Покровский придает очень большое значение этому письму (114).

„Актом, исходящим из полноты королевского права, я хочу отменить закон 1815 года и все неприемлемое в законе 1820 года и даровать собранию восьми провинциальных штатов важные права, которые, однако, будут ограничены неподвижной и неприступной оградой прав короны и королевского дома. Соединенное собрание восьми ландтагов не будет периодическим. Я обещаю созывать его при заключении государственных займов, при изменении и увеличении прямых налогов, каковые по германскому праву входят в компетенцию штатов". Благодаря такому образу действий, король получает возможность, без всякой опасности впасть в конституционный фарс, соединять периодически комитеты всех восьми ландтагов, и он думает делать это раз в четыре года: соединенные комитеты не посмеют разыгрывать из себя генеральные штаты, ибо последние будут признаны королевским законом. Созыв соединенных комитетов позволит, не нарушая обязательств 1820 года, лишь в исключительных случаях обращаться к штатам генеральным. Совершенно обходиться без последних нельзя: надо выбирать заседателей в управление государственными долгами, надо воздействовать на общественное мнение. Первую сессию, вероятно, придется созвать в скором времени, по вопросу о начатых постройкою железных дорогах. Если собрание пожелает, оно даст мне 40—50 миллионов на быстрое завершение начатых работ хозяйственным способом. Если нет, я буду продолжать работы, как я их начал, медленно, по мере заявки подрядчиков. Таким образом правительство ни в малейшей мере не будет в зависимости от штатов. Если же последние представят петиции и жалобы, пускай представляют: я сумею рассмотреть их и дать надлежащий ответ".

В заключение король просит не считать его легкомысленным фантазером. Возиться с собранием в 500—600 голов дело не из легких и не из приятных. Но другого пути вылечиться от недуга, от последствий безумного Гарденберговского законодательства, нет: надо проглотить лекарство и переболеть кризис. Бой предстоит серьезный, но мы с Божьей помощью его выиграем.

Доводы Фрица не произвели решительно никакого впечатления: Николай остался при своем неподвижном убеждении и осуждении и выразил его в ответе от 6 февр. н. с. с полною, почти грубою откровенностью. Николай благодарит за повторное доверие, но напоминает, что, отдавая должное благородству побуждений Фрица, он неизменно осуждал королевские проекты по существу, а сверх того каждый раз подчеркивал их грубое противоречие отцовской воле. Оптимизм Фрица не имеет под собою никакой почвы: исторический опыт говорит против по-

добных попыток. Неотразимою силою вещей король будет увлечен далеко за пределы своих намерений, и тогда не спасет его ни верность армии, ни собственное мужество. Своим решением король ввергнет в пропасть и себя, и Европу. Чтобы охранить Россию от сходных опасностей, Николай призовет к себе на помощь благодать свыше. „В течение двадцати лет верный началам, унаследованным от отца и старшего брата, я не отрекусь от них никогда и буду биться на прорыве до последнего издыхания. Да рассудит нас Бог".—Николай кончает горькими упреками и зловещими предсказаниями. Королевским планам радуется Луи Филипп с компанией и вся дьявольская революционная клика. Как только в Пруссии водворится внутренняя смута, и король потеряет возможность поспешить на помощь остальной Германии, последней пришел конец. Революционная пропаганда не теряет времени и всюду имеет успех. Тому доказательства—Швейцария, так называемые католические интриги, коммунистические интриги в Польше—всюду огонь подвигается вперед. И такой момент король избирает для своей азартной игры, возлагая тем на себя страшную ответственность.

Обмен письмами не был строго конфиденциальным. Фриц поручил ген. Рауху отвезти свое письмо, добиться личного приема и подробно раз'яснить императору намерения короля, пользуясь в качестве коментария королевскими письмами о том же предмете к Меттерниху и королю вюртембергскому. Раух передал письмо и попросил аудиенции. Его пригласили явиться во дворец 4 февраля, в 9 ч. вечера. Император заявил Рауху, что собирается прочесть ему черновик своего ответа; черновик сейчас у Нессельроде, но должен придти с минуты на минуту. Раух был очень разочарован: ведь он должен был подробно растолковать письмо с помощью двух других писем. Раух выразил свои опасения и просил Николая не отсылать ответа, не познакомившись с двумя другими письмами. Николай заявил, что превосходно понял главную мысль короля. Честный немец настаивал на своей обязанности ознакомить с обоими письмами и начал читать письмо к Меттерниху. Николай слушал нетерпеливо, постоянно перебивал чтеца и повторял, что в технике сословного представительства он смыслит немного, но суть королевского плана усвоил вполне правильно. Как раз в это время принесли от Нессельроде черновик ответа. Николай показал его Рауху. Черновик был весь написан рукою императора, а в конце его стояли две одобрительные приписки — рукою императрицы и Нессельроде. Николай прочитал Рауху черновик и обе приписки. Раух снова молит не посылать окончательного ответа, не выслушав сполна его доклада. Николай указал, что ему некогда, что ему, да и Рауху, надо спешить к вел. княгине Марии Николаевне. Раух просил разрешения сделать хотя бы короткий доклад. Николай не возражает, но 7 февраля без всякого вторичного доклада, присылает Рауху для отправки королю свой перебеленный ответ. Правда в тот же день Раух получил милостивое приглашение к высочайшему семейному столу и после обеда имел случай подробно изложить королевские замыслы императору и императрице. Но эта беседа нисколько не отразилась на окончательном тексте ответа. Раух с грустью замечает, что взгляды императора установились с полной определенностью, что переубедить его нельзя [1]).

Участие Александры Федоровны, Нессельроде и Рауха увеличивает важность переписки 1845 года, подчеркивает присущий этому обмену личными мнениями характер политики династической и правительственной.

VI.

Впрочем и Николай не переубедил Фрица. Несмотря на все русские запугивания, король созвал полюбившийся ему соединенный ландтаг, правда только в 1847.

Даже после соединенного ландтага Фриц мечтал о поддержании старой дружбы—личной, семейной, политической. Николай оставался суров, не хотел и не умел простить прусского грехопадения. В бывшей Собственной Библиотеке сохранилась написанная рукою цесаревича—повидимому себе в назидание—копия неумолимой отповеди блюстителя принципов на один из призывов павшего и мятущегося [2]).

Письмо написано 3—15 окт. 1847 из Варшавы. „Дорогой и добрый Фриц, я обязан Вам тысячею нежных признательностей за Ваше любезное письмо и за слова, переданные мне Роховом. Наша дружба насчитывает слишком долгие годы и восходит к слишком торжественным событиям для того, чтобы она когда-нибудь в чем-нибудь могла измениться—она за пределами досягаемости... Нарисованная Вами картина настоящего положения дел, столь верная, пикантная и жалкая, вполне согласуется с моими собственными убеждениями. Но я нисколько не удивляюсь ей. Я предвидел ее 15 лет тому назад, с того мгновения, как святотатство восторжествовало над святынею, как трусость сменила принципы, завещанные нам моим предшественником славной и бессмертной памяти, с того мгновения наконец, когда пожелали разорвать с прошлым и поставить на его место будущее, основанное на превратных принципах современности, когда отреклись от того, что было нашею силою и причиною наших триумфов! Разумеется я полагаю заодно с Вами, что возможность спасения лежит единственно в нашем тесном единении, я имею в виду единение наших стран. Но Вы слишком хорошо

[1]) Отрывки из писем Фрица и Николая были впервые напечатаны Мартенсом VIII п. 332. Полный текст писем и письмо Рауха королю от 8 февр. 1845 впервые обнародованы Шиманом по подлинникам Шарлоттенбургского семейного архива, Festschrift Schmoller 275—285.

[2]) Картон 63 № 2054.

знаете мою прямоту, чтобы я мог скрыть от Вас мое убеждение: этого тесного единения наших стран — больше не существует! Его больше не существует, ибо наши страны не остались тем, чем они были во дни нашей общей славы, когда один и тот же принцип лежал в основе их правительств.— В Австрии больше нет хозяина. Она прозябает под гнетом административной машины с изношенным, даже переизношенным, едва держащимся, грозящим обрушиться механизмом, и никто не может сказать, что с ней случится. — А Вы сочли уместным даровать своему государству новые учреждения, которые создали ему будущее, совершенно отличное от прошлого. Бог рассудит это будущее.—Я остался один в своем решении поддерживать прошлое в моей стране. Доселе мне удается поддерживать его, хотя не без напряжения. Но одному Богу ведомо, устою ли я до конца или паду в борьбе. Но если я паду, я по крайней мере паду с честью" [1]).

Упреки царя задели короля за живое и показались несправедливыми. Несмотря на все свое преклонение перед Николаем, он возражает с большою горячностью, напоминает, что в русском прошлом не все безупречно, что вопрос о старшинстве грехопадения—вопрос спорный. На все обвинения он отвечает пылким отрицанием. „Нет! нет! нет! Я не ослабил своей короны, не исказил своего суверенитета, не изменил древней прусской конституции, естественной и патримониальной, не дал ни конституции современного склада (moderne), ни обещания такой конституции, ни какого бы то ни было обещания, которое бы связывало мне руки". От обороны Фриц переходит в наступление. Вот Николай постоянно толкует о священных принципах, унаследованных от Александра. А если кого и можно упрекнуть в измене священным принципам, так именно Александра. Это он счел нужным угостить героическую Польшу конституцией совершенно нового, французского образца, в стиле Луи XVIII. „Все это резко противоречило принципам папа и моим принципам".

Николаю пришлось сбавить тон и оправдываться, признать, что незабвенный Александр сделал в Польше печальную ошибку, и, указывая на смягчающие обстоятельства в обстановке 1815 года, признать, что и другой герой старшего поколения, Ф. Вильгельм III, сделал печальную ошибку. Но русские искупили свою вину 1815 года своею кровью на укреплениях Воли, положили конец польской конституции. Можно ли сказать про пруссаков, что они искупили свой грех 1815 года? Николай склонен думать, что они только отягчили его при Ф. Вильгельме IV и что благородные намерения короля подвергаются превратному истолкованию. Николай

[1]) Любопытно, что Паскевич, уж, конечно, не уступавший Николаю в напряженности своих консервативных чувств, снисходительнее судил о короле, но не переубедил царя, который продолжал твердить: „Старой Пруссии нет, она погибла невозвратно; нынешняя ни то ни се, что-то переходное, а будущее ужасно" (10 июля 1847, Щербатов V 393—494).

остается при своем мнении: Пруссия вступила в совершенно новую эру. А между тем революция близится и предотвратить ее можно только делами, а не словами [1]).

Повторяя лишний раз мрачные предсказания, Николай едва ли сам сознавал, в какой мере они близки к осуществлению, какое малое число недель отделяет его от ближайшей революции. Следующий обмен письмами произошел уже после февральских дней. И с самого начала обозначилось коренное различие в отношении к перевороту. Для Фрица парижские события не только торжество злой революции и угроза человеческому общежитию. Связанные с переворотом потрясения раздвигают горизонт, создают великие возможности, позволяют поставить и может быть даже разрешить германский вопрос во всей его широте, во всем его величии. Надо только овладеть движением, вырвать из рук демагога опасное оружие германского национального об'единения. В письме от 29 февраля король извещает Николая, что он отсылает в Вену ген. Радовица с предложением собрать в Вене конгресс всех немецких государей для обсуждения реформы Германского Союза. Таким образом еще до венской и берлинской революции прусский король счел необходимым поставить на очередь проблему германского об'единения, которая так скоро станет весьма существенною причиною расхождения между Россией и Пруссией.

И в Николае вести из Парижа будили смешанные чувства. Они льстили его самолюбию, закрепляли за ним репутацию великого прозорливца, единственного монарха, за много лет предугадывавшего подлинное направление европейского политического развития. Он не скорбел о падении Луи-Филиппа, и чистая республика, если бы только она оказалась миролюбивою, была для него приемлемее ублюдочной, святотатственной монархии. Но он плохо верил в миролюбие парижских республиканцев, ждал нового Конвента, нового похода революционной Франции на Европу. Может быть еще больше боялся он отражения парижских событий на революционном движении других европейских стран, ряда мятежных вспышек и взрывов. Он считал необходимым готовиться к самому худшему, немедленно принимать самые тщательные меры предосторожности, сосредоточивать корпуса и армии на Рейне. Он был готов простить Фрицу все его политические грехи, лишь бы только сконить его к мужественному отпору французским посягательствам. Он страстно звал его возвыситься до уровня великой катастрофы, спасать Германию и человеческое общежитие. 8 марта нового стиля он восклицал: „Момент, который я предсказываю вот уже 18 лет, наступил. Революция восстала из своего пепла. Луи-Филипп

[1]) Оба предыдущих, равно как и три последующих письма, напечатаны в извлечениях у Мартенса. Письмо Фрица от 12 дек. 1847, реплика Николая от 18 янв. 1848 нов. стиля.

теряет свой воровской престол тем же, если не еще более ужасным, порядком, каким он захватил его. Нашему общему бытию грозит непосредственная опасность... Мужайтесь, действуйте! С нами Бог! Мы защищаем самое святое дело, мы христиане!" Он возбужденно уговаривает короля безотлагательно стянуть на Рейне как можно больше войска для отражения французских полчищ, а сам обещает подоспеть через три месяца с армией в 350.000 штыков. 12 марта нового стиля Николай снова увещевает короля стать спасителем Германии и правого дела, не отступать перед указаниями божественного Промысла.

Когда Николай писал свой последний призыв, в Вене уже шли уличные бои. Когда письмо попало по назначению, баррикады выросли и на улицах старого Берлина. Осуществились самые дурные предчувствия Николая: он действительно был теперь последний мощный паладин „святого дела", единственный непоколебленный оплот среди разбушевавшихся стихий.

VII.

В Берлине впрочем и в самый разгар смуты оставались русские официальные наблюдатели—посол Мейендорф и военный агент Бенкендорф. Через них узнавали в Петербурге о мартовском позоре, в их освещении воспринимали бурный поток берлинских событий. Их донесения приобретают поэтому особый интерес. Бенкендорф писал своему начальнику, военному министру, но наиболее интересные донесения Чернышев передавал Николаю, и они уцелели в Собственной Библиотеке [1]).

Бенкендорф писал, как истый николаевский солдат, прямолинейно, топорно, грубо, шатко, очень плохо разбираясь в революции и ничего не желая уступать ей, усердно разыскивая в событиях то, что в них всего приятнее найти начальству. 15 марта нового стиля он еще совсем не чувствует серьезности положения. Он рассказывает, как 14 и 15 марта, несмотря на запреты, вокруг дворца толпятся мальчишки, 15, впрочем, в гораздо меньшем числе, чем 14, как толпа поносит лейб-драгун и лейб-кирасир, но рассеивается перед их атакой рысью, как на Bruderstrasse солдат нельзя было удержать и в толпе оказались раненые саблями. Он сообщает, что в Берлин приезжают по железным дорогам смутьяны и эмиссары из южной Германии. И все-таки он не находит в происшествиях ничего тревожного. Скопища безоружны, неорганизованы, беспрограммны, состоят из подонков населения, преимущественно мальчишек. Бюргеры вовсе не участвуют в движении. Печально то, что публика обвиняет соллат в излишней суровости.

16 марта Бенкендорф доносит о большой уступке движению: бюргеры попросили военное начальство убрать войска

[1]) Картон 63 №·2076.

с улиц и обязались сами поддерживать порядок; их просьбу удовлетворили. К вечеру дворцовая площадь заполнилась народом, и король приехал из Потсдама. Толпа снова ругает солдат и швыряет в них камнями. Ее атакуют кавалергардами. Толпа бежит. Ее преследуют. Но на соседних улицах из окошек раздаются первые выстрелы, вырастают первые баррикады. Солдаты берут их штурмом. К полночи порядок в городе восстановлен. Бенкендорф недоволен. У повстанцев трое убитых, много раненых; но арестованных мало и мятежниками еще не овладела та спасительная паника, которая одна способна обеспечить „нам" порядок. Берлинский бунт Бенкендорф находит беспримерным по отвратительности. Революционную сволочь не потрудились даже обучить каким-нибудь лозунгам. Это не помешало ей оскорблять солдат и проявлять невероятную наглость, единственно из обезьяньего подражания гнусному парижскому примеру.

16 марта Бенкендорф много тревожнее, чем накануне, но еще страшно далек от сознания близости конца. Торжество революционеров было для этого берлинца более неожиданным, чем для его петербургского читателя. Третье донесение написано 24 марта, когда старая Пруссия отошла в вечность. Бенкендорф поет уже совсем другую песню—дивится растерянности правительства и организованности повстанцев. Всего неделю тому назад он издевался над смехотворными и противными потугами устроить все, как в Париже. Теперь, после бесед с людьми, видевшими все бунты Парижа, Брюсселя, Гента, он зовет берлинские уличные бои беспримерными по ожесточенности, кровопролитности, подготовленности. К сожалению, в его рассказе больше мелодраматического контр-революционного трафарета вплоть до кипящего масла, серной кислоты и еврейских завываний чем схваченных живьем подробностей, хотя он зовет себя единственным иностранным офицером, наблюдавшим весь ход борьбы. Движение подготовлялось задолго, издалека; коммунистическая пропаганда шла из Франции, Швейцарии, Южной Германии, рассчитанная на „пролетарскую массу", на публичных писак, которым нечего терять, на студентов, которым надо еще все отвоевывать. Бюргеры пристали к движению, лишь когда им внушили ненависть к солдату. В последние дни перед 18 марта военные не смели в одиночку показываться на улицах. Рабочим роздали много денег, чтобы они большими толпами слонялись по улицам, их взвинчивали речами, обучали возведению и обороне баррикад. И все-таки Бенкендорф заверяет свое начальство, что у движения не было ни целей, ни лозунгов, ни корней; все было привозное, заграничное. А правительство оказалось совершенно несостоятельным: не знало нитей и главарей восстания, не сумело задавить его в зародыше, не сумело загасить пламени, когда оно разгорелось. А у мятежников все подстроено: когда 18 марта

раздались два роковые выстрела на дворцовой площади, сразу, точно из-под земли, появились всадники, стали раз'езжать по улицам и призывать народ к восстанию. Точно по мановению ока воздвиглись баррикады, запестрели в окнах красные и трехцветные флаги, были разграблены оружейные лавки, перебиты либо сброшены в реку часовые, заняты заранее намеченные позиции. И все-таки мятеж был сломлен необыкновенным воодушевлением и мужеством армии; отставные офицеры и кадеты просились в бой. Если будет повергнута на землю военная монархия Гогенцоллернов, если перестанут существовать армия великого Фридриха и прекрасная прусская гвардия, то эти великие учреждения по крайней мере падут с честью. Бенкендорф настолько подавлен событиями, что предвидит близкий день, когда прусские офицеры будут проситься в русскую службу. Почти всю вину Бенкендорф возлагает на правительство, больше и прежде всего на короля, которого он прямо зовет по имени, хорошо зная, что такая „смелая" речь будет благосклонно принята в Петербурге. Войска нигде не потерпели неудачи. К полночи они очистили большую часть города и были уверены, что борьба возобновится на следующий день, были уверены в успехе, во всем, кроме твердости короля. Самые осторожные вожди, напр., Притвиц, советовали покинуть Берлин и перенести главную квартиру в Потсдам, настаивали на блокаде столицы, на доведении борьбы до полной победы порядка. Взамен этого, утром 19-го король велел увести войска с позиций, стянуть их к замку либо направить в казармы, точно побитых. А вскоре им приказали совсем покинуть Берлин, ночью, тайком, под охраною нескольких бюргеров. Войска чувствуют себя до крайности униженными. Негодование растет; растет и жажда мести за оскорбления. Войска обожают Притвица, преклоняются пред благородным обликом принца-изгнанника. Только сегодня на улицах вновь показались военные мундиры: четыре генерала и человек десять офицеров в полной парадной форме шли за гробом товарищей, умерших от ран в боях 18 марта.

На следующий день, 25 марта, Бенкендорф доносит о речи короля к офицерам потсдамского гарнизона и резко ее осуждает. Королевские слова произвели самое ужасное впечатление, отняли последнюю надежду на решительную борьбу с мятежом. Дух дисциплины так глубоко укоренился в прусской армии, что с трехцветной кокардой, вероятно, помирятся. Но когда дело дойдет до присяги конституции, лучшие офицеры подадут в отставку. Германских бюргеров уже начинает пугать отсутствие армии и засилье рабочих. Вместо того, чтобы радоваться такому настроению, Бенкендорф с презрением предсказывает, что правительство снова уступит требованию „черни" и вернет войска в столицу, причем, чтобы задобрить население, вероятно, введет такие полки, которые набираются в большой мере из берлинцев.

Из донесений Мейендорфа мне известны только три очень

коротких извлечения, напечатанные у Мартенса. 20 марта посол сообщал, что король в плену у берлинских бюргеров. Престол и династию можно спасти лишь в том случае, если королю удастся ускользнуть и собрать тысяч двадцать людей в Потсдаме. Мейендорф предостерегает от всякого вмешательства во внутренние дела Пруссии: всякая такая попытка приведет к республике. Полезно сделать официальное заявление о решении русского правительства не мешаться в прусские дела. Даже и в этом случае, как думает напуганный посол, трудно будет избежать русско-прусской войны из-за Польши, хотя в Пруссии ни народ, ни армия не хотят войны с Россией. В средине апреля Мейендорф считает берлинское правительство бессильным бороться с польскою смутою и антирусскою агитацией в Познани и говорит это в лицо новому министру иностранных дел, Арниму. Единственное, о чем Мейендорф просит Арнима, это не оказывать покровительства польской пропаганде, если только прусское правительство хочет избежать войны с Россией.

О русско-прусской войне едва ли не с большей настойчивостью твердил Нессельроде в ответных письмах к Мейендорфу. В Петербурге были серьезно встревожены не только польскими, но и шлезвиго-голштинскими делами [1]). 27 апреля 1848 г. Нессельроде считал положение очень напряженным. Россия не может допустить разгрома Дании у своих дверей. Но если Россия пошлет свою эскадру к прусским берегам, она рискует поднять против себя всю Германию и снова разбудить только что угасшие симпатии к полякам. Даже в августе 1848 г. Нессельроде находил вооруженное столкновение России с Пруссией почти неустранимым. „Император раздражен не менее. Он думает, и, может быть, не без основания, что ничего доброго не будет, пока царствует Ф. Вильгельм IV; он видит спасение для Пруссии только в его отречении. Но как добиться этого отречения? По доброй воле король не отречется, а принудить его, значит прибегнуть к революционным средствам, от которых в ужасе отшатнется всякая честная душа. Необходимость воевать с Пруссией очень тяжела, но я не вижу, как ее избегнуть".

Надо постоянно иметь в виду суждения о прусской революции, исходившие от осведомителей и советников Николая для того, чтобы надлежащим образом отнестись к оценкам самого Николая. Еще необходимо памятовать, что у Николая и русского правительства было несколько программ. Одна выставлялась для большой публики, своей и заграничной, подчеркивала глубокую разницу между величавой в своем спокойствии Россией и мятущейся Европой, проповедовала презрительное невмешательство в европейскую смуту, поскольку

[1]) О заинтересованности николаевского правительства в датско-прусском конфликте проницательные замечания у М. Н. Покровского 94—97. Оттуда заимствованы обе приводимые ниже выдержки из писем Нессельроде к Мейендорфу.

последняя не будет посягать на права, обеспеченные за Россией международными договорами. Другая, обращенная к монархам и заслуживающим доверия министрам, говорила о необходимости восстановить попранные святые принципы, встать на защиту легитимности и порядка и обещала мощную военную поддержку со стороны России в случае серьезных попыток реставрации; но и эта эсотерическая программа парила на высотах легитимизма, не хотела спускаться в низины интересов. Наоборот, третья программа, намечавшаяся исключительно для собственного сведения и руководства, определялась по преимуществу интересами; она считалась с возможностью проникновения революционной заразы на русскую почву, особенно в Польшу, и допускала русское вмешательство в европейские дела с целью задавить крамолу в граничащих с Россией странах и даже с целью поддержать международное равновесие, например, преобладание России в балтийских водах.

В бывшем Государственном Архиве сохранился собственноручный карандашный набросок письма Николая к Ф. Вильгельму IV [1]). Он не имеет даты, но по содержанию мог быть написан лишь в первые недели после 19 марта. И по форме — торжественное обращение Sire — и по существу он выражает собою программу первого порядка. Обратиться к королю Николая заставила прокламация короля ко всем немецким государям с призывом единодушно защищать родину против общего врага. Император российский выражает свое полное сочувствие этой прокламации: враги Германии суть в то же время и враги России. Но в императоре посеяли тревогу некоторые другие берлинские акты, которые могут поощрить поляков в их мечтах о Польше в старых границах. Николай торжественно предупреждает, что всякое нарушение международных договоров о Польше будет сочтено Россией за об'явление войны.

Вторую программу излагают некоторые собственноручные карандашные записки императора. Николай не обращается в них ни к какому определенному лицу. Но уже язык заставляет думать, что они рассчитаны и на иностранного читателя. Содержание же еще более убеждает в том, что Николай желал ими оказать влияние на прусскую правительственную среду, гражданскую и военную.

Одна записка, которую можно приурочить к середине мая, посвящена судьбе принца прусского [2]). Николай ужасается разрушению старого правительственного порядка и общественного строя, спутанности частных отношений, хаосу идей. И опрокинутое не замещено никакою новою постройкою. Король, правда, возвестил, что Пруссия отныне должна раствориться в Германии. Но мало кто понял эти слова. И среди понявших мало кто им сочувствует. Недовольство революцией растет, особенно в войске, оскорбленном и приниженном. Крепнет и патриотическое стремление спасти родину под старым прусским стягом. И действительно, можно ли терпеть долее, чтобы изменнический Берлин приказывал всему королевству? если несколько дерзких бунтарей об'явят законного наследника, принца прусского, лишенным права на престол, то можно ли примириться с таким актом? И если король даст свое согласие на такой акт, то придется считать короля пленником, утратившим свободу действий. „Я полагаю, что в случае такого несчастья принц прусский не должен подчиняться подобному решению. С оружием в руках он обязан отстаивать свои неотчуждаемые права. На его стороне будет вся армия и внушительное большинство страны. Принцу открыты два пути. Принц может появиться среди немногочисленных, но преданных войск, расположенных в Гольштейне, двинуться с ними прямо на Берлин, завладеть столицей, освободить короля и расправиться с хозяйничающими там бунтовщиками. Он может также высадиться в Данциге или Пиллау, заручиться содействием графа Дона, командующего I корпусом, и генерала Коллона (Collomb), командующего познанскими войсками, и заодно с ними пойти на Берлин. В обоих случаях успех не подлежит сомнению. Первый план можно выполнить быстрее. Во втором случае можно опереться на русскую армию, которая в случае нужды поспешит на помощь принцу Но русская помощь будет оказана лишь в случае осложнений с Францией или с южной Германией. Войти в переговоры с Дона и Коллоном нужно без промедлений; всего удобнее и безопаснее сделать это через прусского посла в Петербурге. — Революция поколебала, однако, все прежние устои. Николай не вполне уверен даже в принце прусском, который может попытаться вступить в соглашение со смутой, вернуться в Берлин теперь же и принять условия унизительные. Это была бы ошибка непоправимая, способная навеки погубить прусскую монархию [1]).

[1]) Госуд. Арх., разряд III, № 148. Набросок, как и все использованные ниже записки, написан по-французски. За наброском следуют слова: „Прочтите, дорогой друг, и скажите, одобряете ли вы меня!“ Дорогой друг — это, конечно, Нессельроде.

[2]) Госуд. Арх. разряд XV № 321. Записке в архиве придавали важное значение, сделали с нее две тщательных копии, XV 321 и III 166. Записка не датирована; но в средине Николай говорит, что всякий добрый пруссак должен ужасаться последним двум месяцам смуты. Значит, с начала революции прошло около двух месяцев.—Принц прусский вернулся в Берлин 7 июня и на другой день заседал в Национальном Собрании, где его обозвали представителем Вирзицкого округа (Leop. Gerlach I 167—8).

[1]) После того как Вильгельм вернулся в Берлин, Николай стал очень пренебрежительно отзываться о нем в письмах к Паскевичу. Напр., 10/22 июня Николай пишет: „Приезд принца прусского самая плачевная глупость, после того я на него мало имею надежды, ибо кажется, что он потерял дух“ (Щербатов VI 228).

Еще любопытнее другая записка, которая сочинена приблизительно в то же время, но, вероятно, несколькими днями раньше [1]). В ней Николай предусматривает гораздо более решительное вмешательство в прусские дела и не находит нужным дожидаться осложнений с Францией или южной Германией. Достаточно, если пруссаки не выполнят последних русских требований, не выведут своих войск из Ютландии, нападут на Голштинские острова. Николай хотел бы собрать на прусской границе до 250.000 человек, не считая гренадер и гвардейского корпуса, и одновременно с переходом границы обратиться с воззванием к населению. Николай предполагал заявить, что глубокие русские симпатии к Пруссии остаются неизменными. и что русские вступают на прусскую территорию именно по старой дружбе. Пленившие короля бунтовщики заставили его провозгласить растворение Пруссии в Германии. Русские хотят воскресить старую Пруссию и пришли, как в 1813 году, освобождать ее от ига, только от ига, еще более разрушительного, чем наполеоновское. Одновременно Николай думал обратиться к генералу Дона, убеждать его последовать примеру генерала Йорка и, во имя спасения родины, присоединиться к русской армии. Но если русские наткнутся на сопротивление, силе надлежит противопоставить силу. Дойдя до Вислы, русские остановятся и заявят, что будут занимать Восточную Пруссию до тех пор, пока королю датскому не будут возвращены полностью его владения. Русский флот присоединится к датскому и подвергнет блокаде прусские гавани, но предоставит Кенигсбергу и Мемелю торговать с Россией, чтобы тем возбудить в местном купечестве симпатию к России. — Ну, а если в Германии и Пруссии восторжествует революция и тяга к слиянию Шлезвига и Гольштейна с великим и единым немецким отечеством? Николай не говорит этого прямо, но русско-прусская граница, повидимому, навсегда будет в таком случае продвинута до Вислы, которая станет надежным оплотом и против коммунистов, и против пруссаков, и против польских повстанцев. Равновесие на Балтийском море будет сохранено даже при умалении Дании. Оборона Дании причудливо перепутывается у Николая с мечтами о прусской реставрации и с планами завоеваний во имя обороны жизненных русских интересов. Вторая программа переходит незаметно в третью. Но при крайней, почти наивной, уверенности царя в своей правоте вполне возможно, что даже эту записку он назначал для прусского читателя.

[1]) Госуд. Арх. III 148. Записка не датирована. Но по содержанию она может быть отнесена только к 1848 году. Сверх того, Николай утверждает в ней, что русскую армию можно сосредоточить на прусской границе в начале июня.—Нужно прибавить, что сходный план занятия В. Пруссии по Вислу разработан у Николая в той записке, которая приложена к письму Паскевичу от 29 июня 1848 г. (старого стиля), но которая составлена за два месяца до того (Щербатов VI 230—234).

VIII.

Когда сопоставляешь слова и дела Николая в 1848 году, гневные, жесткие, даже жестокие, с думами и чувствами Фрица, последние кажутся мягкими в самой своей решительности, нежными даже в насмешках над немецкой революцией и может быть над самим собою, трогательными в своей привязанности к петербургской родне. Король действительно в плену, но не столько у революции, сколько у своей трагической судьбы и своей собственной души, так плохо приспособленной к выпавшему ей жребию. Прежде всего и во что бы то ни стало король хочет сохранить мир с Россией, несокрушимой Россией.

В мае либеральные министры настойчиво советуют ему отставить ненавистного левым смирителя поляков, генерала Колона (Colomb), как мы знаем столь милого Николаю. Король решительно противится и 18 мая 1848 года пишет Кампгаузену: „Ганземан хочет, чтобы я принес ген. Колона в жертву французам. Ганземан хочет войны с Россией, — войны, которой не смог довести до конца Наполеон. На подобную глупость я считаю способным только одного человека, Тьера. Отставка Колона и негодование армии, которое за нею последует, произведут ужасное впечатление на императора Николая, я знаю это совершенно точно. Это одно делает меру несчастною, злополучною. Наоборот, вмените Арниму в священнейший долг сделать все совместимое с честью, чтобы удовлетворить Россию. Степень возбуждения я знаю гораздо вернее, чем из всех дипломатических реляций, из письма моей сестры-императрицы; она не холодная, старая государыня, а самая горячая, верная, любящая, полувековая подруга моего сердца! Я об'являю вам самым твердым образом: я никогда не буду с Францией против России; не только потому, что это безумно, но и потому, что это дурно. Если я попаду в такие теснины (Бог мне свидетель, не по моей вине!) и не смогу из них выбраться, я отрекусь. Наверно и подлинно. Так сказано“ [1]).

Должно быть с облегченным сердцем робкого человека, наконец принявшего героическое решение, Фриц в сентябре 1848 г. сообщает Николаю о своем намерении не терпеть более берлинских бесчинств, вступить в непримиримую борьбу с прусскими и германскими революционерами. „Славная немецкая революция вступила в такую фазу, где идет речь о самом бытии короны в Пруссии, или вернее о бытии самой Пруссии

[1]) Briefwechsel mit Ludolf Camphausen (1906) 97—99. Не менее твердо говорит король и в письме ко всему министерству от 4 июня (ib. 144).—Впрочем, уже 2 мая нового стиля Александра Феодоровна получила от короля письмо, в котором, по словам Николая, он говорит, что поляки мошенники и что он желает, чтобы они попались в руки Паскевичу, чтобы Паскевич мог их повесить (Щербатов VI 217).

и Германии. Представители красной республики, которые повсюду в Германии и за ее пределами образуют одно тело, с помощью криков черни, заставили Певческую Академию постановить 7 сентября, что она может отдавать приказы моим министрам. Это республика или, если угодно, еще хуже, анархия!" Король решил аннулировать постановление от 7 сентября. Если палата ослушается, король силою заставит ее подчиниться. Возможно, что королю об'явит войну партия черни в церкви апостола Павла, что разгорится борьба между доброю старою лояльною Пруссией и немецкою революцией. Робко и трогательно Фриц спрашивает Николая: „Если, вопреки ожиданию, я буду вынужден покинуть Берлин перед всеобщим восстанием, придете ли вы ко мне на помощь, если я буду умолять о ней?".

Даже на этот трогательный призыв Николай отвечает (14/26 сентября) укоризненно, сурово, безжалостно, требованием всенародно покаяться во всех содеянных грехах, стать на почву чистого самодержавия [1]). „Знать, что старая прусская монархия, наша тесная союзница, что ее король доведены до такой крайности, что их может спасти только кровопролитная гражданская война, это одна из тех ужасных истин, кои повергают душу в трепет... Я предвидел все с той поры, как, по вашему велению, Пруссия должна была отказаться от традиций, которые в течение веков созидали ей славу, мощь, богатство... Эта старая Пруссия перестала быть, чтобы раствориться в Германии, с нею исчезло и наше тесное единение. Россия не может притти на помощь державе, которая отреклась от своих традиций, которая отныне осуждена барахтаться в тине конституционных форм и быть во власти революционных учреждений. Если республика сменит в Пруссии монархию, русское правительство ограничится мероприятиями, обеспечивающими неприкосновенность русских границ. Переступить их она может, чтобы восстановить не конституционную Пруссию, а ту Пруссию, которая была в славные дни Ваших предков, которую передал Вам Ваш обожаемый папа... Россия всегда будет верной союзницей своей старой подруги, доброй старой лояльной Пруссии, как вы ее называете,—когда эта Пруссия возродится. Если не немцы соберутся под знаменем баррикад, а старые пруссаки под древним прусским знаменем, то русский орел будет рядом, ибо Россия умеет забывать обиды, не нарушает своих договоров и не отрекается от своих традиций. Один Бог знает, суждено ли нам когда вновь это счастье".

Нет, вопреки своим словам, Николай плохо забывал обиды. И все-таки призыв Фрица должен был глубоко его обрадовать, как предвестник скорого поворота вспять. Сходные известия

[1]) Оба письма в извлечениях у Мартенса VIII 376—378.

могли приходить в Петербург и из других источников [1]). В самой тесной связи с обращением Фрица стоит любопытная и длинная записка Николая с разработанным планом прусской реставрации [2]). Политический небосвод начинал яснеть голубыми просветами. Стойкий в своих принципах, но нервный, впечатлительный, шаткий в расценках соотношений сил, Николай от политической безнадежности быстро переходил к бодрым чаяниям. Он уже не сомневался в близости и успешности контрреволюционного, военного переворота в Пруссии. Он только не знал, насколько отхлынет отлив. Он жадно хотел полного возврата к старому порядку, не желал мириться ни с какими остатками конституционности. Февраль был в его глазах не лучше марта, Соединенный Ландтаг не лучше Певческой Академии. Натура активная, он стремился приложить руку к торжеству старины и разработал план реставрации, вероятно имея в виду познакомить с ним вождей прусской реакции.

Своим величием Пруссия обязана воинскому духу и победам своих государей и своего населения. Ф. Вильгельм III тесно связал устройство армии с общим административным укладом. За печальным исключением народного образования, все было проникнуто воинским духом, ибо каждый проходил через ряды армии и привыкал к воинской дисциплине. Вплоть до кончины Ф. Вильгельма III, вся Пруссия была единым обширным военным поселением, единым военным лагерем, единою вооруженною нациею, которая следовала только голосу своего государя, следовала радостно и блаженно.

Что же заставило ныне царствующего короля подрыть основания такой организации, поставить на ее место правительство с конституционными формами? Разве страна была несчастна, бедна, недовольна? разве страдали промыслы, искусства, науки? разве королевство не являло самого богатого и счастливого вида, какой только можно себе представить?

Рассмотрим хваленые конституционные формы. Можно ли сколько-нибудь последовательно прилагать их к стране, по существу своему военной и привыкшей повиноваться единой воле. Там, где перестают приказывать и подчиняться, где позволяют пускаться в словопрения, там больше нет дисциплины, нет прежнего регулярного принципа: обязательное повиновение сменяется добровольным. Отсюда беспорядок в идеях, противоречие прошлому, нерешительность в настоящем, полное неве-

[1]) Только не от Бенкендорфа. Даже в донесении от 2 ноября (С. Б.), всего за неделю до coup d'état, ограниченный военный агент ничего не знает о подготовке переворота, малюет общее политическое положение в густо мрачных тонах.

[2]) Госуд. Арх. разряд III № 148. Семь страниц большого почтового формата. По изложенным в тексте соображениям, составление записки приходится отнести к сентябрю или октябрю.—8/20 сентября в Петербурге получили донесение Мейендорфа о „близко последовать имеющем решительном перевороте в Берлине" (Николай Паскевичу, Щербатов VI 251).

дение будущего, непонятного и невозможного. Чтобы остаться тем, чем она была, большою и мощною военною державою, Пруссия должна вернуться к своим старинным учреждениям, основанным на опыте и традициях. Иначе она перестанет быть военною державою, спустится в разряд государств, может быть и обширных, но слабых, с пестрыми, разнородными местными интересами, подверженных всем колебаниям болтовни и настроения ста—двухсот хозяев.

Позволительно надеяться, что готовящееся против Берлина военное движение поставит себе верную цель. Нельзя желать самоубийства. Взяться за оружие, чтобы укрепить жалкий февральский строй, ведь это преступление, гибель Пруссии. Наоборот, единовременное для всей монархии, идущее от имени короля военное движение с целью восстановить старинный порядок вещей представляется Николаю вполне возможным. Нужно только, чтобы король выяснил свои намерения, обратился к подданным с торжественным заявлением о том, что в марте он не мог допустить гражданского кровопролития и потому уступил народным желаниям, даровал конституционные учреждения, хотя хорошо сознавал их противоречие народному духу и национальным интересам. В настоящее время это противоречие осознано всеми благомыслящими пруссаками, а почти ежедневные бесчинства отвратительных подонков берлинского населения представляют угрозу для жизни и собственности. Настало время покончить с недопустимым, недостойным порядком вещей. Опираясь на непоколебимую верность армии, сохранившей свою чистоту среди всех испытаний, король отменяет все, что произошло с февраля 1847 и восстанавливает бывшие тогда в силе законы и регламенты.—Николай уверен, что королевскую прокламацию будут с восторгом слушать военные, благомыслящие штатские без различия классов, запуганные собственники, наконец, честные поселяне.

Все республиканцы Германии, Франции, Англии, конечно, подымут вой протеста. В самой Пруссии найдутся жалкие люди, которые будут кричать, что король нарушил свою клятву. На них не надо обращать внимания. В Германии нет армии, способной воевать с Пруссией. Ганновер, Гессен, а может быть и Саксония, вероятно, последуют прусскому примеру. Австрия еще в таком ненормальном состоянии, что нельзя предвидеть даже ее близкого будущего. Но даже в Австрии замечаются признаки улучшения: правительство стало чуть тверже, армия осталась верна и покрыла себя славой в Италии. —Одним словом налицо все основания рассчитывать на успех предлагаемого плана реставрации. Нет уверенности только в одном—в наличности единой твердой воли, которая взяла бы на себя осуществление спасительного плана.

Такой воли действительно не было у бедного Фрица. Личные свойства прусского короля лишь в малой доле об'ясняют

частичность, робость прусской реакции. Но ведь Николай считал государей вершителями народных судеб и возлагал почти всю вину на шурина. Фриц даже не вернул Пруссию к февральскому строю: в Пруссии уцелело многое из завоеваний ненавистного Николаю 1848 года. Уцелела конституция, „венец всем глупостям последнего времени“ (Щербатов VI 254). Николай мог смотреть на Пруссию только с недоверием и неприязнью, тем более что Фриц не сразу отказался от полудемократической политики национального об'единения. Зато в Николае зарождаются, а в 1849 быстро крепнут симпатии к Австрии, которую в первые месяцы революции он презирал до глубины души.

Все таки конец 1848 года принес Николаю много отрадного. Исполнились предсказания царя. Крепли принципы „порядка“. Быстро сходила на нет „революционная тля“. Николай исполнялся навуходоносоровой гордыни—Николай торжествовал.

А. Савин.

Витте накануне русско-японской войны.

Документальный комментарий к „Воспоминаниям“ гр. С. Ю. Витте.

Дорогому учителю Александру Евгеньевичу Преснякову — к 30-летию ученой деятельности.

I.

Если, перечитывая Воспоминания Витте, попробовать дать себе отчет в том, каков устойчивый состав представлений и суждений их автора, то среди них одним из наиболее прочных, ясных, легко мобилизуемых и, можно сказать, любимых, ставших потребностью, придется признать следующее: самое ужасное событие царствования Николая II (до 1912 г.), событие роковое по своим последствиям для России — это японская война 1904—1905 г.г.; никто так не предвидел ее, никто так не боялся ее и никто не приложил столько усилий в борьбе за то, чтобы ее предотвратить,—как он, Витте. В разных местах своих стенографических записей и собственноручных записок, вошедших в печатный текст Воспоминаний, Витте нет-нет, да и вернется к этому обороту мысли на тему о своей проницательности. Внутренняя правдивость этого излюбленного суждения, при некотором знакомстве с документами, относящимися к вопросу, не подлежит спору. Действительно, Витте так туго связал свою государственную карьеру с мыслью о безусловной недопустимости для России войны на Дальнем Востоке и необходимости предотвратить ее во что бы то ни стало, что предпочел лучше расстаться с властью (август 1903 г.), чем сделаться соучастником в политике, „вызвавшей“ войну.

Как известно, последним существенным поводом к войне послужило нежелание России эвакуировать из Манчжурии войска, введенные туда в 1900 г. для охраны Восточной Китайской железной дороги во время боксерского движения. Военная оккупация китайской провинции приняла затяжной характер и повела даже к выработке особых „оснований русского правительственного надзора в Манчжурии“. Лишь 26 марта 1902 г. подписан был договор с Китайским правительством об условиях эвакуации Манчжурии: она должна была быть проведена в несколько приемов в точно определенные сроки и закончена

к 26 августа 1903 г. Но по вопросу об исполнении договора в русских правительственных кругах обозначилось три течения: Витте и министр иностранных дел граф Ламздорф настаивали на безоговорочном выполнении условий договора 26 марта, военный министр Куропаткин считал необходимым удержать в руках русских военных властей северную Манчжурию и, наконец, Николай II, в согласии с Безобразовским кружком, склонялся к сохранению маскированной оккупации важнейших стратегических пунктов Манчжурии и корейской границы при посредстве переодетых в рабочее платье солдат и иррегулярных отрядов назначенных охранять русские концессии. Эта последняя программа действий на Дальнем Востоке, привитая сознанию царя еще в 1898 г. и рассчитанная в свое время на утверждение русского скрытого экономического и политического господства в Корее, ставила на очередь теперь приобретение возможно бо́льшего количества концессий в Манчжурии и обращение давно-приобретенной на левом, корейском, берегу р. Ялу лесной концессии в стратегический „заслон“ от ожидаемого нападения японской армии с корейской границы.

Победа Безобразской программы обозначилась осенью 1902 г. довольно явственно и, что касается Витте, даже резко. Николай не пожелал выслушать только-что вернувшегося с большим докладом из поездки на Дальний Восток министра финансов и поставил Витте, воспользовавшись его отсутствием, перед совершившимся фактом—из'ятия торгового мореплавания из ведения министра финансов и образования особого для того Главного Управления с личными недругами Витте, вел. кн. Александром Михайловичем и адм. Абазою (двоюродным братом А. М. Безобразова) во главе. А в конце этого года А. М. Безобразов, не имея еще никакого служебного положения и оффициального поручения, отправился в Манчжурию, снабженный, как скоро обнаружилось, полномочиями привести в действие сказанную программу. Не останавливая оффициально эвакуации, Николай дал полный ход политике концессионного приобретательства и маскированной военной оккупации очищаемой территории,— распорядившись, чтобы Безобразову был открыт кредит из средств государственного казначейства в 2 миллиона рублей „на известное Е. И. В-ву употребление“ [1]).

В течение пяти лет (1898—1902) Безобразовская „затея“— открыть действия „русской“ и „христианской“ Восточно-Азиатской Промышленной Компании, негласно подчиненной „русскому царю“ и управляемой его „верными“ „слугами“, и монополизи-

[1]) Об изложенном см. м о и очерки: „Концессия на Ялу“ в сборн. „Русское Прошлое“. Петр. 1923. № 1“ и „Витте и концессия на Ялу“ в „Сборнике статей, посвященных С. Ф. Платонову. Петр. 1923“. Ср. также доклад о поездке, представленный Безобразовым по возвращении в Петербург (Г л и н с к и й, Пролог русско-японской войны“. Петр. 1916. с. 260 сл.).

ровать в ее руках разработку естественных богатств „зарубежных стран Дальнего Востока"—оставалась висеть в воздухе за отсутствием денежных средств: царь, раз по началу (1898 г.) отпустив 250 тыс. руб., перестал давать их из сумм Кабинета и все уклонялся от прямого приказания министру финансов выдать их из средств казны. Теперь, с открытием вышеупомянутого 2-миллионного кредита, дело принимало крутой оборот и, казалось бы, безнадежный для Витте характер. Однако, „крестъ на дѣлѣ Дальняго Востока" он поставил не теперь, в январе 1903 г., и даже не 6 мая, когда Безобразов был назначен статс-секретарем по делам Дальнего Востока, а лишь 30 июля того же года „въ день утвержденія намѣстничества" [1]).

На что мог еще рассчитывать Витте? Переубедить царя, пользуясь отсутствием вдохновителя всей „затеи"? Вразумить и перетянуть на свою сторону Безобразова? Воздействовать на Николая через близких ему лиц? — Документально устанавливается, что все три пути были перепробованы Витте, и все — неудачно. Но Витте не упустил случая испытать и еще один: сделать царя как бы невидимым спутником и наблюдателем Безобразова в расчете на то, чтобы поколебать доверие хозяина к его агенту. Так первые три месяца 1903 г. стали для Витте временем последней борьбы, и в нее он вложил всю свою изобретательность „на почве служебной эквилибристики", в которой до той поры не знал себе равных соперников. Сохранились документы, благодаря которым возможно очень близко присмотреться к Витте за плетением паутины, предназначенной заманить и опутать только-что получившего все шансы врага.

Как только Безобразов прибыл на Дальний Восток, о каждом шаге его стали поступать к Витте обстоятельные донесения. Витте имел там первоклассную деловую агентуру, лично ему преданную, исполнительную и искушенную в понимании, чего требует Петербург. Обычно сообщавшиеся ему в копиях от министра иностранных дел гр. Ламздорфа донесения дипломатических чиновников мало прибавляли к содержанию щедрых телеграмм и пространных почтовых присылок служащих Русско-Китайского Банка, Манчжурского Горнопромышленного товарищества, Китайско-Восточной железной дороги и прямых агентов министерства. В данном случае донесения эти, по плану Витте, должны были играть особую роль. Все они шли шифром, дешифрировались канцелярией и подавались Витте в кабинет переписанные на машинке. Большей частью Витте сам писал на своем экземпляре подробное содержание ответа. В тех случаях, когда телеграмму или письмо предполагалось везти в о дво-

[1]) „Воспоминания гр. С. Ю. Витте", Берлин, 1922, т. I, с. 215. Наместник подчинялся непосредственно императору, и министры устранялись от управления окраиной. В частности дипломатические сношения шли тоже через наместника, который получал указания непосредственно от царя.

рец, текст ее подвергался собственноручной правке, даже цензуре, министра и затем переписывался на слоновой бумаге к докладу. Николай прочитывал и ставил знак прочтения, иногда клал собственноручную резолюцию или приписывал на поле реплику. В иных случаях Витте подчеркивал в тексте те слова, к которым ему важно было привлечь внимание царя. Никакого сопроводительного доклада при представлении донесений не составлялось: осторожнее было не надоедать собственной аргументацией, полагаясь на силу подлинных впечатлений нескольких лиц различных положений, профессий, манер и стилей [1]).

II.

Безобразов уехал из Петербурга в конце декабря 1902 г. „при полном, казалось, содействии С. Ю. Витте, с которым виделся и сговорился до от'езда" [2]). Однако Витте под содействием разумел не совсем то, чего мог ожидать Безобразов, и, сговариваясь с последним, не имел в виду сотрудничества с этим „полупомешанным" и „честным" человеком. Чем искреннее приписывал Витте эти качества Безобразову, тем менее допустим тот был для Витте в роли деятеля и тем более активного участника в управлении на Дальнем Востоке. Удержать там все в своих руках при сложившихся обстоятельствах Витте надеяться не мог и вынужден был теперь итти на уступки, чтобы локализовать опасность. Но Безобразов, по самой природе своей, решительно не поддавался локализации и дисциплине. Как бы не расценивать политические качества дальне-восточной программы и тактики Безобразова, нельзя отрицать, что его увлекала именно политическая сторона вопроса о концессионных предприятиях на Дальнем Востоке, а к ней то и относилось коренное разномыслие у него с Витте. Наоборот, собственно хозяйственный, предпринимательский интерес к концессиям, как и заботы о них вне политического их значения, были чужды Безобразову. Его пришлось бы министру финансов принимать целиком, со всеми

[1]) Переписка „о пребывании на Дальнем Востоке д. с. с. Безобразова" собрана в делах № 114а и № 1146 3 отд. Общей Канцелярии Министра Финансов. Содержание переписки довольно обстоятельно было уже использовано—для описания деятельности Безобразова и его агентов в Манчжурии—в той исторической справке о событиях на Дальнем Востоке с 1896 по 1904 г., которая была издана отдельною книгою дважды: 1) г. Глинским под заглавием „Пролог русско-японской войны. Материалы из архива гр. С. Ю. Витте". Петр. 1916, и 2) Pierre Marc'ом под заглавием „Quelques années de politique internationale. Antécédents de la guerre russo-japonaise. Leipzig 1914.—К этим публикациям и отсылаем читателя.—Отрывки „Дневника" А. Н. Куропаткина, напечатанные в № 2 „Красного Архива" за 1923 г., заключают в себе любопытный материал для характеристики „Безобразовщины"; книжка „Красного Архива" вышла, однако, когда настоящая статья была уже набрана, и автору не удалось использовать здесь материал „Дневника" в той мере, как он хотел.

[2]) Д. № 278 того же архива, л. 91. Исторический очерк корейской лесной концессии, составленный Вонлярлярским.

последствиями, какие несла с собою его беспорядочная, увлекающаяся голова, вместе с фавором, каким он пользовался у Николая. Для Витте отсюда вытекала необходимость выбрать из безобразовского кружка человека, у которого коммерческий инстинкт преобладал бы над политическим интересом, и, выдвинув его в лидеры кружка „концессионеров", придать безобразовской „затее" исключительно частно-коммерческое направление, заключив ее в легальные рамки и введя под надзор и влияние той администрации, которая, за вычетом военных, подлежавших эвакуации, сложилась на Дальнем Востоке в послушное орудие политики министра финансов. Тут нужен был именно не „честный" политический фантазер, а делец—категория людей, воздействие на которую не представляло для Витте каких-либо затруднений. Пусть наживаются, если сумеют, лишь бы не мешались в политику—такое „содействие" Витте, повидимому, готов был теперь оказать кружку с тем, чтобы выключить из игры Безобразова. И Витте попробовал войти в этих целях в сношения с В. М. Вонлярлярским (соратником Безобразова по концессии на Ялу), предпринимательские склонности которого выступили, как то знал Витте, довольно настойчиво—и при том вне связи с безобразовским кружком—в Чукотском предприятии, бывшем „собственным делом" Вонлярлярского [1]).

После от'езда Безобразова Витте, „видя твердое желаніе Государя упорядочить финансовую политику на Дальнем Востокѣ, нѣсколько разъ бесѣдовалъ съ Вонлярлярскимъ" [2]). Предметом этих бесед была не более не менее, как передача всех концессий, собранных в руках Манчжурского Горнопромышленного Товарищества, лично Вонлярлярскому для эксплоатации их с помощью иностранного капитала—принцип, на котором строились и Чукотские планы Вонлярлярского. Уже 12 февраля 1903 г. последний писал царю, что „министръ финансовъ изъявилъ готовность сообщить" ему („мнѣ") „тѣ мѣропріятія, которыя были имъ приняты для захвата возможно большаго количества концессій въ Манчжуріи, и предложилъ передать ихъ" ему („мнѣ") „для оборудованія при помощи иностранныхъ капиталовъ". [3]). При этом

[1]) Ib. л. 81. См. также брошюру: „Чукотскій полуостровъ. Экспедиціи В. М. Вонлярлярскаго и открытіе новаго золотоноснаго раіона близь устья р. Анадыря, 1900—1912 г.".

[2]) № 278, л. 91.

[3]) „По ознакомленіи съ документальной стороной дѣла оказалось, что для этой цѣли весной минувшаго 1902 г. было образовано Министромъ Финансовъ фиктивное Горнопромышленное Товарищество изъ слѣдующихъ лицъ: Директора Канцеляріи Министра д. с. с. Путилова, начальника Отдѣленія Кредитной Канцеляріи ст. сов. Давыдова (онъ же Директоръ Русско-Китайскаго Банка) и банковскаго дѣльца Ротштейна. Означенное Товарищество черпало необходимыя средства непосредственно изъ Государственнаго Банка; Русско-Китайскій банкъ въ денежныхъ выдачахъ или ссудахъ не участвовалъ, а помогалъ своимъ личнымъ составомъ на мѣстахъ. Канцелярія Товарищества помѣщается въ Международномъ банкѣ у Ротштейна. На средства Товарищества, или иначе, на средства Государственнаго банка былъ командированъ въ Манчжурію, минувшимъ лѣтомъ, горный инженеръ Граумант съ двумя помощниками для производства изслѣдованій и описанія концессій".—Ib. л. 42, докумен. № 166, всеподданейшій доклад Вонлярлярского 12 февраля.

Витте приказал выдать Вонлярлярскому и „подробную опись всѣмъ концессіямъ, полученнымъ этимъ Товариществомъ". В этом „мнѣ" и вскрывается истинный замысел Витте. Любопытно, что ему удалось Вонлярлярского же вовлечь и в оборотную сторону замысла: слико возможно скорее удалить Безобразова с Дальнего Востока. Вонлярлярский, по собственному его признанию, „по соглашенію съ Витте, совѣтовалъ Безобразову вернуться скорѣе въ Петербургъ" [1]). А тем временем продолжал „неоднократно бесѣдовать" уже не только с Витте, но и с Плеве и с Абазою, „причемъ"—сознается Вонлярлярский—„Абаза сообщилъ, что Его Величеству благоугодно имѣть въ виду привлечь" его, Вонлярлярского, „къ практическому осуществленію этого дѣла и поставить во главѣ Правленія будущей Компаніи" [2]).

Витте, при таких обстоятельствах, могло казаться, что дело стало на им намеченный путь. По крайней мере, „по возвращеніи съ Дальняго Востока, Безобразовъ имѣлъ нѣсколько свиданій съ С. Ю. Витте, который съ большимъ интересомъ разспрашивалъ его о вынесенныхъ впечатлѣніяхъ и высказалъ полную готовность работать отнынѣ сообща" [3]). „Я буду просить Государя" —сказал Витте—„чтобы онъ разрѣшилъ мнѣ разработать этотъ вопросъ съ Вонлярлярскимъ, такъ какъ мы другъ друга понимаемъ (курсив наш. Б. Р.); а Вы, Александръ Михайловичъ, не вмѣшивайтесь въ экономическую и финансовую область, въ которой Вы не имѣете достаточной опытности". Можно догадываться, что „разработка" этого вопроса с Вонлярлярским, который, как видно, прельстился участием в Правлении К°, поведена была бы Витте к тому, чтобы пересадить К° на „иностранные капиталы" при помощи Ротштейна (родственника Ротшильда), одного, как упоминалось, из членов Манчжурского Горнопромышленного Товарищества. Так понял смысл слов Витте во время февральской беседы на эту тему и Вонлярлярский, докладывая царю (в письме от 12 февраля), что, по его мнению, „совмѣстная товарищеская работа съ Ротштейномъ невозможна": значит Витте формально устраняясь, как министр финансов, от вмешательства в дела каких бы то ни было концессий в Манчжурии, имел в виду фактически подчинить себе деятельность К°, финансируя ее—безразлично из каких средств—лишь бы они носили личину не казны, а иностранного про-

[1]) Ib., л. 94: „дабы выяснить общее положеніе принципіально"—правда, оговаривается Вонлярлярский.

[2]) Ib., л.; разумеется „Восточно-Азиатская Промышленная К°", спроектированная Безобразовым еще ранее и имевшая получить монополию на все концессии. Ср. указ. выше мои очерки.

[3]) Д. № 278, л. 95.

исхождения [1]). Если бы этот замысел Витте удался, доступ „политическому фантазерству“ в вопрос о судьбе „русских экономических интересов“ на Дальнем Востоке, под предлогом забвения которых шел напор со стороны безобразовского кружка, был бы значительно затруднен.

Понятно, что в отсутствие Безобразова из Петербурга дело с передачей концессий Манчжурского Горнопромышленного Товарищества Вонлярлярскому и с постановкой последнего во главе новой частной акционерной компании решиться не могло, и Вонлярлярский „отклонилъ предложеніе С. Ю. Витте“—до возвращения Безобразова [2]). Пока Вонлярлярский вел „неоднократныя“ беседы с Плеве и Абазою, подготовляя свой личный успех, Витте с своей стороны развернул игру, которая должна была подготовить почву для удачи всей его комбинации.

III.

Первое известие о прибытии Безобразова на Дальний Восток пришло к Витте 30 января и было тревожным. Финансовый коммисар в г. Дальнем Протасьев телеграфировал: „На нѣкоторое время прибылъ изъ С. Петербурга д. с. с. Безобразовъ съ цѣлью полученія горныхъ концессій въ Манчжуріи. Будучи довольно пустою личностью, онъ, вѣроятно, имѣетъ большія связи, ибо здѣсь очень за нимъ ухаживаютъ. Онъ не стѣсняется при случаѣ поносить политику Министерства Финансовъ“ [3]). Как видим, мир между давними противниками не установился во время декабрьских разговоров, и Безобразов с первых же шагов вступил в заочную борьбу со „всесильным“ до той поры министром. Первым движением Витте было представить телеграмму Протасьева Николаю, повидимому лишь с целью указать на недопустимость такой агитации против министерства; поэтому слова, относившиеся к „личности“ Безобразова, были вычеркнуты Витте: грубость их усугублялась тем, что они ничем не раз‘яснялись в тексте. Но и в таком подправленном виде экземпляр телеграммы, приготовленный к отсылке в Царское, остался не представленным царю. Витте не поднял брошенной перчатки и решил попытаться воздействовать на Безобразова в благоприятном для министерства смысле, а пока ждать более подробных донесений.

На другой же день, 31 января, от Д. Д. Покотилова, всегда очень обстоятельного корреспондента Витте, агента министерства, командированного для службы в Пекинское Отделение Русско-Китайского Банка, получены были необходимые

[1]) Ротштейн был привычным сотрудником и орудием Витте с самого начала—и в Правлении Русско-Китайского Банка и в Правлении Кит.-Вост. ж. д.

[2]) Д. № 278, л. 92

[3]) Д. № 114, ч. I, л. I.

конкретные сведения [1]). Из телеграммы Покотилова явствовало, прежде всего, что Безобразов, вступив на Манчжурскую территорию, тотчас же подпал под наблюдение Покотилова и банковских агентов; что, во-вторых, он „всѣ неудачи, которыя мы терпимъ въ Манчжуріи“, приписывает „враждебному отношенію нашихъ министерствъ другъ къ другу, и хлопочетъ объ устраненіи вреднаго вліянія этой вражды“; что, в-третьих, наконец—и это главное—он „имѣетъ намѣреніе переговорить“ с Покотиловым „о наиболѣе вѣрномъ способѣ завязать торговыя и промышленныя связи съ китайцами, а равно о средствахъ скорѣйшаго достиженія разрѣшенія китайскимъ правительствомъ лѣсной концессіи на Ялуцзянѣ“ [2]). И Покотилов испрашивал инструкций, до получения которых предполагал Безобразову содействия не оказывать, как было условлено еще во время осенней поездки Витте. Таким образом, Безобразов, что называется, сам шел в руки, и Витте оставалось воспользоваться случаем окружить его возможной предупредительностью и инсценировать дружную согласованность мнений деловых людей, у которых тот будет искать указаний, совета и помощи. В момент получения упомянутой телеграммы Безобразов был на пути из Мукдена в Порт-Артур [3]). В Порт-Артуре ему и предстояло подвергнуться аттаке двух инженеров Китайской Восточной жел. дор., Сахарова и Гиршмана, которым, каждому в отдельности, было предложено „постараться познакомиться съ Безобразовымъ и ознакомить его съ дѣйствительнымъ положеніемъ дѣла въ Манчжуріи и на дорогѣ“, „сдѣлавъ это такъ, чтобы инициатива исходила отъ Васъ самихъ, отнюдь не указывая, что Вами получены какія-нибудь указанія о семъ“ [4]). В Пекин, куда Безобразов намеревался проехать из Артура, Покотилову дана была аналогичная инструкция: склонить Безобразова к точке зрения министерств иностранных дел и финансов и обратить особое его внимание на то, что оба министерства идут рука об руку. По вопросу же о концессии Покотилов должен был дать понять Безобразову, что он не в праве оказывать содействие, не получив на то указания министра; „въ случаѣ же полученія концессіи, необходимо поставить дѣло такъ, чтобы сія заслуга была приписана не Безобразову, а Вамъ (Покотилову) и министерству финансовъ“. „Т. е. нужно“—пояснил Витте эту мысль в черновом наброске ответа—„чтобы Безобразовъ не вынималъ изъ печи

[1]) Ib., л. 3, телегр. от 30 января из Пекина, № 27.

[2]) Здесь разумеется правый, манчжурский, берег р. Ялу. Концессия на левый, корейский берег приобретена была на средства кабинета его величества в 1898 г.

[3]) „Сегодня выѣхалъ изъ Мукдена въ Портъ-Артуръ“—писал Покотилов 30 января. См. предыд. прим.

[4]) Ib, л. 4, телегр. товарища министра финансов П. М. Романова, от 1 февраля.

каштановъ чужими руками“ [1]). Свиданіе Безобразова с Покотиловым представлялось Витте теперь настолько желательным, что, когда выяснилась невозможность для первого, в виду болезни, приехать в Пекин, Покотилову было дано приказание „немедленно съѣздить въ Портъ-Артуръ“ [2]). Скоро, впрочем, выяснилось, что главная партия в хоре „случайных“ знакомцев Безобразова перешла от Покотилова к Гиршману.

Дело в том, что Гиршман, не имея еще никаких указаний из Петербурга, „недѣли за три“ до получения вышеупомянутой телеграммы товарища министра, действительно случайно познакомился с Безобразовым на обеде у адм. Алексеева (главного начальника Квантунской области, будущего Наместника) и успел уже извлечь из этой случайной встречи небезинтересный для дела результат [3]). Сообщая теперь (4 февраля) о состоявшемся знакомстве и происшедшем у него с Безобразовым „весьма оживленном диспуте“ („особенно относительно г. Дальняго“), Гиршман присовокупил к этому несколько чрезвычайно важных для последующего подробностей. На другой же день после обеда и „диспута“ Безобразов посетил Гиршмана, пробыл у него несколько часов и выслушал от него обстоятельные „объясненія дѣйствительнаго положенія дѣлъ“. „Въ результатѣ Безобразовъ призналъ, что вполнѣ ошибался относительно всего этого и нынѣ убѣдился, что не только не надо прекращать, а напротивъ—не жалѣть ничего къ скорѣйшему окончанію дѣлъ, которыми де Россія должна гордиться“. Еще ценнее было то, что далее Безобразов обратился к Гиршману с двумя предложениями: совместно подписать доклад, который Безобразов намеревался представить для министерства финансов, как только основательно ознакомится с делом, и, во-вторых, „остаться здѣсь при этихъ дѣлахъ“. Но что было совершенно неожиданно для Витте, это сообщение, правда, в осторожной форме, что „адм. Алексѣевъ вначалѣ очень ухаживалъ за Безобразовымъ, но теперь, повидимому, охладѣлъ, и въ здѣшнихъ сферахъ начинаютъ придавать ему мало значенія“. Охлаждение Алексеева, если бы только это подтвердилось, открывало для Витте возможность заручиться в предстоявшей борьбе сильным союзником, которого, по его дворцовым связям и военному положению, приходилось до сих пор считать в рядах противников политики министерства финансов [4]). Если бы при этом начавшееся сближение Безобразова с Гиршманом получило дальнейшее развитие,

[1]) Ib., л.л. 3 и 5. Повидимому, одновременно Витте телеграфировал и Безобразову, рекомендуя познакомиться с Покотиловым. Упоминание об этом см. в телеграмме Покотилова от 5 февраля, Ib., л. 10.

[2]), Ib., л.л. 10, 11, 15.

[3]) Ib., л. 9, телегр. Гиршмана из Порт-Артура от 4 февраля, полученная в Петербурге 6-го.

[4]) В частности, в данном случае Алексеев был связан собственноручным письмом Николая, привезенным ему Безобразовым. Ib., л. 39.

воздействие последнего могло бы принять особый вид участия даже в редактировании формулировок мнений Безобразова в докладах. Эта подробность, несомненно, имела значение, так как вся поездка Безобразова носила характер как бы „провѣрки на мѣстѣ“ данных, представленных Витте в известном его осеннем всеподданейшем докладе [1]).

Сближение с Гиршманом продолжалось. Безобразов приехал в Порт-Артур нездоровый, и Гиршман „подъ видомъ визита къ больному навѣстилъ его“ (6 февраля) [2]). Визит обратился в „продолжительную“ беседу, так и незакончившуюся в этот раз, „почему было рѣшено возобновить свиданіе“. Через день (8 февраля) оно и состоялось, при чем Безобразов высказал, что „теперь онъ вполнѣ убѣдился, что всѣ здѣшніе дѣятели работали на совѣсть, сдѣлано много, а ошибки, конечно, были неизбѣжны“. Опять через день, 10 февраля, Гиршман „по просьбѣ Безобразова провелъ съ нимъ весь вечеръ вдвоемъ“ и „сдѣлалъ ему подробный историческій обзоръ нашей дѣятельности на Востокѣ“. Безобразов „выразилъ свое полное удовольствіе успѣхомъ дѣла и призналъ правильность нашего курса“ и в заключение „просилъ составить телеграмму министру финансовъ, которую и онъ подпишетъ и въ которой будутъ изложены содержаніе нашихъ переговоровъ и возникшіе окончательные вопросы, чтобы потомъ уже продолжать согласно указаніямъ министра финансовъ“. Наконец, 12 февраля, Гиршман, приступая к составлению названной телеграммы, „старался поколебать въ немъ тотъ безграничный восторгъ, который ему внушили адм. Алексѣевъ и наши военные въ Манчжуріи“ и „успѣлъ настолько измѣнить его взглядъ, что нынѣ онъ ограничивается желаніемъ предоставить адмиралу лишь инспекторскія права надъ охраной“ (жел. дороги) [3]).—Немудрено, что Покотилов, прибыв в Порт-Артур в эти дни частых и продолжительных свиданий, „могъ убѣдиться въ томъ, что Гиршманъ произвелъ самое лучшее впечатлѣніе на Безобразова“ и считал, „что для дѣла было бы весьма полезно, чтобы Гиршману были бы преподаны болѣе подробныя инструкціи и предложено по возможности не упускать изъ виду Безобразова и повліять на него въ смыслѣ интересовъ министерства финансовъ“ [4]). Немного спустя и сам Безобразов просил у Витте „разрѣшенія Гиршману продолжать имѣть“ с ним „постоянный обмѣнъ мнѣній,

[1]) № 278 л. Всепод. доклад Витте приведен почти целиком у Глинского, ук. соч., с. с. 190—242.

[2]) № 114, ч. I, л. 16, телегр. Гиршмана от 7 февраля.

[3]) Ib., л. л. 16, 17, 20, 22, телегр. Гиршмана от 7, 8, 11 и 12 февраля. Охранная стража на Кит.-Вост. ж. д. подчинена была министру финансов. Безобразов, как и Алексеев, желал подчинения ее командующему войсками, главному начальнику области.

[4]) Ib., л. 29, телегр. от 14 февраля, получена 16-го; Гиршману передана инструкция телеграфом 17-го, л. 45.

такъ какъ" считал „для себя и пользы дѣла крайне полезнымъ его запасъ свѣдѣній и ріентировку въ его соображеніяхъ" [1]).

Итак, в тот самый день, 12-го февраля, как Вонлярлярский в Петербурге писал свое письмо к Николаю о готовности министра финансов передать все правительственные концессии в Манчжурии лично Вонлярлярскому, Гиршман в Порт-Артуре „менял взгляды" Безобразова и редактировал его мысли и манчжурские наблюдения в телеграмме, которую Витте поджидал, разумеется, для представления царю. Отправленная 13 февраля, она несколько задержалась на телеграфе и принята была в Петербурге лишь 17 числа.

IV.

19-го февраля Витте представил Николаю для прочтения 8 телеграмм, относящихся к пребыванию Безобразова на Дальнем Востоке. Две из них были от Безобразова, две (в проектах) ответные ему от министра финансов и четыре на имя Витте от Покотилова [2]).

Первая телеграмма Безобразова от 13 февраля, как и нужно было ждать, зная, кем она составлялась, касалась, правда, одной лишь южной линии Китайской Восточной ж. д., но Безобразов признавал за то, что „все сдѣланное здѣсь по количеству и качеству не подлежитъ осужденію, а, напротивъ, заслуживаетъ лестнаго отзыва". Что касается г. Дальнего, который был тогда предметом больших разногласий и ревности противников Витте, всегда отдававшего предпочтение этому коммерческому порту перед военным Артуром, то Безобразов, „лично не бывъ тамъ, пока до окончательнаго мнѣнія еще не дошелъ, но принципіально" не находил „возможнымъ внести большое видоизмѣненіе въ начатомъ направленіи, такъ какъ очень много уже сдѣлано". Высказав далее несколько соображений об эксплоатации ж. д. линии („предоставить служащимъ право казенной службы", не придавая ей „военной организаціи", и „во всякомъ случаѣ коммерческій отдѣлъ набирать по вольному найму"), организации ее охраны (лишь инспекторский надзор над ней командующего войсками, а не подчинение командованию), укрепления г. Дальнего и необходимости „единодушія и уничтоженія разногласій" на местах, Безобразов обещал „послѣ спеціальнаго ознакомленія съ Дальнимъ такимъ же путемъ откровенно высказаться" [3]). —

[1]) Ib., л. 56, телегр. от 19-го февраля.

[2]) Ib. л. л. 25, 26, 31, 35—37, 39, 41, 43 и 52. Безобразова от 13 и 18 февраля, Покатилова от 14, две от 15, и одна от 16 февраля.

[3]) Телеграмма подписана: «Безобразов». Далее следовало: „подлинную подписалъ Безобразовъ. Шифровалъ и подлинникъ высылаю по той. Александръ Михайловичъ сообщаетъ, что одновременно копію передалъ адмиралу Алексѣеву. Гиршманъ".—В деле имеется и подлинник, писанный рукою Гиршмана и подписанный Безобразовым.

Значит „хозяйничанье" Витте и той «справы манчжурских строителей", на которую так решительно, сидя в Петербурге, когда-то ополчался Безобразов, было вовсе уже не так плохо и теперь заслуживало даже „лестного отзыва" [1]).

Проект ответа Витте не мог не понравиться царю: Витте „очень просилъ" Безобразова побывать в Дальнем и в Харбине, где „подробныя свѣдѣнія" ему дадут главный инженер дороги и его помощник, „раздѣлилъ" мнение об организации службы и охраны дороги и „совершенно" согласился относительно „единодушія и единогласія". Имея в виду уже не только Николая, но и Алексеева, которому через Гиршмана предполагалось сообщить копию этого ответа, Витте прибавлял, что Дальний, как и Порт-Артур, „находятся подъ начальствомъ такого опытнаго администратора, какъ генералъ-адъютантъ Алексѣевъ, а потому я увѣренъ, что онъ не допуститъ сколько-нибудь серьезнаго антагонизма между этими пунктами", и что у него „съ генералъ-адъютантомъ Алексѣевымъ ни въ чемъ нѣтъ разногласій, и мы стараемся другъ другу помогать" [2]).

Во второй телеграмме, от 15-го Февраля, Безобразов сообщал Витте о „положеніяхъ", к которым привели его переговоры с Покотиловым [3]). „Исходя изъ принципа необходимости въ единствѣ нашей дѣятельности здѣсь", Безобразов полагал „необходимымъ, чтобы Покотилову было поручено представительство въ Пекинѣ по возникающимъ въ качествѣ результата моихъ начинаній интересамъ, съ присвоеніемъ ему здѣсь званія участника въ центральной администраціи дѣла [4]). Для достиженія необходимыхъ результатовъ Покотиловъ имѣетъ быть освѣдомленъ обо всемъ происходящемъ въ связи съ нашимъ предпріятіемъ въ Манчжуріи". И Безобразов просил снабдить Покотилова „надлежащими указаніями въ этомъ смыслѣ".— Эта просьба ставила Витте в трудное положение. В данный момент, пока комбинация с Вонлярлярским была еще только в проекте и „наше предприятие в Манчжурии" оставалось недоступным воздействию министра финансов, Витте не мог вводить в него виднейшего агента Русско-Китайского банка. Приходилось отказывать в просьбе, но мотив Витте выбрал такой, что с ним согласился и Николай, одобривший представленный ему текст ответа: „для того, чтобы дать Покотилову инструкцію, я прежде всего самъ долженъ быть

[1]) Ср. письмо Безобразова к вел. кн. Александру Михайловичу от 15 июля 1900 г. „Сборник статей посвященных С. Ф. Платонову", с. с. 448—9, „Русское Прошлое", № 1, с. 101.

[2]) При отправке этой телеграммы Гиршману было поручено сообщить копию адм. Алексееву. № 114, ч. 1, л. 49.

[3]) В примечании к тексту телеграммы на экземпляре, приготовленном для царя, пояснено, что „Покотиловъ былъ вызванъ министромъ финансовъ въ Портъ-Артуръ по просьбѣ д. с. с. Безобразова".

[4]) Подчеркнуто красными чернилами по линейке. Под „делом" разумеется акционерная компания, „уполномоченным" которой явился на Восток Безобразов.

посвященъ въ дѣло“ [1]), указал Витте, выражая при этом надежду, что после возвращения Безобразова „мы съ Вами условимся“ [2]).—Но независимо от этого и несмотря на то, что Безобразов, как видно, вполне доверяет Покотилову, можно ли последнего ставить в подчинение первому и заставлять служить этому делу? Представленные далее телеграммы Покотилова давали на этот вопрос исчерпывающий отрицательный ответ.

Лично у Покотилова сложились вполне определенные впечатления при первом же свидании и „продолжительном разговоре“ с Безобразовым в Порт-Артуре. „Онъ говоритъ непрерывно не даетъ вставить слова, считая себя авторитетнымъ по военнымъ вопросамъ и распространяется главнымъ образомъ по поводу послѣднихъ“. Собеседник после того находился, „какъ въ туманѣ“ и пришел к заключению, что „серьезность человѣка, который считаетъ нужнымъ часами говорить съ лицомъ, имѣющимъ спеціальныя познанія, о всевозможныхъ вопросахъ самаго общаго характера, не ставя, съ своей стороны, почти никакихъ вопросовъ, представляется весьма сомнительною“ [3]). Впечатление это лишь углубилось в последующих разговорах с Безобразовым, „продолжавшихся въ теченіе двухъ дней всего около 12-ти часовъ“. Безобразов опять „считалъ нужнымъ затрагивать всевозможные предметы, начиная отъ обсужденія общаго политическаго положенія въ Европѣ, экономическаго положенія Россіи, разныхъ вопросовъ техники, морского дела и т. д. до безконечности. Очень много распространялся о своей личности, о своихъ отношеніяхъ“ к Витте, „о своей власти“ (подчеркнуто в царском экземпляре) и проч. С большим трудом удалось Покотилову придать беседе деловой характер и навести Безобразова на подробное изложение „проекта организаціи лѣсного дѣла на Ялу и Тумынѣ“. Для царя в тексте телеграммы было подчеркнуто, что Безобразов предполагает „сдѣлать центромъ нашей позиции Фын-Хуан-Чен, гдѣ (вопреки договору об эвакуации) долженъ быть сосредоточенъ складъ запасовъ и главный отрядъ аванпостовъ, которые слѣдуетъ располагать въ устьѣ Ялу, а самый отрядъ замаскировать подъ видомъ лѣсной охранной стражи“. Покотоилв указал собеседнику „на ту громадную отвѣтственность“, которая сопряжена со „столь вызывающими дѣйствіями съ нашей стороны“, и выразил „сомнѣніе въ вѣрности извѣстій“, приводимых Безобразовым, о появлении вооруженных катеров с японскими войсками на Ялу, советуя воздержаться от „какихъ либо рѣшительныхъ шаговъ“. Тот „призналъ всю

[1]) Подчеркнуто красными чернилами по линейке.

[2]) Этот ответ, как и первый, тоже пошел шифром через Гиршмана. Ib. л. 47.

[3]) Ib., телегр. от 14 февраля. Приведенный выше совет Покотилова об инструкциях Гиршману, произведшему самое лучшее впечатление на Безобразова, заключался в последних строках этой телеграммы: они, разумеется, не попали в экземпляр, представленный царю.

серьезность проектируемаго имъ шага“ и „обѣщалъ послѣдовать совѣту“. По поводу полученных Безобразовым различных концессий, „онъ самъ сознался, что они всѣ являются не болѣе, чѣмъ письменными обѣщаніями, выданными мукденскимъ цзянь-цзюнемъ нашему военному комиссару въ Мукденѣ, не исключая и ялуцзянской. Въ отношеніи ялуцзянской концессіи все дѣло ограничивается выдачею разрѣшительныхъ свидѣтельствъ на порубку лѣсовъ, каковыя свидѣтельства мукденскій цзянь-цзюнь обѣщалъ возобновить и въ будущемъ“. „Обставить въ Пекинѣ Ялуцзянское дѣло Безобразовъ предполагаетъ такимъ образомъ, чтобы предложить Китаю, въ видѣ залога исправности уплаты попенныхъ денегъ, 1.000.000 руб.» и вообще „денежными выдачами не стѣсняется“ [1]). Лучше всего, что по окончании сплава леса на Ялу в предстоящем сезоне Безобразов „собирается удалиться на покой, говоря, что въ главнокомандующіе онъ не годится, а только какъ авангардный генералъ, открывающій военныя дѣйствія“. Между тем „на-дняхъ въ Фынъ-Хуанъ-Ченъ и далѣе по Ялу-цзяну отправится экспедиція Безобразова подъ начальствомъ подполковика Мадритова съ цѣлью изслѣдованія мѣстныхъ условій и переговоровъ съ Фынхуанченскимъ даотаемъ“, которая несомненно замедлит эвакуацию. Покотилов „предупреждалъ Безобразова о крайней щекотливости всего этого предпріятія“, тем более, что „современныя отношенія Юань-шикая къ Манчжурскому вопросу заставляютъ предполагать, что со стороны Китая будетъ дѣлаться все возможное, дабы добиться отъ насъ при помощи весьма активно дѣйствующаго нынѣ въ Пекинѣ англояпонскаго союза, исполненія нашихъ обязательствъ по отношенію къ эвакуаціи Манчжуріи“ (опять подчеркнули царю). Но Покотилов не надеялся уже на отмену экспедиции и считал желательным в таком случае, согласно просьбе Безобразова, „принять въ ней участіе“ (в подлиннике было: „установить за нею извѣстный контроль“), прикомандировав к ней представителя министерства финансов [2]).

Но дело не ограничивалось личными взглядами и оценками Покотилова. Витте имел возможность указать царю, что они очень недалеки от мнения, которое, при случае, начинает высказывать о Безобразове и адм. Алексеев. „Изъ бесѣдъ“ с этим последним „выяснилось“, сообщал Покотилов в другой теле-

[1]) Разрядкой набраны слова, подчеркнутые для царя в им читанном экземпляре.

[2]) Ib., телегр. Покотилова от 15 февраля, л. л. 35—37.

грамме от того же числа, „что онъ, повидимому, смотритъ на Безобразова, какъ на весьма мало серьезнаго человѣка, вмѣшивающагося въ качествѣ диллетанта вовсѣ отрасли мѣстной военной и гражданской администраціи. Адмиралъ Алексѣевъ считаетъ себя однако связаннымъ по отношенію къ Безобразову письмомъ, привезеннымъ ему послѣднимъ непосредственно отъ Государя Императора". Алексеев „очень подробно распространялся со мною на эту тему, видимо желая, чтобы я довелъ до свѣдѣнія Вашего Высокопревосходительства его взглядъ на это дѣло. По внѣшности же, замѣчаемой здѣсь всѣми и бросающейся въ глаза, оба усиленно ухаживаютъ другъ за другомъ" [1]).—При том условии, что Алексеев, очевидно, и впредь будет ухаживать за Безобразовым, пока тот сохраняет доверие царя и распространяется, как мы видели, „о своей власти", диллетантское вмешательство Безобразова во все отрасли местной администрации будет продолжаться, не встречая ниоткуда препятствий. Всякое неосторожное выражение ему доверия будет лишь расширять размах этого вмешательства. Кому же из двух больше доверяет Николай—Алексееву или Безобразову?

Последняя телеграмма Покотилова, от 16 февраля, между прочим, заключала в себе именно известие, что Безобразову вновь выражено „полное доверие" царя, что это „сильнѣйше ободрило" его и он тотчас же „телеграфировалъ ходатайство, чтобы министерству иностранныхъ дѣлъ повелѣно было подготовить уже теперь отвѣты на тѣ протесты, которые будутъ, несомнѣнно, вызваны осуществленіемъ его проектовъ въ Манчжуріи", и что „къ уступчивости онъ склоненъ теперь очень мало". Эту последнюю строку Витте исключил из экземпляра, пошедшего к царю, но какое то значение содержанию этой телеграммы среди пречисленных он придавал и текст ее к прочтению представил. В остальном, за вычетом приведенного, текст гласил: „Безобразовъ сообщилъ вчера вечеромъ передъ моимъ отъѣздомъ изъ Портъ-Артура о полученіи имъ телеграммы отъ Абазы съ сообщеніемъ, что Государь Императоръ удовлетворился его отчетомъ о произведенныхъ имъ расходахъ, (далее подчеркнуто для царя), каковой отчетъ былъ представленъ имъ вслѣдствіе сдѣланнаго будто-бы Вашимъ Высокопревосходительствомъ заявленія, что онъ израсходовалъ всѣ порученныя ему деньги. На всякій случай сообщаю расходы Безобразова:..., всего 320 тысячъ" [2]).—Можно

[1]) Ib. л. 39, 2-ая телегр. Покотилова от 15 февраля.

[2]) „Въ Мукденѣ израсходовано 135 тыс. руб; двумъ довѣреннымъ предпріятія—подполковнику Мадритову и Животовскому выдано—первому 50 тысячъ, второму 100 тысячъ, редактору газеты „Новый Край" на изданіе англо-китайской газеты 35 тысячъ, всего 320 тысячъ". –Ib. л. л. 42 и 43, телегр. от 16 февраля из Чифу.

догадываться, что и Витте представлял данные о расходах Безобразова на всякий случай, не разойдутся-ли эти данные с представленными в отчете. А если сойдутся, то чем об'яснить, что отчет царем был потребован: подчеркнутые строки означали, что Витте тут был не при чем, так как подобного заявления он не мог делать при том условии, что Безобразову был открыт кредит в Порт-Артурском Отделении Русско-Китайского Банка в 2.000.000 руб. сразу. Значит, если в требовании отчета заключался признак неполного доверия (ибо зачем же тогда понадобилось теперь подтверждение доверия), то где же источник этой неполноты. Итак, кому же больше доверяет Николай теперь, 19 февраля,—Безобразову или Алексееву?

На всех восьми телеграммах Николай поставил знак прочтения. Лишь на той. где Покотилов высказывался за командирование в Ялу-цзянскую экспедицию представителя министерства, Николай написал: „Разрѣшите Покотилову послать своего представителя въ эту экспедицію".—В переводе на терминологию Покотилова это означало, как мы видели, что экспедиция может быть взята „подъ извѣстный контроль". Если такова была действительно мысль резолюции, то это пока и все, чего, казалось, достиг Витте своим немым докладом 19 февраля.

V.

Ближайшие две недели показали, однако, что Витте стоял на верном пути. „Полное доверие" настолько ободрило Безобразова, что он совсем уже потерял такт и меру своей болтливости. В тот самый день, когда Витте пытался расшатать доверие Николая, Безобразов в Порт-Артуре явился к Гиршману торжествующий и провел у него несколько часов. Он „прежде всего" предложил Гиршману „постъ главноуправляющаго всѣми возникающими по его иниціативѣ предпріятіями"; и сделал это в такой форме, что тот „въ интересахъ дѣла" „прямой отказъ" счел неудобным и просил лишь отсрочки для устройства семейных дел. Считая все же в принципе дело решенным, Безобразов изложил ему новые „основанія, на которыхъ онъ предполагаетъ" повести предприятие. Утопия эта заключалась теперь в том, чтобы, немедленно „доведя наши силы въ Манчжуріи до такихъ размѣровъ, что никакія угрозы не будутъ страшны", „добиться путемъ надлежащаго воздѣйствія на Юаньшикая, чтобы сами китайцы просили нашей дальнѣйшей охраны, взамѣнъ чего требовать уступки всѣхъ естественныхъ богатствъ". Эту программу Безобразов выдавал за „санціонированную", ссылаясь на телеграмму царя „объ утвержденіи слѣдующихъ мѣръ": усиление охраны в Южной Манчжурии двумя регулярными бригадами, усиление военных сил на Квантуне, разрешение экспедиции на Ялу и „подчиненіе охраны желѣз-

ной дороги генералъ-адъютанту Алексѣеву". Но последнее оказалось неправдой. Прочитав эту строку, Николай подчеркнул ее красным карандашом и приписал на поле: „Это только проектъ. О томъ же ходатайствуетъ самъ Алексѣевъ, но на этотъ пунктъ я ему ничего не отвѣтилъ. Вѣроятно, придется совершить такое подчиненіе, но теперь оно еще преждевременно" [1]).—Выходило так, что Безобразов преждевременно разгласил невызревшее еще решение царя по вопросу, к которому Витте относился очень ревниво.

Но уже и то, что было прочитано царем 19 числа, немедленно причинило Безобразову „большую непріятность". 22 об этом знал уже от самого Безобразова Покотилов в Пекине, а 25 из телеграммы Покотилова—Витте в Петербурге. Оказывается, что содержание приведенных выше телеграмм Покотилова было сообщено Безобразову „изъ Петербурга" и что „излишнею по его мнѣнію, откровенностью ихъ" Покотилов „сдѣлалъ ему большую непріятность, которую онъ, однако, хотя и съ трудомъ, исправилъ". Представляя царю, 26 февраля, эту—как видим, не менее откровенную—телеграмму Покотилова, Витте бил по тому же месту. Не следовало ли из слов Безобразова, что он предпочел бы кое-что скрыть „отъ Петербурга", чего не скрывает от чиновника, которого отнюдь не может считать „своим"? И еще. Тут же сообщалось, что Безобразов просил Покотилова выехать к нему для свидания в Цинь ван-дао, „ставя однако непремѣннымъ условіемъ, чтобы встрѣча носила случайный характеръ и чтобы такою она представлялась даже въ глазахъ генералъ-маіора Вогака" (т.-е. именно „своего", видного представителя „военной партіи").—Не была ли эта предосторожность следствием полученной „непріятности" за слишком откровенные разговоры с Покотиловым, которые Безобразов все же хочет продолжать под защитой случайности встречи [2]).

Между тем в Порт-Артуре адм. Алексеев все решительнее и откровеннее высказывал опасение по поводу приемов и начинаний Безобразова и искал способа предотвратить опасные осложнения. Его беспокоило, например, что Безобразов ведет оффициальную переписку „на бланкахъ организуемаго имъ общества, какъ будто послѣднее получило уже законное утвержденіе", и спрашивал Протасьева, „не должно ли существованіе подобнаго общества быть оффиціально заявлено Квантунскимъ властямъ". Комиссар по финансовой части мог лишь ответить, что тот „дѣйствуетъ при условіяхъ, совершенно экстраординарныхъ, не имѣющихъ прецедента, и, повидимому, мало озабоченъ упроченіемъ правового положенія создаваемыхъ имъ

[1]) Ib., л.л. 58 и 59, телегр. Гиршмана от 19 февраля из Порт-Артура. Получена 22 февраля и 23 была на прочтении у Николая.
[2]) Ib., л. 74, телегр. Покотилова от 22 февраля; доложена 26.

въ Манчжуріи предпріятій", веря лишь „въ силу штыка". На что Алексеев заметил, что „признавая этотъ взглядъ ошибочнымъ, онъ неоднократно предостерегалъ его объ опасности нелегальной постановки дѣла"—и пока без результата. Беспокоило Алексеева и то, „какъ бы экспедиція на Ялу-цзянъ, связанная со слишком произвольнымъ хозяйничаніемъ на границѣ Кореи, не вызвала опасныхъ осложненій". На этот раз Алексеев не ограничился просьбой,—не считая еще удобным выступить самому,—„протелеграфировать это для свѣдѣнія" министру финансов, а и „обѣщалъ донести о готовящейся экспедиціи министру иностранныхъ дѣлъ" [1]).

Протасьев о том не упомянул в телеграмме, но, вероятно, именно в этот же раз Алексеев просил его предостеречь Гиршмана против участия в делах Безобразова, „при чемъ выразилъ свое крайнее неудовольствіе этими дѣлами". Гиршман „счелъ долгомъ объясниться по поводу этого предостереженія" с самим Алексеевым и в тот же день (2 марта) содержание разговора передал в Петербург Витте [2]). 6 марта Николай читал об этом разговоре следующее:

„Я доложилъ ему, что безусловно не желаю принять предложеніе Безобразова и участвовать въ затѣянныхъ имъ дѣлахъ, опасаясь какой-нибудь авантюры, вполнѣ способной, въ случаѣ осуществленія мечты Безобразова, привести къ самымъ серьезнымъ послѣдствіямъ, независимо отъ безполезной затраты большихъ капиталовъ. Генералъ-адъютантъ Алексѣевъ выразилъ тотъ же взглядъ и сказалъ, что до сихъ поръ онъ надѣялся, что Безобразовъ образумится, но этого нѣтъ, и его нынѣшняя поѣздка въ Сеулъ для какого-то стекляннаго завода является непріятнымъ новымъ фактомъ, который въ дальнѣйшихъ послѣдствіяхъ можетъ вызвать серьезныя осложненія, и потому онъ будетъ считать для себя обязательнымъ доносить въ Петербургъ о дѣйствіяхъ Безобразова. Дальше онъ меня просилъ подѣйствовать на Безобразова въ смыслѣ его отказа отъ нынѣшнихъ взглядовъ, на что я отвѣтилъ, что къ этому была направлена вся моя дѣятельность, но, къ сожалѣнію, я мало надѣюсь на успѣхъ".

Недаром Витте тотчас же ответил Гиршману благодарностью за донесения [3]) и „за постоянно добросовѣстную и вѣрную службу". 9 марта Витте получил от царя записку, собственноручно написанную карандашем:

„Въ виду возвращенія дѣйств. стат. совѣтника Безобразова съ Дальняго Востока, а также въ виду его болѣзненнаго состоянія, прошу васъ сдѣлать распоряженіе о предоставленіи ему экстреннаго поѣзда до Иркутска. Н.".

[1]) Ib., л. 100, телегр. Протасьева от 28 февраля; доложена 4 марта.
[2]) Ib., л.л. 101 и 102, телегр. Гиршмана от 2 марта; получена 5, доложена 6 марта.
[3]) I в., л. 114, тел. мин. фин. от 6 марта.

Но 9-ым же марта помечена следующая резолюция, положенная Николаем на очередной телеграмме Гиршмана о том, между прочим, что Безобразов решил—„и уже приняты мѣры"—справляться со всяким иностранцем или посторонним лицом, которым удастся получить концессию в Манчжурии—с помощью хунхузов:

„Общее содѣйствіе агентовъ и служащихъ Министерства Финансовъ въ Манчжуріи частному дѣлу лѣсной концессіи на Ялу — я нахожу желательнымъ. Покотиловъ въ Пекинѣ тоже могъ бы очень помочь дѣлу своими совѣтами китайцамъ, относиться довѣрчиво къ этому предпріятію" [1]).

Таким образом, отзывая Безобразова с Востока. Николай отнюдь не отказывался от самого дела. В этом смысле, повидимому, было дано знать о „событии" и Алексееву. 11 марта Алексеев вызвал к себе Гиршмана и „сообщилъ о полученіи изъ С.-Петербурга свѣдѣнія, что отозваніе д. с. с. Безобразова", действительно, „послѣдовало вслѣдствіе доклада Министромъ Финансовъ Государю телеграммы Гиршмана о свиданіи съ Алексѣевымъ, и выразилъ, что, вѣроятно, Безобразовъ теперь будетъ стараться вредить" Гиршману. „Дальше онъ сообщилъ, что нисколько не измѣнилъ своего взгляда, но это все относится не къ дѣлу, а къ его нынѣшнему руководителю, и спрашивалъ, не сообщилъ ли Гиршманъ чего либо о неосновательности самаго дѣла" [2]).

Записка об экстренном поезде, однако, сама по себе, кроме того, что имела вид знака особого внимания царя к путешественнику, ничего достоверного о причине отъезда Безобразова в себе не заключала, и до 13 числа, когда Витте узнал, что здесь имело место отозвание, он имел некоторые основания видеть в ней лишь техническую подробность. В данном случае Витте сам сбил себе след. Было уже указано, что в план скорейшего возвращения Безобразова в Петербург Витте вовлек Вонлярлярского, и тот действительно просил Безобразова приехать для обсуждения „принципиальной" стороны предложенной

[1]) Ib., л. 110 и 111, тел. Гиршмана от 5 марта. Безобразов руководился теперь мыслью, что „Китайское правительство внутрѣ потеряло довѣріе и вѣру въ себя и неспособно противиться многочисленнымъ шайкамъ хунхузовъ, которыми намъ надлежитъ пользоваться въ нашихъ цѣляхъ".

[2]) Ib., л. 129, телегр. Гиршмана от 11 марта, получена 13 марта. Позднее (18 марта) о том же сообщил Покотилов, л. 169. — Как видно теперь из „Дневника" А. Н. Куропаткина (запись 5 марта 1903 г.) уже 4 марта царь „признал, что Безобразов увлекается", сказал Куропаткину, что „уже решил отозвать его", и „приказал вызвать Вогака, на которого и предположено возложить общее руководство лесным делом". Куропаткин высказывает предположение, что на царя повлияла телеграмма Протасьева, доложенная, как упомянуто выше, 4 марта и, как видно из записи „Дневника", именно Куропаткиным. Ср. „Красный Архив", т. II, с. 34.

министром финансов комбинации с Манчжурским Горнопромышленным Товариществом. Есть данные, что переписка Вонлярлярского по этому вопросу с Безобразовым шла к благоприятному результату в те же дни, когда Витте другим путем вел Николая к мысли о неудобстве оставлять Безобразова на Востоке при нарастающем недоверии к нему Алексеева. 7 марта Вонлярлярский обратился к Витте с письмом, в котором сообщал, что получил телеграмму от Безобразова „вчера вечером" (т.-е. 6 числа, когда телеграмма Гиршмана только что еще была прочтена и не могла возыметь известных последствий), что он надеется выехать из Порт-Артура 10 марта. Далее шла просьба предоставить Безобразову „отдѣленіе въ Пульмановскомъ вагонѣ, т. к. въ отдѣльномъ вагонѣ, прицѣпленномъ сзади, очень трясетъ". В post-scriptum'е брошено: „на счетъ остановки въ Харбинѣ я телеграфировалъ въ тотъ же день". Повидимому, последнее замечание—отголосок переговоров Витте и его корреспондента о подробностях обратного пути вызываемого, и под „тем же днем" здесь нужно разуметь не 6 марта, день получения приятной обоим телеграммы, а день, когда о Харбине между ними и шла речь. Судя по тому, что уже 3 марта Витте мог телеграфировать главному инженеру Кит.-Вост. ж. д. о намерении Безобразова „на обратномъ пути изъ Портъ-Артура въ Россію" остановиться на несколько дней в Харбине, речь об этом последнем была не позднее 3 числа. И во всяком случае намерение Безобразова стало известным из предшествовавшей 3-му марта переписки—Витте или Вонлярлярского, безразлично—с Безобразовым о его возвращении [2]).

Итак, до 13 марта у Витте, по меньшей мере, не было оснований считать, что роль пересказываемого Алексеева в атаке на царя сыграна и достигнут окончательный эффект. И Витте, пользуясь сообщением Гиршмана о готовности Алексеева „доносить в Петербург о действиях Безобразова", попытался (12 марта) подвигнуть Алексеева заговорить открыто и от своего имени—„съ полной откровенностью и безъ замедлительно въ особомъ всеподданнѣйшемъ письмѣ высказать подробно мнѣніе по поводу всѣхъ происшедшихъ обстоятельствъ", т. к. это „при томъ благоволеніи, которымъ вы заслуженно пользуетесь, можетъ только послужить на пользу вамъ и общему дѣлу" [1]). Алексеев затянул ответ и (19 числа) ограничился „сердечною благодарностью за высказанныя мнѣнія". Но от Протасьева еще раньше (16-го) Витте узнал, что дело встало на хороший путь: Алексеев поручил составить проект всеподданнейшего письма Протасьеву, а тот „конечно, без вѣдома адмирала" привлек к работе Гиршмана, „отлично знакомаго съ фактической сто-

[1]) Ib. л. 117 письмо Вонлярлярского; л. 106 телегр. инж. Юговичу от 3 марта.

[2]) Ib., л. 153 телегр. 12 марта.

роною дѣла", при этом письмо пойдет с курьером 18-го (Безобразов выехал из П.-Артура 20-го), поспеет в Петербург раньше Безобразова и будет передано царю черезъ друга Алексѣева, адмирала Ломена". На другой день дополнительно Протасьев передал в Петербург подробный пересказ проекта. Вначале шло о „горячемъ сочувствіи, котораго заслуживаютъ „задуманныя" Безобразовымъ предпріятия, о „большихъ коммерческихъ выгодахъ" и „достиженіи важной государственной цѣли ближайшаго ознакомленія населенія Манчжуріи съ преимуществами русской культуры" и т. п., затем следовала обстоятельная критика образа действий и формальных оснований, которых держался Безобразов, и в заключение признавалось, что „дѣятельность Безобразова угрожаетъ политическими осложненіями и способна въ коммерческомъ отношеніи дискредитировать хорошія предпріятія" [1]). Словом, дойди это письмо по назначению, Алексеев заговорил бы в Петербурге на языке министра финансов, но за подлинною своею подписью.

С каждым днем этот драгоценный документ становился все нужнее и нужнее для Витте. В голове его созрел очередной новый ход, в котором письму Алексеева было свое назначение. Но прошли все сроки, а письмо так и осталось в проекте. Это не расстроило самого хода, но облегчило противнику выйти из под удара и выиграть игру.

VI.

Ближайшим образом побудило Витте обратиться к Алексееву с просьбой написать царю упомянутое выше письмо—тревожное сообщение из Пекина от 10 марта [2]). Прибывшие из Мукдена китайцы передавали, что „въ Мукденѣ ходятъ слухи о сосредоточеніи въ Фынъ-хуанъ-ченскомъ округѣ большого числа русскихъ войскъ и о посылкѣ къ устью Ялу японскихъ военныхъ судовъ. По мнѣнію китайцевъ, на корейской границѣ должно произойти изъ-за Ялу-цзянскаго предпріятія столкновеніе между русскими и японцами. Утверждаетъ китайцевъ въ этомъ убѣжденіи то обстоятельство, что русскіе представители предпріятія въ Мукденѣ категорично заявляютъ, что въ случаѣ отказа китайскихъ властей утвердить ихъ домогательства, они намѣрены прибѣгнуть къ насильственному занятію интересующихъ предпріятіе мѣстностей". По полученным Покотиловым сведениям, „въ предстоящемъ концѣ марта" [3]) Юаньшикай представит двору свои проекты мероприятий против упрочения нашего влияния, „при чемъ на первомъ планѣ имѣетъ въ виду нѣсколько проектовъ военнаго характера, намѣреваясь нынѣ же

[1]) Ib., л. 172, 165, 167 и 168.
[2]) Ib., л.л. 126 и 127, телегр. Покотилова, получ. 12 марта, представлена к докладу 13-го.
[3]) Подчеркнуто нами.

командировать въ Южную Манчжурію часть обученныхъ имъ чжи-лійскихъ войскъ. Безграничная самоувѣренность Юань-шикая даетъ поводъ предполагать, что онъ ни передъ чѣмъ не остановится", „въ особенности, если онъ убѣдится въ желаніи нашемъ не исполнить нашихъ обязательствъ относительно эвакуаціи Манчжуріи, о каковыхъ намѣреніяхъ нашихъ теперь толкуетъ весь оффиціальный Пекинъ".—Получив такое блестящее подтверждение не раз высказываемых уже перед царем опасений, Витте не преминул и эту телеграмму представить во дворец in extenso. Помимо общего ее содержания, особый смысл для Витте приобретала подчеркнутая нами приблизительная дата предстоящего доклада Юаньшикая об ответных мерах на агрессивную политику России. Решать вопрос о дальнейшем ее направлении, очевидно, приходилось, учитывая намерения китайского правительства и не опаздывая против указанного срока. Для Витте должно было представляться чрезвычайно существенным, чтобы обсуждение вопроса,—как то обычно бывало, при участии заинтересованных министров под председательством царя,—состоялось в отсутствие Безобразова. Но он чувствовал бы под собою более твердую почву, если бы к моменту обсуждения в руках у него было подлинное мнение адм. Алексеева об обороте, какой придали отношениям на Дальнем Востоке начинания Безобразова. Т. обр. поскольку Витте мог влиять на назначение дня совещания, ему предстояла мудреная задача: одновременно спешить, ввиду возвращения Безобразова, и тянуть—в ожидании курьера от Алексеева.

19 числа, как сказано, Витте ознакомился с содержанием известного письма и, пропустив один день, уже запрашивал (21-го) Порт-Артур, когда отправлено письмо [1]). 24-го пришло известие, что Алексеев письма не посылал, и сообщавший это Протасьев „судя по смущенному виду адмирала" в момент передачи односложной телеграммы в ответ на просьбу министра финансов „склоненъ былъ думать, что и не пошлетъ по собственной инициативе" [2]). Так Алексеев отпал, как заочный участник предстоящего совещания. Зато и Безобразов выехал в Россию не 10 марта, как предполагал, а 20-го, и мог поспеть лишь в начале апреля, между тем как царь назначил совещание на среду 26 марта [3]). Таким образом, оба главнейшие действующие лица оказались устраненными в этот решительный для Витте момент. Вместо письма Алексеева у Витте все же нашлось, что послать в Царское 25 числа, чтобы подновить в Николае впечатление риска, связанного с предметом, назначенным к обсуждению на завтра. То была весьма кстати пришедшая теле-

[1]) Ib., л. 186 телегр. Протасьеву от 21 марта.
[2]) Ib., л. 190 телегр. Протасьева от 23 марта.
[3]) Ib., л., 192, письмо нижг. Сахарова от 23 марта. О приезде Безобразова см. Глинский, ук. соч. с. 282. Собственноручная надпись царя о назначении дня совещания—в деле № 120, ч. I.

грамма из Шанхая: „Китайскія газеты пишутъ о возможности скорой войны Россіи съ Японіей изъ-за лѣсного дѣла на Ялуцзянѣ. Позднѣевъ“ [1]).

То, что известно об „Особом Совещании“ 26 марта, по публикации г. Глинского, не совсем точно передает обстановку, в какой оно происходило, и минует некоторые подробности, при внимательном изучении имеющие свой интерес [2]). Имеем здесь простой пересказ окончательной редакции журнала Совещания и притом в той форме, какая соответствовала требованиям тона казенной „исторической справки“, преданной гласности еще в 1914 году [3]). Обращаясь к подлинным документам, видим, что дело обстояло не так просто, что „в виду направленія, которое получил въ началѣ 1903 г. вопросъ объ эвакуаціи Манджуріи... было признано необходимымъ немедленно приступить къ организаціи общества, которое проектировали иниціаторы несостоявшейся Восточно-Азиатской промышленной компаніи, для использованія его въ цѣляхъ устройства заслона манчжурскихъ и корейскихъ концессій. Въ этихъ видахъ, еще до возвращенія Безобразова изъ Порт-Артура, состоялось обсужденіе связанныхъ съ этимъ проектомъ вопросовъ въ особомъ совещаніи, въ которомъ приняли участіе генералъ-адмиралъ, министры внутреннихъ дѣлъ, финансовъ, военный и иностранныхъ дѣлъ и адмиралъ Абаза“, при чемъ „основаніемъ для сужденій совещанія... послужила внесенная въ него записка адмирала Абазы“ („Пролог“, с. 277).

Во-первых, председательствовал в совещании не вел. кн. Алексей Александрович, как выходило по пересказу г. Глинского, а царь. Во-вторых, записка Абазы действительно была прочитана в заседании, но сам Абаза не считал себя членом совещания и в прениях своей записки не защищал. В третьих, обращает на себя внимание то обстоятельство, что так сказать душою совещания был Витте и все производство по нему держал в своих руках он, самолично и своеручно. Работа Витте над журналом совещания длилась 4 дня и потребовала некоторой переписки. Великий князь и министры, за исключением Плеве, держались дружно, отстаивая мысль о необходимости соблюдать на Дальнем Востоке осторожность и строгую легальность. Суждения гр. Ламздорфа Витте получил от него в точной, пространной записи, которую и включил полностью в журнал. Суждения

[1]) Ib., л. 189, телегр. от 21 марта доложена царю 25-го.

[2]) Глинский, ук. соч. с. 277—282.

[3]) Удалось разыскать текст этой „исторической справки о событиях на Дальнем Востоке“. В другом месте нам пришлось высказаться лишь в предположительной форме о происхождении работы г. Глинского. В настоящее время, сличив печатный текст „Пролога и т. д.“ с текстом „исторической справки“, можно утверждать их тождественность при незначительных редакционных поправках, внесенных г. Глинским для печати. Ср. мой очерк в „Сб. ст. посвященных С. Ф. Платонову“ с.с. 441—442.

Плеве записывались по памяти и кратко; Абаза, по журналу, выступил всего один раз с маленькой фактической справкой. Решения совещания, в 7-ми пунктах, повидимому, не были формулированы на заседании в окончательном письменном виде, и включались в журнал в такой форме, что у Плеве, напр., оставалась возможность вносить в формулировки Витте поправки, легко менявшие оттенки первоначального замысла редактора. Имя Абазы в списке участников совещания, в нескольких редакциях, претерпело некоторую судьбу: то оно являлось с полным обозначением должности (пом. упр. Гл. Упр. Торгового Мореплавания), то без него, то с полным чином „Свиты Е. В-ва контр-адмирал“, то просто с „адмиралом“, раз было вычеркнуто вовсе, наконец, в последней редакции на полях явилась пометка: „оставить строку“—очевидно на тот случай, чтобы Витте в последний момент мог приказать внести гонимого адмирала, не заставляя еще и еще раз перебелять текст. На одобрение участников совещания журнал послан был 30 марта. Плеве внес указанные поправки. Абаза ответил, что не считает себя членом совещания, а к тому же и не согласен с журналом по существу—верный знак „победы“ „всесильного министра“ [1]).

Такие детали позволяют думать, что и самая мысль о совещании была выдвинута Витте в срочном порядке, дабы провести его в благоприятный момент и привести к решениям возможно более соответствующим политике министерства финансов. Степень последней возможности была однако очень ограничена в виду активного участия в совещании Николая, выступившего со своею точкою зрения, и нарочитого построения записки Абазы, настойчиво вплетавшей в свое изложение имя царя: получалось впечатление, что Абаза лишь взял на себя роль докладчика царского мнения. Излагая историю корейской концессии, записка открыто называла инициатором ее „Государя Императора“, ему же приписывала „указание“ на то, что со взятием Порт-Артура устройство заслона в бассейне Ялу „пріобрѣло еще большее стратегическое и политическое значеніе“, и „предвидение“, что и японцы с своей стороны будут стремиться занять этот бассейн, и открыто возвещала, что ему же „благоугодно было командировать на мѣсто въ декабрѣ 1902 г. д. с. с. Безобразова для провѣрки положенія и для скорѣйшаго закрѣпленія за нами концессіонных правъ“. Приводя „послѣднія свѣдѣнія, что японцы уже появились на лѣвомъ берегу Ялу“, записка прибавляла: „какъ Государь Императоръ и предвидѣлъ“. И далее: „Государь Императоръ, находя, что нынѣ, съ очищеніемъ Манчжуріи, заслонъ этотъ пріобрѣтаетъ особую важность... изволилъ признать своевременнымъ

[1]) Д. № 120, ч. I. Абаза писал министру финансов 31 марта: „такъ какъ я не имѣю права считать себя членомъ этого Совѣщанія, то и мнѣніе мое не могу прислать, несмотря на то, что съ содержаніемъ журнала во всей совокупности согласиться не могу“. (См. л. 59).

нынѣ же приступить къ учрежденію частнаго общества для использованія манчжурскихъ и корейскихъ концессій и поручить Особому Совѣщанію обсудить мѣры, которыя должны быть приняты". Среди этих последних записка указывала на такие, которые покончили бы с „печальнымъ разладомъ" между ведомствами, и бывшим „причиной, въ теченіе 5 лѣтъ пропуска благопріятныхъ моментовъ для осуществленія Государевой воли, даже послѣ Высочайшей резолюціи, сообщенной въ мартѣ и іюнѣ 1901 г. министрамъ финансовъ, иностранныхъ дѣлъ, путей сообщенія и земледѣлія". Когда, после всех подобных ссылок, записка в заключение настаивала на „необходимости пріостановить эвакуацію Манчжуріи" и „выставить на нашихъ концессіонныхъ земляхъ въ Кореѣ равное съ японцами число войскъ по договору Розенъ-Ито", то приходилось думать, что это есть тоже мнение царя [1]). В свою очередь, открывая заседание Николай высказал, что „образованіе общества для разработки лѣсныхъ богатствъ по обоимъ берегамъ р. Ялу представляется желательнымъ", такъ какъ „японское вліяніе грозитъ распространиться с корейского берега на манчжурское ее побережье „и отсюда проникнуть въ юго-западную часть Манчжуріи". При такой постановке вопроса, собственно корейскую лесную концессию затрагивать было нельзя, и Витте, который говорил в совещании пространнее всех и в несколько приемов, приходилось вести дело к возможно более жесткому отграничению ее от прочих планов и предприятий Безобразова, придании ей частного коммерческого характера, по возможности без участия казны и с участием иностранного капитала и подчинению ее всей строгости законов и надзору местной власти в лице Главного Начальника Квантунской области, адм. Алексеева, как знаем, не только прекрасно понимавшего сопряженный с этим делом риск, но и готового было подняться на протест против Безобразова [2]). В заключительное слово царя на совещании, благодаря прямым настояниям Куропаткина, попала особенно ценная для Витте мысль о недопущении до участия в Обществе военных чинов. Но параллельная ей мысль об устранении „лицъ, несущихъ активную государственную службу", о которую в свое время (в 1901 г.) разбилась, по почину Витте, Безобразовская затея, на этот раз не была воспринята царем и, промелькнув в проектах журнала, в последней редакции была исключена из текста заключительного слова [3]). Зато и вылазка Плеве, в общем „разделившего" мнения других министров, но поддержавшего мысль об образовании общества для эксплоатации „всех" концессий в Китае и в Корее, которые уже получены и могут быть приобретены, и об „об'единении деятельности учреждений, работающих на Дальнем Востоке"—осталась на этот раз без всякого результата. Что касается самых постановлений Совещания, то, по смыслу их, на пути к осуществлению Ялуцзянского лесопромышленного общества ставились министерства иностранных дел и финансов. Первому поручалось „проверить силу и значение" выданной в 1896 г. Корейским правительством концессии и, если бы она оказалась „недостаточно оформленной", то „приложить возможные старания к обеспечению за ней вполне законной формальной силы" (п. 1). Обоим министерствам вменялось, далее, принять меры к получению „от центрального китайского правительства в Пекине" концессию на манчжурский берег Ялу (п. 2). Первые два пункта, таким образом, предоставляли возможность некоторого оттягивания дела двум его давним противникам. Лишь „по вступлении одной из этих концессий в окончательную силу", образовывалось „по русским законам" акционерное общество, которому „вменялось в обязанность строго руководствоваться" существующими трактатами и соглашениями (п. 3). В акционерном капитале „допускалось" участие как иностранных капиталов (п. 4), так и казны, но „с тем, чтобы последняя не вовлекалась в значительные расходы" (п. 5), а деятельность общества „ограничивалась" разработкою лишь лесных богатств „по реке Ялу-цзян" (п. 6) и „включалась" „в сферу служебного влияния главного Начальника Квантунской области" (п. 7).

Итак, Витте, при данных обстоятельствах, достиг, казалось, максимального успеха [1]). Во всяком случае достигнутое превышало расчет, легший в основу переговоров с Вонлярлярским в начале февраля. Отмеченная выше мысль Плеве о „всех" концессиях на Дальнем Востоке, которые предполагалось во время февральских переговоров об'единить в руках смешанного акционерного общества с Вонлярлярским в числе директоров, теперь исключалась постановлениями Совещания, и Вонлярлярскому оставалась бы лишь роль в новом обществе, которое не имело бы права на эксплоатацию предприятий Манчжурского Горнопромышленного Товарищества. Не хватало Витте лишь уверенности в устойчивости адм. Алексеева, которому постановлениями Совещания отводилась видная роль в дальнейшем течении дела и потому предполагалось переслать ему журнал Совещания, по утверждении, „для руководства" [2]). Пока Алексеев не послал письма, он еще не был ничем связан и мог легко выйти из комбинации, в которой подразумевался тремя заинтересованными министрами, как союзник. В виду проявленного уже им колебания Витте прибег к содействию упоминавшегося друга Алексеева, адм.

[1]) Лб., л. 1—5.

[2]) См. Глинский, ук. соч. с. 281—282, где 7 пунктов постановления Совещания приведены дословно и пересказан сокращенно журнал Совещания.

[3]) № 120, ч. I, л. 57 об. Ср. „Сборник ст., посв. С. Ф. Платонову", с. 450; „Русское Прошлое", № 1, с. 102.

[1]) „Витте добился своего",—записал Куропаткин в „Дневнике" под 28 марта свое впечатление от Совещания. См. „Красный Архив", т. II, с. 40.

[2]) № 120, ч. I, л. 75, утвержденный царем доклад министра финансов 3 апреля.

Ломена, имевшего возможность передать письмо царю лично. 29 марта за подписью Ломена и шифром министерства Витте телеграфировал Алексееву „искренний" совет „въ виду необходимости знать на верху правду, послѣдовать совѣту Министра Финансовъ" [1]).

2-го апреля, накануне представления Журнала Совещания на утверждение царя, Витте, как и нужно было ожидать, отослал для прочтения царю очередную телеграмму (гл. инж. Юговича) с изложением, уже знакомой читателю, „по истинѣ удивительной программы" Безобразова—натравливания хунхузов на китайскую администрацию Манчжурии,—которую корреспондент „могъ объяснить лишь неизвѣстными" ему „интересами, не имѣющими ничего общаго съ дѣломъ желѣзной дороги и коммерческими предпріятіями". Далее следовало—и отчеркнуто царем:—„несомнѣнно, что онъ надѣется извлечь какія-то личныя выгоды изъ принятой на себя роли автора новой теоріи политики Дальняго Востока". Николай написал на поле: „нѣтъ" [2]). На другой день журнал получил высочайшее утверждение, как и предложение копию его сообщить Алексееву. Но это и был последний день до сих пор успешной „борьбы" Витте за ликвидацию „пагубной затеи", „вызвавшей войну".

---

4 апреля пришло сообщение, что „дешифрантъ телеграммы Ломена переданъ Алексѣеву, но извѣстное письмо все-таки не будетъ посылаться" [3]). И дело о письме теперь окончательно заглохло. Около этого же времени вернулся в Петербург Безобразов, „представилъ свѣдѣнія о широкомъ развитіи, которое получило за послѣдніе мѣсяцы дело, сулившее, по увѣренію Безобразова, громадные доходы" и в течение месяца постепенно овладел вниманием и расположением царя [4]). 6 мая состоялось назначение Безобразова статс-секретарем по делам Дальнего Востока, а 7 мая—второе Особое Совещание под председательством царя отменило принятые 26 марта постановления за исключением лишь 7-го (о подчинении Алексееву), которое теперь, в виду происшедшей с последним перемены в отношении к Безобразову, обращалось против политики „осторожности" и „уступок", тщетно защищавшейся гр. Ламздорфом и Витте в этот

[1]) № 114, ч. 1, л. 202 и 203. Черновик текста телеграммы от имени Ломена весь писан рукою Витте.

[2]) Ib., л. 199 и 200, телегр. Юговича от 31 марта со ст. Манчжурия.

[3]) Ib., л. 205, телегр. Протасьева от 1 апреля.

[4]) Глинский, ук. соч., с. 282. Безобразов должен был приехать в Петербург, по рассчетам Протасьева, 2 апреля.—Еще 10 апреля, при встрече с Куропаткиным в Москве, царь спросил, был ли у него „этот" Безобразов, и уполномочил Куропаткина при поездке на Восток „изгладить следы деятельности Безобразова". См. „Красный Архив", т. II, с.с. 41 и 42.

победный для Безобразова день [1]). На этот раз уже Безобразов был инициатором и главным действующим лицом Совещания и вел его журнал. Роли переменились и, как тогда одинокий Абаза, так теперь бессильные Ламздорф и Витте отказались подписать журнал, заключавший в себе неприемлемые для них решения. Дело Дальнего Востока явно уходило из рук обоих министров. На журнале совещания 7 мая царь положил резолюцию: „дѣла Дальняго Востока, требующія совмѣстнаго обсужденія вѣдомствъ, должны быть и впредь соображаемы въ Особомъ Совѣщаніи подобно настоящему. Въ моемъ отсутствіи предсѣдательствовать въ немъ старшему изъ членовъ; управленіе же дѣлами возлагаю на Свиты моей контръ-адмирала Абаза".

Так задолго намечен был порядок, получивший гласное определение в учреждении Особого Комитета по делам Дальнего Востока лишь 30 августа 1903 года, когда Витте, по собственному его выражению, уже „прогнали" [2]).

И после 7 мая Витте продолжал получать сведения о хозяйничаньи Безобразовских агентов и его самого на просторе Манчжурии (во время вторичной поездки Безобразова на Восток тем же летом уже в звании статс-секретаря „с неограниченными полномочиями"). Но свои немые доклады царю он прекратил теперь совершенно—за полной их бесполезностью. Безобразовщина хлынула в административный механизм—и затопила его [3]).

Б. Романов.

Ноябрь 1922 г.

[1]) Сведения о совещании 7 мая см. у Глинского, ук. соч., с.с. 282—287 и в брошюре С. Ю. Витте „Вынужденныя разъясненія по поводу записки Куропаткина о причинахъ русско-японской войны". М. 1911 г.

[2]) № 120, ч. I, л. 106. Управляющим делами Особого Комитета Дальнего Востока был со дня его основания именно Абаза.

[3]) Куропаткин уехал на Дальний Восток в середине апреля. Вернувшись в Петербург в середине июля, он был в „изумлении" от того, что „слышал кругом". „Главною темою" был Безобразов. По словам Витте, известный князь Мещерский (редактор „Гражданина") обратился к царю с письмом, „в котором предупреждал государя, что составился заговор против государя и его министров, и что во главе заговора стоит Николай Александрович, а далее следуют Безобразовы, Абазы и т. п.". См. „Красный Архив", т. II, с 44.

Проблема происхождения французского города в научной литературе.

I.

Настоящая статья не имеет в виду ни разрешить сложную проблему происхождения средневекового города, ни даже хоть в некоторой степени способствовать ее разрешению. Можно сказать заранее: специалист-историк города не найдет в ней ничего для себя нового и интересного. Совсем другой круг читателей имеет она в виду: читателя, который, не имея времени или желания углубиться в изучение огромной, часто запутанной литературы о нашем предмете, захотел бы в самых общих чертах и основных представлениях познакомиться с тем, что сделано в научной литературе с проблемой возникновения и развития городского строя в средние века. Здесь мы предполагаем проследить общий ход разработки проблемы, останавливаясь на главных, этапах и оставляя все мелкое и побочное в стороне. И не весь средневековый город, во всем его географическом масштабе, со всеми его национальными типами будет предметом нашего рассмотрения, а лишь та его форма, которая нашла себе конкретное проявление на почве Франции.

Как ни общи были причины, вызвавшие по всей западной Европе в XI—XII вв. появление новой формы социального общежития—города и расцвет городской культуры, как ни сходны основные элементы городского строя во всех государствах западного средневековья, каждая страна внесла в его развитие свои собственные национальные черты и придала ему свой национальный отпечаток. Французский город столь же своеобразен и непохож на город соседней Германии, как этот последний отличен от итальянской коммуны, и хотя в научной литературе высказывалась мысль о необходимости перешагнуть национальные различия и вместе изучать все виды городов, однако все же исторические труды группируются по тому или иному национальному типу. Нет одной общей историографии средневекового города, а существует несколько отдельных: историография французского города, немецкого, английского и т. д. Не всегда даже между отдельными национальными направлениями имеется тесная связь и достаточная осведомленность.

Выбор для настоящего обзора французского города сделан по следующим двум соображениям: во-первых потому, что на русском языке нет еще обзора изучения французского города, в то время как таковые имеются для немецкого в брошюре А. К. Дживилегова „Городская община в средние века“ (М. 1901) и в предисловии проф. Д. М. Петрушевского к русскому переводу книги Г. Белова „Городской строй и городская жизнь средневековой Германии“ (М. 1912), и, во-вторых, потому, что последняя книга, существенно по новому ставящая вопрос об изучении средневекового города, книга Н. П. Оттокара „Опыты по истории французских городов в средние века“ (Пермь 1919), посвящена, как видно из заглавия, французским городам [1]).

Возникнув на почве экономического возрождения второй половины средневековья, став центром промышленной и торговой жизни, французский город был колыбелью буржуазии, класса, который с конца средневековья, пробиваясь сквозь оболочку феодально-аристократического режима, все более и более выдвигался на первый план в общественной и политической жизни Франции. Великая революция 1789 года была его последней битвой. Выйдя победителем, он стал хозяином страны и мог потребовать от науки истории внимания к себе, интереса к своему прошлому и, в частности, к лону, из которого он вышел, средневековому городу-коммуне. И он получил, чего хотел. Недаром блестящий Огюстен Тьерри, „певец буржуазии“, сделавший ее своим героем, прославивший ее в своей бессмертной эпопее, был первым, кого можно считать за представителя научной разработки истории французского города, как бы много произвольного и неверного не было в его трудах. Однако, историография французского города имеет значительно большую давность, и задолго до Тьерри в трудах историков и юристов XVI, XVII и XVIII вв. город бывал предметом изучения, хотя здесь здоровые мысли еле различимы среди массы банальной болтовни и вздумок. В 1769 г. появился XI-ый том Ordonnances des rois de France, в предисловии к которому Брекиньи (Bréquigny) дал солидную работу по истории французских коммун, которую еще в 1891 г. Карл Гегель (Hegel) считал полезною для ознакомления с предметом.

Первой общей теорией, с которой мы встречаемся во французской историографии, была теория римского происхождения города. Возникла она еще в XVIII-ом веке в работах аббата Дюбо (Dubos) и некоторых других, у которых она опиралась скорее на общие теоретические рассуждения, чем на действительное изучение реальных фактов. В начале XIX-го века она нашла себе более полное обоснование в труде Савиньи (Savigny), „Die Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter“ (1815) и, повидимому, независимо от него в работах Лебера (Leber), „Histoire critique du pouvoir municipal“ (1828), и Рейнуара (Raynouard), „Histoire du droit municipal en France“ (1829). Для историков этого направления средневековый городской строй

[1]) Общий обзор городской историографии во Франции можно найти в статье D. Bourgin «Les études sur les origines urbaines du moyen âge» (Revue d. synth. histor. T. VII. 1903).

есть прямое продолжение римской муниципальной организации. Обманутые переживанием в эпоху средневековья римских технических терминов, как civitas, municipium, senatus, curia, decuriones и т. п., а иногда и ложными общими предпосылками, как это можно наблюдать у Тьерри, они не заметили, что за этими старыми словами скрывались новые и совсем непохожие представления. С другой стороны, более точное ознакомление с римским муниципальным строем уже скоро сделало призрачным сходство. Однако, давно уже разбитая в историографиях других стран, во Франции, освященная авторитетом Тьерри, теория эта еще долго оставалась в силе, и понадобилась жестокая критика Флака, чтобы убить ее окончательно.

Одновременно, и может быть несколько раньше, другая теория хотела видеть в средневековой коммуне дело королевской власти. Короли из дома Капетингов были постоянными доброхотами городского движения, становясь на сторону города против сеньера, поддерживая его в борьбе и дарованием хартий закрепляя его свободу и независимость. Не говоря о том, что такая покровительственная политика Капетингов чистейший миф, так как в поведении королевской власти никак нельзя отыскать определенной и постоянной тенденции в пользу городского развития, в основе этой теории лежало совершенно неверное толкование некоторых текстов. Поэтому вполне понятно, что ей не суждена была долгая жизнь, и уже под возражениями Тьерри она была погребена.

В лице Огюстена Тьерри (A. Thierry) историография французского города получила первого своего крупного представителя. С большим увлечением и огромной работоспособностью, не покинувшей историка, когда он в конце жизни потерял зрение, Тьерри отдался изучению прошлого своей родины. В 1820 г. появились его „Lettres sur l'histoire de France", в 1840—„Considérations sur l'histoire de France", как введение к его „Рассказам из меровингских времен"; в 1850 вышел „Essai sur l'histoire de la formation et des progrés du tiers état" и одновременно он начал большой труд по собиранию и опубликованию документов по истории третьего сословия (Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état). Но изучая французскую историю, Тьерри не хотел и не думал ограничиться чисто научными заданиями; в прошлом своей родины мечтал он найти ключ к разрешению споров и столкновений, которые волновали Францию его времени. Когда после реставрации Бурбонов в страну вернулась изгнанная революцией аристократия и потребовала в полном размере восстановления своих прав и привилегий, буржуазия должна была попробовать обосновать законность своих завоеваний. Эту задачу и взял на себя Тьерри. Основным и отправным пунктом французской истории было для него завоевание франками Хлодвига мирного, трудового населения галло-римской расы. Завоевание разбило население Галлии на две резко очерченные расовые группы, франков победителей и галло-римлян побежденных. С течением времени расовые признаки стерлись, но не исчезли совсем, претворившись в признаки сословные и правовые. Как аристократия ведет свое происхождение от франкских завоевателей Хлодвига, так третье сословие берет начало от сервов, людей побежденных при завоевании. Как в его время стояли, готовые вступить в борьбу люди пергамента против людей индустрии, так они же стояли друг против друга в продолжение всей истории Франции. Последняя обнаруживает историку картину вечной классовой борьбы, где трудовое население, постепенно приходя к сознанию своих сил и добиваясь свободы, несет прогресс в будущее. В этой борьбе французская революция 1789 г. последний этап, который окончательно стер „следы завоевания". В этом процессе и рождение средневекового города, средоточия трудового ремесленного и торгового населения, представляется Тьерри „величайшим социальным движением, какое только было от установления христианства и до французской революции". Тьерри очень резко отверг теорию королевского пожалования и выдвинул вперед элемент революционного происхождения коммуны, свободного города Франции. Порабощенное сеньору население восстает, составляет ассоциацию под гарантией взаимной присяги, выбирает правление и добивается признания своей свободы. Коммунальный строй во все это время держался открытой силой, и только благодаря этой силе против своей воли должна была сдаться прежняя власть. Но, создаваясь этим революционным путем, коммуна не нуждалась в каких-нибудь новых формах. В среде купцов и ремесленников, составивших население городов, потомков старого галло-римского племени жил республиканский энтузиазм древних веков, жила и старая муниципальная традиция. Коммунальная революция XI—XII веков лишь возродила ее, как и муниципальные учреждения последних времен римской империи, модифицировав их и приспособив к окружающей обстановке. Так соединяет Тьерри свою теорию революционного происхождения города с теорией римского происхождения муниципального строя средних веков. В живых, полных глубокого драматизма картинах борьбы горожан за свободу и коммунальные вольности Тьерри дал конкретное выражение своим взглядам. Блеском формы и искренностью чувства он увлек за собою французскую историческую науку. Мишле и Минье, и в несколько смягченной форме Гизо приняли его концепцию, вполне соответствовавшую и их политическим настроениям. Целая плеяда местных историков, научная подготовка которых не всегда равнялась силе локального патриотизма, под влиянием Тьерри принялась за разработку историй отдельных городов. И, хотя дефекты нашего историка бросаются в глаза, и легко заметить предвзятость политической тенденции, обаяние его было так велико, что нужно спуститься до конца 70-х годов, чтобы в области монографических работ найти мысль, свободную от его влияния, и до начала 90-х, чтобы встретиться с новыми общими синтезирующими теориями [1]).

[1]) В кругу идей Тьерри стоит и одна русская работа: А. Смирнов „Коммуна средневековой Франции северной полосы и центральной" (Казань. 1873).

В конце 70-х годов мы снова встречаемся с оживлением разработки городской истории. Вдохновителем ее был А. Жири (A. Giry), который в ряде исследований дал вдумчивые и серьезные монографические этюды по истории отдельных французских городов [1]). Построенные на основе строгого научного метода, далекие от какой-либо посторонней чисто научному интересу тенденции, они послужили образцами, за которыми последовал ряд других аналогичных работ, многие из которых вышли из руководимого Жири семинария [2]). Оживление интереса к средневековому городу сказалось и на публикации документов, где опять инициатива едва ли не принадлежала тому же ученому. Все это дало огромный фактический материал и подготовило почву для синтетических построений, оживившихся в соседней Германии с появлением в 1887 году известных статей Г. Белова. Во Франции только с начала 90-х годов историография города вышла из сферы местных разработок и обратилась к общим, синтетическим построениям. Почти одновременно с трех сторон были сделаны попытки охватить в общих линиях происхождение и развитие средневекового города. Мы имеем в виду книгу А. Люшера (A. Luchaire) „Les communes françaises“ (1890), 2-й том „Les origines de l'ancienne France“ (1893) Ж. Флака (J. Flach) и работу А. Пиренна (H. Pirenne), напечатанную в Revue historique за 1893 и 1895 года.

II.

Перейдем теперь к рассмотрению того, как ставится проблема о происхождении средневекового города в каждой из названных выше работ. Немецкая историография резко разделила проблему, противоположив вопрос об активных факторах, мотивах (treibende Motive), вызывающих к жизни тот или иной институт или обуславливающих перемену в нем, вопросу о форме, к которой этот новый институт примыкает, из которого он развивается. Только последнее составляет предмет истории учреждений (Verfassungsgeschichte), в то время как на первое, выяснение активных факторов, отвечает общая история [3]). Нельзя не признать, что такая постановка вопроса придает какую-то худосочность построению, разлагая реально связанное на постулируемые нашим рассудком ряды и оперируя с понятиями, лишенными фактического содержания. Однако, вместе с тем она вносит значительную ясность и четкость и методологически имеет большое значение. Этой ясности и четкости мы напрасно бы

[1]) Histoire de la ville de S.-Omer P. 1877; Etudes sur les origines de la commune de S.-Quentin, S.-Q. 1887; Les Etablissements de Rouen. P. 1883—85. 2 vol.

[2]) E. Flammermont, Histoire des instit. municipales de Senlis. P. 1881; A. Lefranc, Hist. de la ville de Noyon, P. 1887; L.-H. Labande, Histoire de Beauvais et de ses inst. P. 1892. G. Espinas. Les finances de la commune de Douai, P. 1902; G. Bourgin. La commune de Soissons et le groupe communal soissonnais. P. 1908.

[3]) G. v. Below, Der Ursprung der deutsch. Stadtverfassung, стр. 12.

стали искать у французских исследователей. Неразличение обеих проблем—основной недостаток указанных выше работ; отсюда проистекает неопределенность в постановке проблемы и связанная с этим некоторая нелепость изложения даже у тех, кто на первый взгляд блещет кристальностью своей мысли.

Первая из указанных книг—А. Люшер, Les communes françaises — представляет собою обработку лекций, читанных автором в Сорбонне. Это придало книге Люшера своеобразный отпечаток: книга написана популярно, лишена критического аппарата и более описывает и рассказывает, чем доказывает и аргументирует. Люшер имел в виду только одну форму французского средневекового города—т. н. коммуну, тип распространившийся на севере Франции, главным образом за границами непосредственного домена капетингского дома, остальные остались вне его рассмотрения [1]). Вопрос о происхождении средневекового города кажется Люшеру неразрешимым. „В книге элементарной и обобщающей, как настоящая, нет возможности останавливаться на этом столь сложном вопросе о происхождении. Приходится ограничиться констатированием факта, против которого ничего не поделаешь: отсутствие документов относительно муниципальной организации городов и бургов в течении четырех столетий, с седьмого до одиннадцатого. По всей видимости этот огромный пробел никогда не будет заполнен“. Отказываясь таким образом от разрешения вопроса об отдаленных корнях города, Люшер, однако, дает анализ той непосредственной обстановки, которая вызвала к жизни французскую коммуну средних веков. Сеньериальный гнет, от которого страдало население города, породил в последнем потребность положить пределы произволу со стороны сеньера. Это стремление горожан, будучи покушением на права последнего, не могло не встретить сопротивления и не повести к открытому столкновению. Не отрицая возможности того, чтобы в отдельных случаях, особенно позднее, когда сила коммунального движения стала более очевидной, коммунальный строй в городах устанавливался и путем добровольного соглашения, нормально все же Люшер считает его продуктом открытого восстания. Таким образом в этом вопросе Люшер идет по стопам Тьерри, отвергая только общеисторические предпосылки последнего, и совершенно непонятно, почему его принято считать сторонником теории соглашения между сеньером и городом. Городское восстание становится возможным благодаря тому, что жители об'единяются в ассоциацию, заключенную под гарантией взаимной присяги. Эта ассоциативная связь становится основным элементом города, его существом, из которого вытекают остальные его аттрибуты. Создание этой связи облегчается тем, что в городе в докоммунальную эпоху имеются различные частные ассоциации, воспитывающие

[1]) О них можно найти на стр. 393—450 Manuel des institutions françaises того же Люшера, где автор дает общий очерк городского строя Франции и в соответствующем томе Histoire de France, под ред. Лависса.

в населении ассоциативные навыки и устремления. Люшер отказывается разрешить вопрос, германского ли происхождения или нет самый принцип ассоциации; этот праздный для него вопрос, он заменяет изучением тех частных группировок, по которым распределялось население города. Таковыми были союзы купцов, ремесленников и религиозные братства и товарищества; все они приняли участие в создании общегородской ассоциации, правда не в одинаковой степени. Купеческие союзы чаще всего оказывались решающими в этом процессе, и бывали случаи, когда такая купеческая гильдия прямо превращалась в общегородскую ассоциацию. Однако создание этой общей ассоциации, этой коммунальной связи, еще не заключает в себе завершения процесса: это—первый этап. Окончательно, коммуна существует только с признанием ее сеньером; в промежутке она находится в юридически скрытом, иллегальном состоянии, в качестве простого заговора, conjuratio или conspiratio. Только это признание делает ее членом феодального общества „буржуазной сеньерией, облеченной известной судебной и политической властью". Внешним выражением его становится коммунальная хартия, получить которую составляет первую заботу вновь образовавшейся коммуны. В ней Люшер не видит уголовного или гражданского свода, как это делал Гизо, или конституции, регламентирующей хотя бы самые существенные положения городской организации, как это у Тьерри. Содержание хартии состоит в утверждении или установлении коммунальной связи, ассоциации, осложненном рядом пунктов, определяющих главным образом в области судебных и налоговых прав положение коммуны по отношению к сеньеру. Она прежде всего договор, „материальное выражение, гарантия раздела суверенитета в судебном и финансовом отношениях между сеньером и его бывшими подданными, превратившимися теперь в вассалов".

Ближе к проблемам, поставленным немецкою историографией, стоит Ж. Флак; однако и у него мы напрасно искали бы той четкости, которой обладают, напр., книги Белова (Below). В противоположность Люшеру Флак не думает обходить вопроса об источниках средневекового города; напротив, он становится в центре его построения. Но, прежде чем приступить к формулированию своей точки зрения, Флак должен был так или иначе посчитаться с теорией, достаточно еще сильной в то время,—теорией римской традиции. Отвергнуть ее полностью Флак не смог: участие римской традиции в образовании городской жизни средневековья казалось ему бесспорным. Вопрос весь был в том, чтобы правильно определить ее долю. Она не была значительной. Ряд,— но далеко не все,— средневековых городов возникли на месте старых римских. Римская civitas послужила ядром, вокруг которого выросло новое поселение. Это—во-первых. Во-вторых, римская традиция сказалась в формах социального общения, которые существовали в городе в до-коммунальную эпоху. Квартальные об'единения, религиозные и благотворительные братства, ремесленные и иные профессиональные союзы

могли сохранять непрерывную традицию от эпохи поздней империи; однако, и здесь она не исключительна,—наряду с ней действует новая германская традиция. Этим и ограничивалось римское влияние: прямой связи между муниципальными учреждениями римских городов и организацией средневековой коммуны, как ее предполагала старая теория романистов, не было.

Степень римской традиции установлена. Флак переходит к вопросу об источниках города, но проблему ставит он при этом по своему. Его интересует не филиация учреждений, внутреннего строя города, а вопрос о внешнем происхождении города, как особой формы поселения. Напрасный труд искать в этом отношении единства. Города средневековья имели различные корни. Одни возникают на месте старых римских городов, вокруг той civitas, которая сохранилась в смутные годы; другие выростают под сенью укрепленного замка светского владельца; для третьих ту же роль играли монастыри, привлекавшие население не только, как центры религиозной жизни и укрепленные пункты, но и тем, что в качестве „убежищ" (sauvetés) они сулили пришельцу возможность пользоваться особыми привиллегиями; иногда деревня прямо превращалась в город; наконец, последние возникали и на свободном корню, основанные там, где раньше не было никакого поселения. Но, как ни различно происхождение отдельных городов, по крайней мере в одном отношении все города похожи друг на друга. Все они стоят под действием общего социального закона эпохи—закона раздробления (loi de dispertion). Ни в каком отношении город не представляет собою единства—того, что позднее станет основной предпосылкой свободного города средних веков.

С какой бы стороны мы ни взглянули на город этого времени, он постоянно представляется нам раздробленным, раз'единенным, лишенным общих связей. С внешней стороны он состоит из нескольких поселений, не связанных между собою: старого ядра, будь то римская civitas, замок или монастырь, и новых поселений, возникающих вокруг него, бургов и предместий (suburbium, faubourg). Редко, когда у города один сеньер, один господин: обыкновенно территория города принадлежит нескольким собственникам, которые на своей земле каждый осуществляют самостоятельно свои права. Наряду с вотчинной властью собственников, публичная юрисдикция еще не вполне исчезла, и только осложняет и без того пестрые отношения. Тоже бесконечное разнообразие наблюдается и в составе городского населения. Его юридическое состояние не укладывается в одну какую-нибудь формулу: люди всевозможного правового положения населяют город—привиллегированные рыцари и клирики, простые свободные, крепостные местных сеньеров, пришельцы, вотчинные права на которых принадлежат какому-нибудь совершенно постороннему городу лицу. Не меньше пестроты и в профессиональных занятиях населения. В городе министериал уживается рядом с купцом, клирик с ремесленником; одни занимаются еще крестьянским трудом, другие являются представителями свободных профес-

сий. В этом виде город предоставлен на полный произвол сеньеру, которому раздробленное и раз'единенное население не может оказать достаточного сопротивления. Оно возможно только путем об'единения, на которое действительно направлены все помыслы и инстинкты населения. В тот момент, когда оно будет достигнуто и диспаратные элементы сольются в одно единое целое, средневековый город в юридическом смысле слова готов.

Каким образом осуществился этот процесс? как раз'единенные части об'единились общей коммунальной связью?—этому вопросу отдано главное внимание французского ученого. Здесь основная проблема Флака. В немногих словах, как это принуждены мы делать, трудно изложить точку зрения Флака, не всегда ясную и простую. С риском оказаться не вполне понятным последуем за нашим историком в разрешении проблемы [1]).

Как ни раздроблено население города, как ни разнообразны его составные части, все же в нем существуют отдельные группы, ячейки, члены которых обладают взаимной связью друг с другом. Иногда она очень старого происхождения, может быть идет еще от римской эпохи, другой раз коренится в условиях социальной жизни средневековья. Жители старой римской civitas, деревни, превращенной в город, могли иметь общее имущество и управление им; то же самое можно наблюдать и относительно вновь возникавших поселений. Общность материальных интересов обусловливает связь между отдельными единицами. Еще в большей степени эту связь создает право убежища, особенно та форма, которая известна под именем sauveté; действуя в пределах какой-нибудь территории, она одинаково обнимает своим покровительством всех, сливая их в одну гомогенную массу. Более тесные связи сближают между собою различные группы, из которых составлено городское население. Среди них три—кастовые, религиозные и промышленные—являются самыми важными. Под их влиянием происходит об'единение доселе противоположных элементов. Кастовые связи создают на верху городской патрициат, где происходит встреча рыцарей и более зажиточных элементов свободного населения города. Низы группируются вокруг приходской церкви. Приход включает все население, без различия происхождения и социального состояния. Внутри прихода семья, кварталы, братства исполняют ту же функцию. Общность интересов, солидарность и взаимопомощь создает среди их членов настоящую корпоративную связь. Ее найдем мы и в профессиональных союзах той эпохи, где ремесленники разных сеньеров одинаково находили приют и поддержку. Они, как и приходы и кварталы, имели общее имущество, свои уставы и своих представителей. Так складываются в городе отдельные группы, связанные корпоративною солидарностью своих членов. Каждая из них может оказаться той клеточкой, вокруг которой соберется вся городская

[1]) Более подробно точка зрения Флака изложена в указанной выше работе Дживилегова.

территория и все городское население. „Корпоративная связь расширяется до того, чтобы захватить целый город, когда он уподобляется приходу или sauveté, месту франшизы или мира; напротив она сужается, чтобы дать начало олигархии, когда это об'единение происходит в интересах патрициата. Иногда силы двух групп оказываются равными до тех пор, пока одна из них, наконец, не возьмет верх и не наложит своего отпечатка на городское устройство. Наконец, преобладающий элемент, будь то патрицианская корпорация или ассоциация низов, проявится в качестве фермента. Вокруг него и под его влиянием, масса придет в движение и поднимется: в нужный момент, она заимствует у него форму, conjuratio, присяжную коммуну".

В этом процессе превращения корпоративных связей в коммунальные надо отличать два момента: во-первых обстоятельства, при которых совершается этот переход, и во-вторых внешнее выражение его. Второе заключается в пожаловании хартии, которая в глазах Флака представляет собою ничто иное, как феодальный договор, заключенный между сеньером и городом. Первые являлись логическим развитием сеньериального режима и крупных событий XI и XII в.в. Пользуясь ослаблением феодальной власти, коммуна или путем борьбы или иным способом вырывает у сеньера дарование различных прав и привилегий. Уступки эти, однако, совершаются в интересах всех жителей места, закрепляя таким образом превращение корпоративной связи в коммунальную. Новой коммуне нет надобности создавать какие-нибудь новые формы: старинная организация кварталов и приходов, убежищ и иммунитетов оказывается достаточно эластичной, чтобы стать образцом общегородской организации.

Мы не последуем далее за Флаком; думаем, что сказанного достаточно, чтобы понять, в чем заключалась проблема Флака и как он на нее ответил. Нельзя только не заметить, что дать ясное и четкое изображение превращения корпоративных связей в коммунальную ему не удалось: оно сохраняет у него какой-то догматический и расплывчатый характер. С другой стороны, если даже признать, что им дан ответ на вопросы о внешней филиации городского поселения, о происхождении элементов солидарности и связи средневекового города, вопрос о филиации городских учреждений, формулированный в немецкой науке, остался у него без рассмотрения.

Вскоре после книги Флака появилась работа Пиренна „Les origines des institutions urbaines", напечатанная в журнале „Revue historique" за 1893 и 1895 года [1]). Позиция Пиренна в значительной степени отлична от уже рассмотренных нами теорий. Как чистого историка, при том с устремлением в сторону экономических проблем, его прежде всего интересует вопрос об экономических причинах

[1]) См. кроме того его же „Histoire de Belgique" t. I, pp. 159—188. и „Les anciennes démocraties des Pays-Bas" (P. 1910).

происхождения города, тех активных мотивах (treibende Motive), по терминологии Белова, которые вызывали по Западной Европе появление городов. Но это не все. Средневековый город обладает резкой отграниченностью от остальной страны, обуславливаемой особым правом, действующим в нем. Каким образом город получил свое особое право откуда ведет оно свое начало? — таков второй вопрос, на который, пытается дать ответ работа Пиренна.

В эпоху германских завоеваний и образования варварских государств римские города не исчезли совсем. Остались стены, осталось и население, но падение экономической культуры в следующие столетия, прекращение обмена, расцвет натурального хозяйства лишают городскую жизнь сил. Всюду растет значение крупного поместья: расширяя вотчинную власть, оно экспроприирует у государства его функции и лишает население его свободы. Даже в тех римских городах, где вокруг резиденции епископа идет жизнь, она ничего не имеет общего с городской. Civitas эта — только центр эксплуатации церковных земель. Часто город даже не принадлежит одному господину; рядом с землями епископа несколько церковных иммунитетов и замков светских владельцев. Органы управления, встречающиеся в городах, публичного ли или вотчинного происхождения, совершенно еще не носят городского характера. „В эту эпоху нет ничего, что напоминало бы муниципальную организацию; еще в меньшей степени можно найти там хоть какие-нибудь следы муниципального права. Тогда город ни в каком отношении не представлял единства".

Когда прошла аграрная эпоха средневековья, и последнее вступило в период торговли и промышленности, открылась в Западной Европе эра городов. Не монастырю или рынку обязан средневековый город своим происхождением. Он возникал самостоятельно под действием экономических причин, которые пробудили в Европе возрождение торговли и промышленности, там, где тому благоприятствовали географические условия, на поворотах и устьях рек, на перекрестках дорог и т. п. Только удобным географическим положением обязаны старые римские города тому, что в них снова закипела шумная жизнь. Естественно, что этот город дело рук купца. Только когда рядом с первоначальным поселением садится новое, торговое и промышленное, приобретают города муниципальное устройство. Ответ на первый вопрос готов.

Чтобы разрешить вторую проблему — как создавшийся этим путем город приобретает особое городское право, надо бросить взгляд на условия, в которых находились купцы, творцы городской жизни. В каролингскую эпоху купец—бродяга, чуждый остальному населению, нередко чужеземец, еврей или сириец. Те связи, которые соединяют остальные массы, для него не существуют. Единственная власть, которой он подчиняется и от которой он может ждать покровительства, публичная власть. Этот основной свой характер, чужака, пришельца, сохраняет он и тогда, когда садится где-нибудь, вокруг ли монастыря или древней civitas или еще в третьем месте, куда

привлекают его природные условия. Но резко отграниченная от остального населения, купеческая масса внутри себя не представляла однообразия: люди разного социального положения и разнообразного правового состояния входили в нее. Постепенно, тождественный образ жизни, отправление одной социальной функции, наконец, то, что они издавна, по крайней мере в своем качестве купцов, все стояли под публичной властью, стирают среди них все нюансы и обращают их в гомогенную массу, более или менее освободившуюся от частной власти и подчиненную юрисдикции публичной. Но, в силу этого лишенные господина, единственной защиты в эту бурную эпоху, купцы принуждены пополнить недостаток ее собственными силами в своих взаимных объединениях и ассоциациях. Последние ведут начало еще от эпохи блужданий; тогда они еще носят временный, мимолетный характер: с XI-го века существуют уже постоянные купеческие ассоциации, гильдии. Если и не следует преувеличивать влияние гильдий на развитие муниципальных учреждений, то в сложении особого купеческого права они сыграли решающую роль. Традиционное право не может удовлетворять купцов. Рассчитанное на аграрный характер жизни, оно не только не обеспечивает торговой и промышленной деятельности, но сплошь и рядом может ее стеснять. Поэтому рядом с традиционным правом, или правами, потому что оно варьируется в зависимости от местности, вырабатываются новые нормы, расчитанные на потребности купеческого населения, и постепенно складываются в особое купеческое право, jus mercatorum. С самого начала оно приобретает общий и, можно сказать, интернациональный характер.

Однако, все эти достижения не приводят еще к созданию города в юридическом смысле слова. Оно наступит тогда, когда образуется особое городское право. Это происходит путем прикрепления персонального права купцов к земле. С начала XI века jus mercatorum приняло местный характер, перестав быть правом исключительно купеческого сословия. К сожалению это превращение у Пиренна не получается совершенно ясным. Повидимому, дело происходило следующим образом. По самой природе своей купец нуждается в известной правовой обстановке, отсутствие которой парализует его начинания и деятельность. Добившись лично для себя необходимого в jus mercatorum, он должен был направить свои усилия на распространение этих новых норм на всю территорию города. С течением времени осложняются и усугубляются связи купеческой части населения с остальным городом: несоответствие форм юридической жизни города с потребностями купеческого населения вызывает конфликт, неминуемо разрешаемый в интересах купцов, так как самое происхождение и развитие города совершается силами этого класса. Силой купцей, постепенно отмирают в городе старые правовые нормы и заменяются новыми, уже данными в jus mercatorum. Сперва личная свобода уступает место личной свободе, затем устанавливается принцип свободного землевладения. Далее исчезают несовместимые с деятельностью торговца различные

сеньериальные права и баналитеты. Наконец, изменяются процессуальные формы и самое содержание права. Так, постепенно, персональное право купцов, jus mercatorum, превращается в право городское, jus civile.

С другой стороны, средневековый город пользуется особым миром. Существенным его признаком является локальность: это — местный мир, всякий житель одинаково пользуется им и ему подчинен. Нет надобности для об'яснения его прибегать к предшествовавшим городу учреждениям или к юридическим абстракциям. Его происхождение в достаточной степени об'ясняется социальными и политическими условиями средневековья: для города он неизбежная необходимость, первичная потребность. Условия городской жизни принуждают население прибегать к ассоциации, к об'единению, но одной ее оказывается недостаточно. Город нуждается в особом праве, мире (pax), который обеспечил бы безопасность жителям. Этот „городской мир" обладает местным характером. С того дня, когда он установлен, всякий житель, чужеземец, как и горожанин, серв, как и свободный, знатный, как и простой, обязан ему подчиняться. Можно почти сказать, что он принадлежит земле. С этого момента город превращается в отдельную правовую территорию, отдельный судебный округ. „Будучи одинаково подчинены одному уголовному праву, горожане фатально рано или поздно будут пользоваться одним и тем же гражданским правом. Городской кутюм, происходящий от jus mercatorum, в конце концов распространится до пределов „мира", и город составит, в полном смысле слова, правовую общину".

Став судебным округом, город приобрел и политическое единство. Три рода причин вызвали это превращение. Установление мира, которым пользовался город, требовало присяги, conjuratio всего населения: она состояла не только в обязательстве подчиниться и не нарушать мир, но и в обязанности активно защищать его. В том же направлении действовало и другое обстоятельство. Новое право не без борьбы смогло вытеснить старое из его позиций: отсюда для горожан, как в свое время для купцов, проявилась потребность в установлении корпоративной связи, ассоциации. Наконец, очень скоро у города появилась необходимость иметь свою систему налогов: устанавливаемые в нем налоги уже не вотчинного или публичного характера, их обязательность и действенность обуславливается новым принципом, имеющем корни в ассоциативном об'единении города. Таким образом, под влиянием указанных причин население, уже об'единенное общим правом, об'единяется еще корпоративной связью. С этого момента город выступит, как община, communitas, со всеми признаками юридического лица. Освободившись от сеньериальной власти, он станет коллективной сеньерией и войдет в состав феодальной иерархической системы. Оказавшись отдельным судебным округом, он потребует особых органов суда; став самоуправляющейся корпорацией, он должен будет выработать свою административную систему.

III.

Если не считать главы, посвященной в III-ем томе „Histoire des institutions politiques et administratives de la France" Виолле (Viollet), полезного, но не вводящего новых точек зрения, очерка, и этюда Жири в известной истории Лависса и Рамбо, статьями Пиренна заканчивается круг общих работ о происхождении французского города. Французская историография замыкается в исследованиях историй отдельных городов и отдельных частных проблем. На них мы не будем останавливаться и перейдем прямо к последней публикации по данному вопросу, книге Н. П. Оттокара „Опыты по истории французского города в средние века" (Пермь, 1919 г.).

Книга Оттокара представляет собою ряд этюдов по истории отдельных французских городов (Камбрэ, Нуайон, Бове, Суассон, Санлис), и как таковая, не должна была бы войти в наш обзор. Однако в книге этой заключается и значительный общий интерес. Прежде всего в методологическом отношении. Как Люшер, Оттокар обходит вопрос о происхождении городских учреждений, но не потому чтобы этот вопрос казался ему не разрешимым при данном состоянии источников, а потому что сама постановка вопроса кажется ему беспредметной и призрачной. „Ибо самое это разложение исторической действительности на ряды „институтов" или „явлений" есть не более, как бессильная человеческая попытка оторвать и зафиксировать частичные аспекты текучей исторической массы, неразрывно связанные с этой массой и только в ней понятные и живые". Поэтому и всякие попытки дать на этой фиктивной почве обобщающие построения не могут быть результатными. В противоположность этому задачу свою, и всякого исторического исследования, Оттокар видит в изучении истории каждого отдельного города, как своеобразного, живого и индивидуального целого. Синтетически разгадать индивидуальный облик истории каждого отдельного города—это единственно исторический путь к разрешению задачи.

При таком методологическом подходе Оттокар не мог дать ничего кроме отдельных этюдов. Если в книге и есть более общие положения, то они носят критический характер, в направлении „раскрепощения и дематериализации исторических представлений", связанных с французской городской историографией. Среди них наиболее бесспорным является отказ от представления о первичном дуализме (город-предместье, civitas-suburbium), имеющем столь основное значение во всех построениях историографии французских городов, особенно у различных местных историков. В противоположность этому дуализму Оттокар выдвигает мысль об исконной связанности и об'единенности городского мира, по крайней мере в старых римских городах. Гораздо менее убедительным является его понимание коммуны. „Коммуна не есть определенная форма городской конституции. В понятие „коммунального" входит единственно признак ассоциативности, способности к коллективной со-

лидарности. Только эта сторона, только этот момент в жизни городского мира определяется признаком коммунальности". Городская конституция, реальное проявление городской организации, не стоит ни в какой связи с идеей коммунальности и не заключена в так называемых „коммунальных хартиях", а является функцией разнообразных, и весьма сложных, условий, в которых развивался тот или иной город. Только тем, что многие из коммунальных хартий заключают в себе „лишь общее признание ассоциативной связи населения и потенциальной способности его к коллективному действию", можно об'яснить себе, что одна и та же хартия оказывается у городов, развитие и политический строй которых совершенно различны.

Книгой Оттокара заканчивается, насколько нам известно, круг общих работ по истории французского города. Подведем итоги.

Вопрос о происхождении городского строя (Stadtverfassung), стоящий в центре немецкой историографии и придающий ей характерный для нее отпечаток единства, даже тогда, когда в той или иной книге не так ясно и строго проведено отграничение проблемы, как в известных работах Белова, для французской науки не играет такой доминирующей роли. Не отказываясь от ответа на него, она не стремится свести к нему всю проблему происхождения средневекового города и скорее изучает те общие причины, которые вызвали к жизни город, как новую форму общежития, и которые Белов называет die treibende Motiven. Уже Тьерри, довольно легкомысленно признав источник городской конституции в устройстве римского муниципия, главное внимание обратил на вопрос о причинах вызвавших к жизни французскую самоуправляющуюся коммуну. Его ответ известен: коммуна результат вооруженной борьбы горожан против сеньера, как проявление того стремления к свободе, которое является основным психическим состоянием французского tiers état. Восстание, как источник городской свободы, борьба за коммуну, как форму самоопределяющейся и самоуправляющейся городской общины, остается идеей, общей решительно всем французским историкам города, и только в книге Оттокара она нашла себе строгую критику. Правда, уже для историков 90-х годов—Люшера, Флака и Пиренна—она не занимает того центрального места, которое находим мы для нее в построении Тьерри. Каждый из них видит в ней лишь форму, через которую могло осуществится окончательное закрепление корпоративной связи среди городского населения. Ее неизбежность вызывается необходимостью сломить сопротивление сеньера, сеньериального мира, мешающего естественному развитию города. В дуализме средневекового города—сеньериальная civitas и новый торгово-ремесленный фобург—и в противоположности интересов лежит об'ективная причина этой борьбы. Но самая эта борьба возникает благодаря созданию сплоченности и корпоративности среда разрозненного городского населения и потребности для торгового населения обладать особыми условиями жизни, не совпадавшими с нормами сеньериального мира. Проблема образования корпоративности, ассоциативных связей среди населения стала предметом особого исследования Флака, тогда как Пиренн обратил свое внимание на выяснение роли купеческого сословия и изучение его потребностей, как мотива образования особого городского права и городской конституции. Но и здесь книга Оттокара, отрицая дуализм города, как постоянное явление, и противополагая ему идею исконной об'единенности многих из французских городов, подрывает в значительной степени отправные пункты в построениях французских ученых.

Если и не разделить пессимистической методологии Оттокара, нельзя не признать, что в своих критических частях она чрезвычайно сильна, основательно подрывая многие устои старых школ. И если только ей суждено стать известной французской науке, вряд ли может возникнуть сомнение в том, что в историографии нашей проблемы ей выпадет честь послужить исходным пунктом нового периода.

И. Цемш.

Новейшие труды по истории идейной жизни XVIII века.

На духовной жизни века „Просвещения“ сосредоточено внимание многих западноевропейских ученых, пересматривающих установившиеся в литературе мнения об эпохе. Война задержала опубликование их трудов, некоторых из них отняла у науки навсегда. Ньер Морис Масон в землянке окопов правил корректуру своей диссертации La religion de J. J. Rousseau. Для Масона Руссо—реставратор религиозности, а поскольку возрождение последней равносильно во Франции реставрации католицизма, „Жан Жак был одним из тех, кто оберегли католицизм в избранной части французской интеллигенции... Так называемый революционер был в религии одной из консервативных сил страны. Этот духовный сын Кальвина работал,—может быть, без прямого желания, но и без неохоты,—ради торжества „папизма“. В первом томе Масон изучает личное религиозное развитие Руссо, во втором рассматривает сущность его „исповедания веры“, в третьем—влияние его на религиозную реставрацию. В первой части автор находится в круге тем, уже основательно изученных биографами Руссо и исследователями его религиозного миросозерцания, Дюкро, Риттером, Кенде, Зейпелем. С исчерпывающей документированностью, на основании всех текстов, изданных и архивных, устанавливает Масон последовательные этапы религиозного обращения Руссо и, следя за этим длительным процессом, вскрывает черты религиозной биографии Руссо, ускользнувшие от его присяжных биографов. В этой очень солидной реконструкции можно, однако, отметить шаткость тех построений, которые возведены на базе мемуаров г-жи д'Эпинэ. Хотя Масону известно, что данные их о внутреннем состоянии Руссо в эпоху дружбы с „философами“ препарированы Дидро (см. его статью в Annales de la société J. J. Rousseau), он без критики принимает их показания и пользуется известным разговором Руссо с г-жей д'Эпинэ после обеда у m-lle Кино, признаниями, в приступах неверия во мраке ночи, au fond du cabinet и т. д, хотя это—очевидное воспроизведение одного из писем Дидро к Вольтеру. С точки зрения общей истории идейной жизни более интересны те части работы Масона, в которых он устанавливает отношение Руссо к современникам и к идейным предшественникам. Против общей постановки вопроса у Масона можно возражать, оспаривая традиционное противопоставление Руссо „философам“

en bloc. Нет сомнения, Масон указывает на тесное идейное взаимодействие Руссо и Дидро в годы их дружбы и признает сильное воздействие Дидро и на Руссо. Но в этом общении Дидро и Гримма с Руссо он усматривает соприкосновение элементов, внутренне вполне чужеродных, а в самих Дидро и Гримме не видит ничего сверх обычного гольбахианства; если бы Масон обратил внимание на элементы внутреннего сродства, на антирационалистические опыты всех троих в философии и политике, он приобрел бы более верную точку опоры при изучении этого момента духовного развития Руссо; возможность длительного воздействия на Руссо со стороны Дидро, представленного только в качестве энциклопедиста-отрицателя, остается непонятной. „Подготовке религиозного руссоизма мыслью XVIII века“ посвящена особая глава. В ней существенны обрисовка первых попыток философии чувства, в борьбе с выводами сенсуалистической философии, изъять сферу совести из области положительного исследования, а также изучение идущей от Фенелона христианизации понятия „природы“ и идеи исконной благости человека, приведшей ко времени Руссо к синкретической „натурализации христианства“. Черная отовсюду, из всевозможных мыслителей и рядовых современников эпохи, Масон обнаруживает у них элементы слагающегося религиозного руссоизма. Пред читателем яркая культурно-историческая картина, но сила светового эффекта идет в ущерб отчетливости рисунка. Исследователь истории идей тщетно бы искал у Масона, помимо подбора извлечений из всевозможных авторов (иногда глубоко различных, находящихся между собой и с Руссо в самых разнообразных и часто весьма отдаленных отношениях идеологического родословия) разграничительных линий и путей идейной преемственности.

Что касается „исповедания веры“ Руссо, Кенде, ближайший предшественник Масона, был убежден в постоянстве его религиозных высказываний и потому совершенно пренебрег изучением развития его религиозности. Взгляд Масона противоположный. Он основан на тщательном изучении текстов Руссо, свидетельством которого является его критическое комментированное издание „Исповедания веры савойского викария“ (1914 г.), снабженное всеми вариантами различных рукописей „Исповедания“. На основе детального изучения построен вывод Масона о внутренней борьбе Руссо за религиозную истину и о постепенном раскрытии ее содержания для Руссо, ищущего совершенно личной веры, „освобожденной чувством от тирании разума и разумом—от эгиды авторитета“. „Исповедание“ в своей окончательной редакции—боевое „антифилософское“ произведение; по существу религиозной психологии оно отступает от основных положений трактата, в который вкраплено: принимаемая викарием вслед за Паскалем исконная двойственность человеческой природы несовместима с принципом исконной благости природы: Руссо—в преддверии христианской реставрации. С точки зрения последней тенденции Масон подходит к теории гражданской религии Руссо. За эту главу, как он доказывает, Руссо принялся тотчас же

по окончании „Исповедания“. Не видел он того противоречия между установлениями гражданской религии и началом совершенно личной веры, на которое постоянно указывают исследователи? По текстам видно удовлетворение, испытываемое им от совпадения существенных истин приобретенной веры с необходимым для гражданина религиозным минимумом. Но утверждение последнего противоречит совершенно ланцизированной политической философии первоначальной редакции „Общественного Договора“ и вводит в поиски религиозного обоснования общества; в противоречивой форме обнаруживаемые у Руссо, они доведены до конца у Шатобриана.

Отношению Руссо к религиозной реставрации посвящена третья часть труда Масона, наиболее интересная по новизне исполнения задачи, давно поставленной, но впервые выполняемой. Как всегда у Масона, к разрешению вопроса привлечен богатый материал. Автор сам видит угрожающую ему опасность парочитого возведения к Руссо того, что высказывалось независимо от него, хотя и в его духе, в общем духе растущего духовного движения века. К сожалению, Масон не избежал этой опасности: огромный материал, по необходимости, анализируется бегло и часто спорны приемы опознания его руссоистского происхождения. Поэтому ряд глав о „прихожанах савойского викария“, о „бессознательных учениках“ и т. п. гораздо больше дают (и много дают!) для общей характеристики духовной жизни предреволюционной Европы, чем для строгого доказательства руссоистского генезиса религиозных настроений этой богатой исканиями поры. Масон находит у Руссо три элемента позднейшей христианской апологетики: признание верховенства чувства, разрешение религиозной контраверсы с точки зрения истинного блага, а не теоретической истины, обнаружение красоты христианства; он показывает, как католические апологеты, „чувствительные священники“ в роде Ламуретт, Фоше и др., воспользовались идеями Руссо и развили их в своей аргументации. „Что больше всего поражает историка последнего двадцатилетия XVIII в., это—непрерывность литературной традиции поверх мрачной ямы террора“. „Революция, возмутив общество, оставила совесть нации или по крайней мере ее умственную жизнь почти неприкосновенной“, и это одинаково относится и к свободомыслящим и к верующим. Лишь недостаточное знание религиозной литературы последних лет старого порядка позволяет видеть после эпохи террора новое направление духовных стремлений нации. Революция, может быть, лишь несколько замедлила „нормальное развитие чувств и идей“ и без нее „Гений христианства“, быть может, был бы возвещен ранее. Масон ставит и разрабатывает на своем материале важный общий вопрос: не предшествовал ли идейный кризис социальному, парадоксально говоря,—не была ли реакция подготовлена духовным развитием эпохи до свершения революции. Как бы то ни было, цитированные утверждения автора не находят достаточной опоры в его труде. Он не останавливается на генетической зависимости „Гения“ от „Опыта о революциях“, отражающего

в свою очередь действие тех событий, кульминационным моментом которых был террор; он не различает между литературной подготовленностью „Гения“ и расположением общества к его восприятию; подготовленность была налицо до революции благодаря апологетическим книжкам „чувствительных“ священников, но расположение возникло после революции: „Гений христианства“, как литературное явление, мог заключаться целиком в сочинениях Ламуретта и Фоше, но тщетно было бы искать возможности для „Гения христианства“ жить полной общественной жизнью без революции и помимо нее.

Последняя глава труда Масона посвящена вдумчивому анализу руссоизма „Гения Христианства“. Он находит у Шатобриана в развитом виде все элементы христианской апологетики Руссо. Что же касается радикального, повидимому, различия исходных начал, то утверждение доброй природы у Руссо не исключает чисто христианского признания человеческой двойственности, а догмат первородного греха у Шатобриана скорее имеет эстетическое значение, чем служит фундаментом морали, проповедующей борьбу с природой. Идеал доброй природы скрыто присутствует в „Гении Христианства“.

Труд Масона вызвал живой отклик в научной критике. Масон не имел возможности отвечать своим критикам. Он был убит на войне и степени доктора удостоен посмертно.

Книга Масона „La religion de J. J. Rousseau“ во многих отношениях является типическим в новейшей французской литературе по истории идейной жизни XVIII века. Обычно это труды историко-литературной школы, выполнены методами, воспринятыми у Лансона; интерес авторов обращен к изучению „антифилософской“ стороны „философского“ века; научные искания имеют религиозную основу, ясно видимую у Масона при всей его сдержанности. Одновременно с книгой Масона вышел большой и чрезвычайно тщательный труд Albert Monod—De Pascal à Chateaubriand. Автор ставит своей задачей восполнить обычное изложение духовной культуры эпохи „Просвещения“ изучением христианской апологетики в тех видоизменениях, которые получила защита христианства под действием философских нападений. Работая одновременно с Масоном и независимо от него, автор сошелся с ним в некоторых выводах, в частности—во взгляде на реактивную роль Руссо, „лучшего апологета своего века“. К сожалению, в труде Моно отсутствует Шатобриан (как и Паскаль), что делает его внутренне незавершенным.

Из того же научного круга вышел труд Cherel'я, ученика Лансона и преемника Масона по кафедре истории французской литературы в Фрейбургском (Швейц.) университете: „Fénelon au XVIII siècle en France“. На частную тему из той же области написана книга E. Seillière „M-me Guyon et Fénelon précurseur de J. J. Rousseau“. Обе они вызваны тем интересом к Фенелону, можно сказать,—вновь открытому в начале XX века, который пробудился в новейшей литературе, главным образом французской. В этом отношении особенно знаменательна и важна первая из указанных работ, изу-

чающая фенелонизм в самых разнообразных областях французской духовной культуры со времени смерти Фенелона до 1820 г. В той работе по воссозданию идейной эволюции XVIII века, которою заняты новейшие историки французской литературы, труд Шереля подобен труду Масона; в совокупности они дают представление о новейшем изучении наиболее, быть может, существенных этапов этой эволюции. Следует упомянуть в этой же связи о посмертном издании работы молодого ученого, убитого на войне, André Ruplinger, ученика Лансона, выполненном под редакцией его учителя. Предмет ее—„Un représentant provincial de l'esprit philosophique du XVIII siècle en France, Charles Bordes". В бытность Руссо в Лионе Борд посвятил его в философию, а впоследствии, неотступной полемической борьбой с ним, помог ему „открыть глаза" на свою собственную философию. Это доказывает Рюпленже, рассматривая Борда как четкого антагониста Руссо и типического представителя „философии".

Большой культурно-исторический интерес, даже в хронологических пределах XVIII века, имеет труд Pierre Kohler'a—„M-me de Staël et la Suisse". Швейцарский автор поставил себе ту же цель, что и его соотечественник Валетт при написании „Rousseau—genevois", но удачно избег патриотических преувеличений. Погружение в швейцарскую среду оказалось полезным для понимания г-жи Сталь, в частности ее политических идей, представленных у Колера в зависимости от влияний швейцарской конституционной школы XVIII века с Бомоном во главе. Неизданные материалы богато представлены в труде Колера. В последнем отношении выдающийся интерес представляет задуманная André Beaunier во многих томах биография Жубера; предпринятая в рамках изучения „Жубера и его времени", она доведена в двух вышедших томах до начала революции. В богато документированном изложении пред читателем предстает вся литературная среда Жубера, в которой много внимания уделено Дидро, Ретифу, в особенности Фонтану.

Что касается биографии Руссо, которую Дюкро закончил изданием II и III томов, то в чисто биографическом отношении это первоклассный труд, разрешающий ряд спорных или неясных вопросов жизнеописания Руссо. По вопросу о взаимоотношениях деятелей культурного движения века важны те главы, в которых автор удачно опровергает известное утверждение г-жи Макдональд, что Мемуары г-жи д'Эпинэ и „Литературная Корреспонденция" Гримма были преднамеренными и удачными орудиями оклеветания Руссо, и доказывает, что действительным инициатором и руководителем преследования был Вольтер. Сочинение Дюкро призвано в качестве литературной биографии из'яснить и систему Руссо в меру ее биографической обусловленности. Ценность этой части работы значительно меньше; изучение системы у Дюкро даже отстает от ранее достигнутых наукой результатов: общая воля у него означает волю народа; „Общественный Договор" оказывается в полном противоречии со всеми другими произведениями; он и написан будто бы

раньше всех других произведений Руссо и т. д. Очевидно, под влиянием веяний времени к биографии привешена большая глава о религиозной эволюции Руссо, внимательно исполненная, но мало добавляющая к предыдущим опытам в этом роде.

В заключение обзора следует указать на вышедшие за годы войны образцовые издания политических сочинений Руссо, выполненные профессором Лидского университета Vaughan'ом. Одно из них, в 2 томах, обнимает The Political Writings Руссо в их хронологической последовательности. Издание снабжено введением и обширным подстрочным комментарием, свидетельствующим о чрезвычайной осведомленности редактора в текстах Руссо, филиацию которых редактор пытается обнаружить в своем историческом издании его политических сочинений. Vaughan старается установить согласованность и единство политических идей высоко ценимого им Руссо. Той же идеей проникнут комментарий к образцовому изданию „Общественного Договора"; оно напоминает известное издание Болавона, но превосходит его полнотой, благодаря включению неизданных текстов, и богатством вспомогательного аппарата.

Е. Петров.

А. И. Тюменев. Очерки экономической и социальной истории древней Греции. Петерб. 1920—1922. 3 т. т. Стр. 179+308+183.

Автор предпринял „попытку поставить в связь судьбу Греции с условиями ее экономического развития и таким путем устранить... недоразумение, которое подало повод к преувеличенной оценке значения античной культуры для современности",—„попытку, при помощи частью достигнутых научных результатов, частью собственных экскурсов, реконструировать в виде единого органического целого общую картину экономической и социальной жизни древней Греции" (I, 5). Он старается подвести экономический базис под явления греческой истории. Явления эти он об'ясняет главным образом экономическими причинами и классовыми отношениями. За исходный пункт своего изложения А. И. Тюменев принимает время сложения Гомеровского эпоса, т. е. X—IX в., а заканчивает последним социальным кризисом (II в. до Р. Х.) и падением политической независимости Греции—подчинением ее Риму.

I-й том „Очерков" имеет подзаголовок: „Революция," II-й—„Расцвет и кризис демократии", III-й—„Упадок". На обширном содержании этих „Очерков", охватывающих такой огромный период, мы не можем останавливаться подробно. Отметим лишь главные положения их и некоторые отдельные места.

Основные положения автор намечает уже в I-м томе. Содержание этого тома шире подзаголовка: в нем рассматривается не столько „революция", сколько эволюция, пережитая Грецией на пространстве многих веков—от „Гомеровской Греции и господства аристократического класса" до экономической эволюции IV в. до Р. Х. включительно. Автор подчеркивает разницу в экономическом развитии Греции и Западной Европы, городов греческих и городов средневековых. Скорое падение владычества греческой аристократии зависело, по его словам, не от непрочности ее могущества, но от общих перемен экономического и социального характера. В Западной Европе феодальный порядок долго держался благодаря медленному темпу экономического развития. „В Греции, напротив, именно быстрый прогресс и усложнение экономической жизни свело время господства землевладельческой знати к minimum'y" (24—25). Характерное отличие истории освободительного движения греческих городов от коммунального движения средних веков, это—связь с деревней. Средневековая коммунальная революция была революцией чисто городской, чего нельзя сказать о древнегреческом кризисе VII в. Последний был больше восстанием народных масс, преимущественно крестьянских, против господства землевладельческой знати (60). Античный город—по преимуществу торговый, средневековый — город ремесленных цехов, промышленный (81).

Греческая торговля—посредническая, „паразитическая"; отсюда—погоня за внешними рынками, преобладание вопросов внешней политики, усобицы (81 сл.). И греческая промышленность работает на внешний рынок, не имеет под собою никакого прочного и надежного основания (89 сл.). В древней Греции мы не встречаем такого резкого обособления города и деревни, как в средневековой жизни (140). „Несмотря на сравнительно широкое распространение и влияние, какое успело приобрести денежное обращение в Афинах, новые хозяйственные отношения, однако, все-же не могли вполне вытеснить и старой системы натурального хозяйства". Основой экономической жизни Афин даже V и IV в., хотя и с некоторыми оговорками, можно все еще считать натуральное хозяйство

(139 сл., 142). А. И. Тюменев отмечает противоположность между торговым под'емом и отсталостью экономического развития. Основным противоречием экономической жизни греческого города, наличностью торгового обмена и денежного обращения при отсутствии действительных элементов для создания новых форм экономического быта он об'ясняет резкое различие взглядов Бюхера, с одной стороны, Эд. Мейера, с другой. „Бюхер", говорит автор, „совершенно неправ, отрицая за товарно-денежным обращением в древности всякое значение, но, пожалуй, еще более удаляется от истины противоположный взгляд Мейера", преувеличивающего, по мнению А. И. Тюменева, значение торговли и промышленности в Греции.

В общем результате „не только экономическая, но и вся вообще культурная и общественная жизнь античного города", по А. И. Тюменеву, „оказывалась без прочной опоры под собой и как-бы висящей в воздухе". „Великан на глиняных ногах", вот сравнение, которое он находит применимым к Греции более, чем к какому-либо иному государству древности (155—6). Но нет ли противоречия во взглядах автора, выдвигающего на первый план, как главный фактор, то внешнюю торговлю Греции, то ее земледельческое хозяйство? В частности, разве между Халкидой и Эретрией было только торговое соперничество (82—83)? А Леланское поле?.. И не преувеличивает ли автор разницы между греческим и средневековым городом? Разве внешняя политика и внешняя торговля не играла такой большой роли в жизни последнего? Для итальянских городов он сам делает исключение (91, 151). Но не следует ли распространить это и на города Нидерландов, Германии, хотя бы, напр., с ее Ганзой? А. И. Тюменев имеет в виду, вероятно, ранний период в истории средневекового города и упускает из виду более поздний.

Запросы торговли вызвали к жизни рабскую промышленность (135—6). В вопросе о рабстве А. И. Тюменев тоже не соглашается с Эд. Мейером, настаивающим на существовании свободного труда наряду с рабским, и возвращается скорее к прежнему взгляду, преувеличивавшему число и значение рабов в жизни древних греков. Вопросу о том, почему промышленность античного и средневекового города пошла различными путями и почему рабство получило такое распространение, по мнению А. И. Тюменева, уделялось недостаточное внимание, и он на нем останавливается (92). Причину распространения рабства, этого „чисто экономического факта", он справедливо видит не столько в войнах, сколько в условиях экономического развития Греции. Рабство было нездоровым явлением выросшим на нездоровой социально-экономической основе (95). Оно же являлось главным фактором в пролетаризации афинского гражданства. А. И. Тюменев предполагает, что пионерами в торговле рабами и первыми инициаторами применения рабского труда в промышленности выступили представители торгово-аристократических элементов (100—101), но данные для такого предположения недостаточны, и далее он сам сознается, что рабская промышленность была в руках представителей иных классов. Рабский труд, по его словам, применялся сначала в обширных размерах с промышленными целями, а потом распространился и на остальные области хозяйственной жизни—в сельском и домашнем хозяйстве (103). Не наоборот ли?

II-й том посвящен афинской демократии, ее расцвету и ее кризису в V в. Историю Афин А. И. Тюменев об'ясняет главным образом классовыми отношениями: он говорит о существовании и борьбе двух фракций в среде аристократии—землевладельческой знати и торгово-промышленной аристократии.

На этой борьбе он реконструирует в сущности всю афинскую историю, хотя в источниках для этого нет данных, и самое существование постоянной торгово-аристократической фракции весьма проблематично. Но у А. И. Тюменева Солон, тираны, Клисфен, Фемистокл, Эфиальт и Перикл, даже Мironид, Алкивиад, Ферам[illegible] и Критий (по крайней мере, до своего изгнания), все это представители торгово-аристократической фракции.

О Солоне говорится еще в I т. Обычный взгляд на него, как на посредника между партиями, и на его законодательство, как на продукт личного творчества, А. И. Тюменев считает „глубоким заблуждением" (67). Солон не теоретик, а „политик-практик", определенно действовавший в интересах своего класса; в его законодательстве А. И. Тюменев видит классовую тенденцию (67—68).

Политика тиранов, при всей их демагогии, диктовалась прежде всего интересами их класса—торговой аристократии (79), и значение тирании в том, что она расчищала путь для торговой аристократии. Реформа Клисфена не личная, а классовая (II, 41). Ее цель—основать господство торговой аристократии на поддержке численно выросших к этому времени городских элементов населения (II, 50). „Реформа Клисфена представляет эпоху не только в истории Афин, но и в истории всей Греции". Здесь мы имеем дело с первым организованным выступлением собственно городской демократии (II, 56),—утверждение, для которого нет никаких оснований (кроме разве принятия метэков в число граждан). Но отношения Алкмеонидов к персам в последующую эпоху обрисованы у А. И. Тюменева правдоподобно (66—67).

По словам автора, Фемистокл выдвинулся благодаря главным образом крупным денежным средствам (76, прим. 2). А не способностям, как явствует из Фукидида? Почему доказательством того, что политика Фемистокла соответствовала в общем традициям и интересам торгово-аристократической фракции, может служить правильная оценка его политического гения Фукидидом, совершенно непонятно.

Эфиальт у А. И. Тюменева вождь не демоса, а торгово-аристократической партии, равно как и Перикл. В глазах А. И. Тюменева Перикл—демагог в худшем значении этого слова: все его внутренние мероприятия продиктованы ему соображениями именно демагогического, а не демократического характера; да и в условиях политического развития античного мира, в частности Греции, никакая иная политика не представлялась возможною (117—118). Демагогия являлась неизбежной (122). Она вместо демократии представляла в древней Греции не только широко распространенное, но в глазах самих греков естественное явление (119), при чем А. И. Тюменев замечает, будто даже Аристотель не находил в применении демагогических приемов в политике ничего предосудительного, что, разумеется, неверно: стоит только вспомнить, как говорит Аристотель о демагогах в своей „Политике". Введение системы денежного вознаграждения Периклом А. И. Тюменев об'ясняет только демагогией, борьбой с Кимоном. Причину продолжительного господства Перикла он видит не в личных его свойствах, а в партийных отношениях и в соотношении сил отдельных партий,—в отсутствии политических соперников у торговой аристократии. Положение Перикла сразу пошатнулось, как только нашелся противник, который пошел далее по пути демагогии. Это был класс промышленников-рабовладельцев и денежных капиталистов (144). Класс этот с особенной энергией и настойчивостью стремился к расширению торгового влияния Афин и приобретению все новых рынков (148). В стремлении своем к авантюрам он находил себе поддержку в городском пролетариате (149). Чтобы выйти из затруднительного положения и отвлечь общественное внимание от внутренней политики, Перикл „провоцировал" Пелопонесскую войну (151) И А. И. Тюменев подчеркивает „явно агрессивный и вызывающий характер" действий афинян по отношению к Коринфу. Мир, по его мнению, еще можно было сохранить, отменив псефизму относительно Мегары. А. И. Тюменев, следовательно, расходится с Фукидидом, по которому война в Спарте была заранее решена (I, 119—126). Периклов план войны он находит ошибочным (157), а в речи Перикла над павшими воинами—грубую лесть (159). Словом, взгляд А. И. Тюменева близок к тому, который еще в 80-х годах высказывали не в меру строгие судьи Перикла—Макс Дункер, Пфлуг.-Гарттунг, Юлиус Швари и который мною был подвергнут разбору более 30 лет тому назад (в „Перикле", 1889). Не отрицая влияния личных мотивов Перикла [1]) в деле введения денежного вознаграждения и Пелопонесской войны, следует признать, что тут были и другие, более глубокие причины. Денежное вознаграждение было необходимо при демократическом строе, а война—неизбежна. На

[1]) А. И. Тюменев приписывает мне не раз то, чего я не говорил. Личных мотивов Перикла я не отвергал (см. „Перикл", 92, 220, 338; ср. и „Историю афинск. демократии"); я вовсе не утверждал, будто „мир со Спартой, война с Персией" было программой о д н о г о Кимона. Демократом Кимона я не считал, а говорил, что он был народным любимцем и что аристократизм его был довольно умеренным („Перикл", 89).

стр. 202 сам А. И. Тюменев признает, что Пелопонесская война возникла не в силу случайных обстоятельств, но под влиянием более глубоких причин. Зато совершенно верно, что Перикл ни во внутренней, ни во внешней политике не был особенным новатором.

В лице Перикла, по А. И. Тюменеву, потерпела поражение торговая аристократия (160). По его словам, в дальнейшем обострение междупартийной борьбы на почве внешней политики—момент привходящий, случайный, а сущность борьбы—в столкновении классовых интересов, непосредственное продолжение партийной борьбы эпохи Перикла (162). Влияние оспаривают аристократия землевладельческая, торговая и класс денежных капиталистов.

Алкивиад у А. И. Тюменева выступает тоже, „по всей вероятности", как представитель торгово-аристократической фракции или, по крайней мере, части ее (231). Он действовал не за свой риск: он—глава организованной партии. Противоречивость в поступках и нерешительность Никия об'ясняется не столько его индивидуальными качествами, сколько неопределенностью положения его фракции (246). В принятии двух конституций во время олигархического переворота 411 г. автор склонен видеть результат компромисса между умеренными и крайними олигархами (261). Фрасибула он считает более, чем сомнительным демократом (266). Данный олигархам ответ показывает, что симпатии Фрасибула и других новых стратегов были скорее на стороне умеренных олигархов, а не демоса. В умеренной конституции 5000 А. И. Тюменев видит возвращение к Солоновой (273—4). Обвиняемые стратеги в процессе после победы при Аргинусах, по А. И. Тюменеву,—члены торгово-аристократических фамилий и фракции, и процесс их носил политический характер (283—4).

И даже Критий у А. И. Тюменева—„видный представитель торговой аристократии", до своего изгнания (286). Ферамен—сторонник Солоновой конституции. Он, по мнению А. И. Тюменева, последовательнее многих своих современников. Его колебания—вина не его, а обстоятельств. Причина—бесснлие, беспочвенность общественного класса, представителем которого он был,—все той же торгово-аристократической фракции (297—8). К его сторонникам принадлежал будто бы и Архин (304 сл.).

III-й том посвящен упадку афинской демократии и общему кризису, падению политической независимости Греции. Не война, говорит А. И. Тюменев, была причиной крушения афинской демократии. Причина коренилась прежде всего в ненормальных условиях экономического и социального развития (III, 7). „Как экономическая, так и социальная жизнь Афин в IV ст. одинаково уперлась в тупик" (21), политическая—тоже (30). „В условиях экономического развития древности всякий экономический прогресс представлял собою нечто в роде двуликого бога Януса с показной светлой и оборотной темной стороной, и, потому, чем полнее, с одной стороны, был прогресс экономической жизни, тем выпуклее и определеннее, с другой стороны, выступали и его отрицательные стороны, заключавшие в себе семена упадка и разложения"... Непосредственным следствием интенсификации сельского хозяйства и распространения рабской промышленности должна была явиться массовая пролетаризация земледельческого и ремесленного населения (10). „Пролетариат древних Афин не только не был в состоянии играть той прогрессивной роли, какую играет пролетариат в наше время..., но, напротив, сам, именно, являлся одним из главных ферментов разложения" (43).

Реформаторские проекты того времени, почти исключительно литературные, „ищут улучшения современного печального состояния не в указании каких-либо новых путей развития, не в дальнейшем прогрессе общественной жизни, но прежде всего в возвращении к прошлому, и таким образом проникнуты не прогрессивным, а скорее реакционным духом". Проекты Платона представляют собой в сущности идеализацию спартанских порядков (45). Адлер в своей Geschichte des Socialismus und Kommunismus, по мнению А. И. Тюменева, „метко называет Платона „социал-демократом"... Даже современная наука, вообще плохо разбирающаяся в вопросах социализма (sic), довольно правильно в конце концов сумела оценить „социализм Платона". Не социалистическим, а, напротив, глубоко аристократическим духом проникнуты его оба государственные проекты — и в „Государстве", и в „Законах". „Аристократизм при этом соединяется у Пла-

тона с еще более реакционным по своей сущности теократизмом" (45—46, прим.). Характерен отзыв А. И. Тюменева об Исократе: Исократ—яркий пример политической беспринципности; он не дает себе отчета в том, что понятие справедливости само по себе субъективно, допускает разные толкования, „и, напр., в частности глубоко различно с аристократической, демократической и, наконец, с монархической точки зрения" (48—49). Беспринципность Исократа не столько индивидуальная, сколько одно из проявлений общего духа времени (50).

Изложение в той части „Очерков", в которой автор говорит об отношениях Афин к Македонии,—скомканное.

Главную особенность экономической эволюции IV в. А. И. Тюменев видит в постепенном распространении денежно-хозяйственных отношений на более отсталые области Греции (74). Даже Спарта подверглась действию новых экономических факторов (76). Экономическая перемена здесь приводит к усилению олигархии и в политическом отношении имела чисто реакционное значение (78). В Спарте происходит процесс пролетаризации. Ко времени Агиса и Клеомена Спарта превратилась в главный очаг социального брожения для всего Пелопоннеса (80—81). Само социальное движение в Спарте III в. А. И. Тюменеву представляется реакционным (150); оно стремилось вернуть прошлое. Агесилай, дядя и подстрекатель Агиса, „скорее собирательный тип, представитель целого общественного класса" (154). Клеомена автор сравнивает с тиранами (158). Для него социальная реформа—средство, цель—политическая (161).

Революцию, произведенную Пелопидом и его сообщниками в Фивах, по мнению А. И. Тюменева, можно сравнивать не с восстановлением демократии в Афинах после Тридцати, а с изгнанием Исагора и победой Клисфена (99).

Пелопоннесское демократическое движение IV в. слабо, несамостоятельно, возникло не столько в силу местных причин, сколько под влиянием извне, со стороны (106). По характеру своему оно напоминает движение VII в., в восточной части Пелопоннеса носит более социальный, внутри его—более политический характер. Для характеристики его автор приводит, между прочим, любопытные черты из военного писателя Энея (107—8).

Причина слабости политических организаций III ст., этолийского и ахейского союзов, по мнению А. И. Тюменева, заключается прежде всего в сельском характере областей (125), в политической пассивности и индифферентизме преобладающей массы сельского населения (132). Крестьянство оказывалось неспособным к политической жизни. Затем, едва ли не большее еще значение имели и общие условия социально-экономического развития. Социальная борьба в Греции первой половины II в. до Р. Х. в общем может быть названа социальным разложением (167). „Политическая жизнь Греции умерла естественною, а не насильственною смертью", говорит А. И. Тюменев. Греция была в агонии. С упадком ахейского и этолийского союзов, последние резервы страны были истощены; вся Греция оказалась охваченною общим процессом разложения. Роль римского завоевания заключалась в том, что оно, быть может, несколько сократило время политической агонии страны (183).

Но неужели, „когда германские племена утвердились на развалинах римской империи, античная культура", как говорит А. И. Тюменев в „Предисловии" (I, 3—4), „уже исчезла, *не оставив после себя никаких следов*"? и „античный мир погиб так трагически и печально, не оставив после себя культурных наследников"? Надо ли доказывать, что элементы античной культуры вошли в средневековую и новую? и неужели „Возрождение" есть только „легенда", созданная „идеологами новой буржуазии"?

В современной науке господствует воззрение, что древний мир переживал многое из того, что переживает мир новый. Она ищет в нем параллелей, явлений аналогичных. Пельман посвятил целых два тома истории социального вопроса и социализма в античном мире. А. И. Тюменев против такой модернизации древности. По поводу сравнения совета демиургов в ахейском союзе с современным советом министров, какое находим у Фримана, он замечает, что „всякое подобное сопоставление древности и современности может привести в конце концов лишь к ложным выводам" (III, 127, прим. 4), что, однако, не мешает ему сопоставлять реформу Клисфена с парламентской реформой в Англии 1832 г. (II, 50) или назвать Спарту „международным жандармом, каким была долгое

время Россия в отношении Западной Европы" (II, 91). О Пельмане он отзывается резко: „Пельман, которому вообще так свойственно ошибаться"... (III, 38, прим. 2); „даже такой мало проницательный исследователь, как Пельман"... (III, 114, прим.). А. И. Тюменев отвергает не только коммунистический характер движения VII—VI в., считая его чисто крестьянским, но и вообще существование социализма в античном мире: „все старание Пельмана найти хотя бы намек на это", говорит он, „может быть объяснено только предвзятой точкой зрения человека, задавшегося целью написать историю того, чего в действительности никогда не существовало, т. е. античного социализма" (I, 58, прим.). „Самые условия социально-экономического развития древности исключали возможность возникновения социалистических воззрений" (III, 39). Пельман, действительно, часто преувеличивает, делает натяжки, иногда видит признаки социализма там, где их и нет, но отрицать вообще существование коммунистических и социалистических стремлений в древности (хотя и не в том точно смысле, как понимается социализм в наше время), едва ли можно. Стоит вспомнить хотя бы о некоторых теориях древности, о комедии Аристофана: „Женщины в народном собрании", о которой говорит и А. И. Тюменев, или об общности имущества на Липарских островах (см. об этом ст. Ф. Г. Мищенка в Ж. М. Н. Пр., 1891).

Источники и литературу предмета автор знает (но сравнительно редко пользуется надписями). Он ссылается не только на известные труды [1]), но и на работы малоизвестные. К сожалению, он недостаточно объективен и с источниками обращается иногда произвольно. Вот примеры. А. И. Тюменев говорит: „Привычка к широкой жизни побудила Солона обратиться к занятию торговлей" (I, 65). Между тем, в наших источниках, на которые и он ссылается, говорится не о широкой жизни Солона, как побудительной причине к занятию торговлей, а что отец Солона своею добротою и щедростью расстроил свое состояние, и Солон, не желая принимать помощь от других, обратился к торговле, при чем указывается и на иной мотив—его любознательность, которая побуждала его странствовать (Plut, Sol., 2) [2]). Или: по словам А. И. Тюменева, хозяйство Перикла может служить примером хозяйства аристократа, участвовавшего в то же время в торговле (II, 147, прим.). Но продажу, для избежания хлопот и траты времени, всех плодов, ежегодно собираемых в имениях, и потом покупку всего необходимого ежедневно на рынке, о чем говорит наш источник (Plut., Per., 16), едва ли можно приравнивать к той посреднической, внешней, „паразитической" торговле, которую имеет в виду А. И. Тюменев. На стр. 268, прим. 3, т. II, он замечает, что из текста 28 гл. „Афинск. Политики" Аристотеля „не видно, о каком именно Фукидиде, о сыне ли Мелесия и противнике Перикла, или же историке идет в данном случае речь, хотя Плутарх (Nic., 2) и считает, неизвестно, впрочем, на каком основании, что Аристотель в указанном месте имеет в виду именно сына Мелесия". Основание ясно: у Аристотеля в указанной главе речь идет о вождях партий, а политическим деятелем и вождем партии был Фукидид, сын Мелесия, а не историк.

Как заявляет автор, „Очерки" закончены были еще в начале 1917 г.; потом в них внесены лишь незначительные дополнения и исправления.

„Очерки" А. И. Тюменева—знамение времени. Они интересны по теме: они освещают ту сторону в истории древней Греции, на которую лишь в недавнее время стали обращать надлежащее внимание. Но освещение это не совсем верное: в них немало натяжек, произвольных толкований фактов и свидетельств, немало такого, чему нет опоры в наших данных.

В. Бузескул.

---

[1]) Белохом сначала пользуется в старом издании (в рус. перев.), но во II т. уже встречаем ссылки и на новое издание. По поводу гомерической эпохи ссылается не на монографию Finsler'a, а только на его статьи. Но это, конечно, мелочи.

[2]) Вообще к Солону А. И. Тюменев относится не беспристрастно; он утверждает, напр., что нет оснований сомневаться в достоверности известий о том, что Солон обманул демос (II, 25, прим.).

R. Ekblom. Rus et Vareg—dans les noms de lieux de la région de Novgorod, (Archives d'Études Orientales, publiées par J.—A. Lundell. Vol. 11. Upsala 1915).

Из большого числа работ по варяжскому вопросу выделяются, как наиболее ценные, те, которые изучают один специальный вопрос, как, например, имена [1]) Днепровских порогов, и т. д.

К группе таких работ относится и маленькая книга Экблома (67 страниц). В ней собраны и об'яснены—поскольку возможно—географические названия от основ „рус"-„варяг"-Новгородской губернии. В конце книги дана аккуратно исполненная и интересная карта и приложен краткий список наиболее важных, старых и некоторых новых сочинений, касающихся норманской теории. Как явствует из этой библиографии, автор не знал работы Андрияшева, [2]) сильно приближающейся к его теме. Наконец, надо сказать, что книга Экблома снабжена хорошим указателем, так что с внешней стороны она удовлетворяет всем требованиям.

В введении автор перечисляет источники, которыми он пользовался. Летом 1910 и 1911 гг. он работал в библиотеках Петрограда и Москвы и побывал сам в Новгородской губернии и в прилегающих к ней частях Петроградской и Псковской губерний. При этом—кроме скандинавских источников—он использовал следующие тексты: Новгородские летописи, Новгородские писповые книги, географические карты, начиная с XVII века, списки населенных мест Новгородской губернии из Новгородских архивов, и другие печатные источники. Сверх этого он наводил справки у коренных жителей этого края.

Первая часть книги посвящена группе с основой „Рус". Экблом соглашается с В. Томсеном (Начало русского государства), что слово „Русь" „Rötsi" надо связать с шведским „Roslagen". Но за шведским „Roslagen"—думает он—скрывается не древне-скандинавское „rother" (action de ramer), а другое слово „rother" (voie où on peut ramer). Он обращает же внимание на двойственную вокализацию „рус—рос". Однако, его об'яснение не удовлетворяет совершенно. Он предлагает две теории. Или финское о есть звук средний между славянским о—у, а поэтому славяне могли передать финское „rotsi" сперва как „русь", затем как „рось". Или этот параллелизм образовался в греческом, где, будто бы, "ω"—„ου" когда то были очень близки, почти совпадали. Вследствие этого могли там получиться формы „ῥῶς"—„ῥουσιοι".

Эти об'яснения остаются неудовлетворительными, потому-что автор не привлек южно-русского материала. По моему глубокому убеждению форма с „о" (Россия) не скандинавского происхождения, а имеет очень сложную и древнюю историю в степях южной России. (Ср. Гедеонов, Варяги и Русь, т. II).

В дальнейшем Экблом приводит термины, производимые от основы—„рус", и сообщает установленные им данные и об'яснения филологического и исторического характера. Я не остановлюсь на этом отделе, так как почти все замечания касаются сравнительно позднего времени. Укажу только, какие названия у него разобраны:—„Русь, Руса, Порусье, Порусья, Старая Руса, Новая Руса (2 названия), Околорусье, Русье, Русса, Русино, Росино, Русская дорога, Русское море, Река Русская (2 раза), Русская, Русско, Руская, Русские Новики, Русское Огорово, Русская Болотница, Русская Волжа, Русково, Русаново, Русуева, Русовщина, Русыня".—Всего 28 названий.

Следующая глава дает разбор слова „варяг". Формы „варяг" — „веряг" отражают фонетическое развитие его в скандинавском, а этим, по мнению Экблома, доказано его скандинавское происхождение. (стр. 40). Если согласиться с этим исходным пунктом, то филологический разбор надо признать чрезвычайно добросовестным. Автор рассматривает и об'ясняет все варианты.

В основе русского „варяг" лежит не „vaeringi". Оно дало бы „варязь".—„Варяг" произошло из формы винительного падежа „vaering" слова „vaeringr".

[1]) Последн. работа. „N. Pipp'ng". De skandinaviske Dnieprnamnen.

[2]) А. М. Андрияшев. Матер. по ист. геогр. Новг. земли. Шелонская пятина.—1914.

Параллелизм „варяг веряг" надо толковать так, что форма „варяг" представляет более древний слой до 1000 г. Форма „веряг" появилась после проведения [3]) перегласовки в X веке. Названия с элементом „веряг" указывают на более позднюю колонизацию скандинавов, начиная с X столетия. Надо сказать, что таких названий гораздо больше, чем старых с элементом „варяг". Тот факт, что форма с „а" упрочилась в исторической литературе, об'ясняется, может быть официальной традицией.

Колебание „варяг—варег" „е—я" есть следствие того, что в русских диалектах древнего и нового времени звуки „я—е" легко и всегда могли заменить друг друга. (стр. 34—36). При этом Экблом ссылается на авторитет Соболевского, Богородицкого и др.

В заключение он напоминает, как Куник и Томсен толковали слово „vaeringr", и сам предлагает новое об'яснение: „gens engagés par serment mutuel à s'entr'aider" (стр. 39).

Затем дается список названий, производных от „варяг—веряг", с примечаниями такого же рода, как в группе „Рус". Этот список содержит следующие названия:—„Веряжа (2 раза), Веряжка, Малая Веряжка, Глухо-Веряжа, Варяжский Перекопский, Веряжский ям, Поверяжье, Заверяжье, Веряжино, Участок веряжан, Варяжская часть, Варяжский дом, Варяжская церковь, Варецкий переулок, Варяжская улица (2 раза), Верясско, Верякина, Вареги, Верятовщина".—Всего 21 название.

Конечно, в этом кратком отзыве нельзя подробно остановиться на вопросе о „варягах". Хотелось бы только отметить, что автор слишком односторонне опирается исключительно на скандинавский материал. Между тем эта проблема освещается еще византийскими данными и—как очень вероятно—материалами литовскими и эстонскими. Я надеюсь вернуться к этой теме в особой статье.

В последней главе (Conclusion) Экблом собирает изученные географические термины в хронологические группы. Для отдела „рус" он предлагает 3 группы. К самой древней группе он относит: „Русь и Руса, (Старая) Русса, две реки „Русская", Русское море, Русье".—Во второй группе мы находим: „Русские Новики, Русское Огорово, Русская Болотница, Русская Волжа, Русовщина".—Новая группа содержит: „Порусье, Порусья, Околорусье, Русская дорога, Русино (?), Росино (?), Новая Руса (?).

Названия с основой „варяг" делятся на 3 группы. Несомненно древними являются названия: „Веряжа (2 раза), Веряжка, Верясско, Вареги, Варяжская улица (?) (2 раза). Названия „Поверяжье, Заверяжье, Веряжино, Участок веряжан, Веряжский ям"—вероятно вторичного более позднего происхождения. Остальные названия „Веряжский дом—Веряжская церковь" и др. составляют среднюю группу приблизительно XI века.

В заключение Экблом напоминает, что подобные географические названия почти не встречаются за пределами Ильменского озера в России, если не считать немногих мест в верховьях Волги, в Ярославской и Архангельской губерниях (Стр. 27 и 32 прим.).—Сравни однако Гедеонова, Варяги и Русь, т. II.

В общем надо сказать, что достоинство книги Экблома заключается в добросовестном собирании и ясном изложении фактов. Но он не делает никаких выводов. Между тем они очень возможны, как это видно из последних работ А. А. Шахматова [4]) и С. Ф. Платонова [5]). Думается, что дальнейшее изучение материала, предложенного Экбломом, может привести еще к новым выводам.

В. Брим.

[3]) Перегласовка (Umlaut): „а" под влиянием „i" соседнего следующего слога переходит около 900 года в ae—e. varing vaering.

[4]) А. А. Шахматов. Древнейшие судьбы русского племени. 1919.

[5]) С. Ф. Платонов. Руса. (Дела и дни, т. I, 1920).

В. М. Истрин. Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода (XI—XIII вв.). Изд. „Наука и Школа". Петроград. 1922 г. Стр. X+248.

Новый труд академика В. М. Истрина, несомненно, вызовет к себе живой интерес, и не только среди историков русской литературы: он войдет в круг пособий в преподавании литературы в высшей школе и прочтется с пользою всяким образованным и серьезным читателем, которому дороги думы и скорби далеких наших предков.

Пользуясь свободною формою „Очерка", автор нашел возможность дать читателю ясную и отчетливую картину древне-русской литературы домосковского периода, конечно, во-многом субъективную, но зато привлекающую цельностью изложения и не отпугивающую непрерывным подчеркиванием спорного, неясного, трудного,—чем грешат обычные университетские „курсы".

Построение „Очерка" задумано в виде двух почти одинаковых по размеру отделов. Первый—„Введение". Здесь (вместе с „Предисловием") устанавливается понятие русской литературы, дается ее схема и за нею—широкая и оригинальная картина истории литературы домосковского периода. Достаточно перечислить здесь 10 §§ „Введения", чтобы убедиться, что характеристика этого периода дана всесторонне: 1. Византийское влияние на древнерусскую литературу и ее самостоятельность; 2. Литература киевская и северовосточная; 3. Об'ем древнерусской литературы; 4. Редакция памятников древнерусской литературы; 5. Сборники; 6. Древнерусский литературный язык; 7. Хроники и хронографы; 8. Повести; 9. Патерики и жития; 10. Апокрифы.

Второй отдел „Очерка" (следующие 17 §§) дает разбор и оценку всех основных памятников нашей самостоятельной литературы домосковского периода, расположенных по векам (XI, XII и XIII вв.).

Как в первом, так и во втором отделе изложение избегает полемики и историографических обзоров, догматизирует многое спорное и неясное, но это именно и придает „Очерку" высокий интерес, потому что редко бывает, чтобы большой, взыскательный и осторожный ученый, предпочитающий многолетние и сложные разыскания изложению и обобщению чужих результатов, взялся бы за подобный труд, сводящийся по существу к ряду исследований (особенно во втором отделе) по всем основным явлениям древнерусской литературы, сжатым, к сожалению, по внешним условиям рамок „Очерка".

Само собою разумеется, что этот характер труда академика В. М. Истрина снимает с рецензента обязанность обычного изложения или разбора, позволяя лишь высказать некоторые наблюдения над постройкою „Очерка" и коснуться самых общих вопросов предлагаемой схемы истории русской литературы.

В первой части „Очерка" привлекают внимание читателя многие мысли и наблюдения автора об отношениях киевской литературы к областным, о редакциях наших памятников, об об'еме древней литературы и расширении наших сведений о ней путем восстановления недошедших памятников, но самым любопытным здесь явлением считаем попытку дать картину всего об'ема переводной литературы, каким располагал древний русский читатель, выделяя эпоху сороковых годов XI в.—переводческую деятельность Ярослава Мудрого. Здесь автор, конечно, не имеет соперников и для установления последней эпохи почти не имеет и предшественников.

Вторая часть „Очерка", как уже было сказано, представляет собою ряд исследований о главных памятниках XI—XIII вв. в нашей литературе. Исследования идут или по авторам (Иларион, Кирилл Туровский, Серапион), или по произведениям (Жития Бориса и Глеба; Летопись и т. д.). При этом построении для XI в. пропала цельность литературного образа знаменитого Нестора, не заслужили разбора и исследования Корсунская легенда и Житие Антония, не говоря о трудах Феодосия и др. более незначительных произведениях нашей письменности. Может быть следует отметить и то обстоятельство, что автору не показалось существенным собрать литературную работу второй половины XI и самого начала XII в. вокруг питавшего их духовного центра, т. е. дать оценку значения Печерского монастыря в истории умственной и национальной жизни той поры, указать на непрерывность и рост литературной работы обители, чрез два уже поколения богато представленной трудами знаменитого Нестора и, повидимому, оборванной внешним давлением руки Мономаха.

Переходя от этих замечаний к рассмотрению схемы истории нашей литературы, предложенной В. М. Истриным, постараемся передать ее словами автора: „под общим именем русской литературы следует разуметь литературу трех периодов: во-первых, периода 11—13 вв., литературу „общерусскую", во-вторых—периода 14—17 вв., литературу „московскую", как непосредственное продолжение предшествующего периода, и в-третьих, период 18- 19 вв., литературу снова „общерусскую", но, в свою очередь, как непосредственное продолжение литературы „московской".

Если оценивать эту схему не с точки зрения усовершения здесь обычных схем истории нашей литературы, предлагавшихся ранее, против которых своевременно и с полным успехом не раз выступал сам В. М. Истрин и в особых статьях, и в разборах появлявшихся „курсов" по истории русской литературы, а если подойти к ней с более широких горизонтов истории нашей церкви или истории России, то, думается, нельзя согласиться с убедительностью этой периодизации, несомненно самой обоснованной из предлагавшихся и обусловленной совокупностью ученых трудов, т. е. усвоенных дорог в разработке истории древней литературы нашей. Как бы не показалось смелою попытка предлагаемого ниже противо-построения, позволяю себе ее высказать, рассчитывая на снисходительность глубокоуважаемого В. М. Истрина, несомненно допускающего и чужаку в истории древней русской литературы сказать свое суждение над общим материалом, разрабатываемым в другом аспекте.

Выделяя XI—XIV вв., как целый период, и характеризуя его—в противоположность последующему периоду XV—XVII вв.—качеством отрицательным: отсутствием идейности, В. М. Истрин так поясняет это определение: „Отсутствие идейности в литературе XI—XIII вв. надо понимать не в том смысле, что произведения этого периода были лишь литературными упражнениями, без всякого отношения к современности, так сказать, без пространства и времени. Такое понимание было бы в корне неверно: за редкими исключениями, произведения древнерусской литературы XI—XIII вв. являлись откликами на очень определенные общественно-политические события, так что в общем должно сказать, что древнерусская литература XI—XIII вв. имела общественное значение, и ее произведения заключают в себе все данные, чтобы они могли рассматриваться с общественной точки зрения. Но мы не можем наблюдать, во-первых, того, чтобы в тот или другой век данного периода русскими книжниками настойчиво и последовательно проводилась какая либо определенная идея, а, во-вторых, того, чтобы одна идея, возникшая в известное время, постепенно в последующей своей жизни видоизменяясь, теряла бы свой первоначальный вид и последовательно заменялась бы новой, возникшей на старой основе. Такой смены литература XI—XIII вв. не знала, и ее произведения, где бы и когда бы они не появлялись, не имели между собою той внутренней сценки, которая заставляла бы одно произведение выводить из предшествующего или, несколько общее, одну группу произведений выводить из другой". Возвращаясь к этой оценке литературы XI—XIII вв. в другом месте (стр. 26), В. М. Истрин так ищет ее об'яснение: „Историческая жизнь русского государства домосковского периода не выработала идейного содержания и направления,—не оказалось того или другого и в произведениях литературы".

Нельзя не остановиться над этим приговором в некотором раздумьи. Как бы не увлекалась русская историческая наука вопросами социально-экономическими и политического быта, пред одним фактом она всегда останавливалась с высокою оценкою: пред фактом упорного существования, вопреки всякой политической очевидности, именно идеи осознанной национальности—единого русского народа и единой Русской земли,—выросшей необычайно рано, засвидетельствованной в первых же памятниках нашей письменности, с необычайною яркостью сказавшейся в создании и обработке русского летописания, бережливо-унесенной на север с никнувшего киевского юга и здесь закрепленной,—уже в татарскую пору,—в политическую программу собирания „всей Руси".

Будучи всегда не полным фактом нашей истории (вспомним особый полоцкий княжеский дом, распад единовластья в доме Игоря), единая Русская земля была идеей основною и все-наполняющею, составляя, так сказать, тот воздух, без которого не было бы жизни произведений нашей древней литературы. Откуда так рано могла явиться эта идея: столь отчетливо выраженное национальное единство и столь нереальная для ряда веков мечта об единстве политическом? Бесполезно сейчас гадать, почему, к сожалению, ни историки, ни историки литературы—не обращались к этой теме, и мы не располагаем „исследованием" или „монографией", которая, пусть не отвечая по существу, взяла бы на себя труд собирания литературных фактов для истории непрерывного существования и видоизменений во времени этой идеи до середины XV в. В нашем понимании, об'яснение раннего зарождения национального сознания и идеи политического единства нужно искать в той греческой „гегемонии", которая совершенно напрасно опускается из-виду в ходе и развитии прошлой русской жизни и русскими историками, и византинистами. Строя Второй Рим, т.-е. православное миродержавство божественного самодержца, вовлекая в эту мировую борьбу за православие и нас, как одну из митрополий Константинопольского патриархата, Византия оценивала „Русскую митрополию" по своей обычной церковно-административной оценке, т.-е. не только как единый церковный обруч над определенным этнографическим материалом, но и как церковно-политическое целое в составе Империи. И если эта точка зрения, убийственная в ее применении для политической самостоятельности и самой национальности „варваров", не оказала на нашу историю всей полноты своего мертвящего влияния, какую испили ближайшие соседи Империи, то об'яснение этому надо искать сначала в безбрежном раздолье наших южных степей, а потом в истощении политических средств Византии в обороне ее восточных и западных границ. Отрицать эту теорию было невозможно без полного церковного разрыва, потому что теория эта выставляла императорскую власть, как крайний авторитет церкви, и политическое ему подчинение трактовала, как служение православию. И наша общественная мысль весьма рано, часто опережая правительственную власть, не возражая открыто и по существу, стремилась сгладить греческую прямоту этой теории, противопоставляя ей общественное, национальное сознание, и требовала признания за русским народом, единой Русской землей права на независимость внутреннего развития и жизни, хотя бы и под общим руководством императорской власти во вне. Действительно, за самыми редкими исключениями, памятники нашей литературы в той или иной форме отзываются на эту заботу, служат этой идейной борьбе, в условиях внешнего требования и надзора, конечно, прикрытой и придушенной. И в этом смысле мы имеем право говорить о напряженной идейности периода от половины XI в. до самого падения Византии, умиравшей с прежнею верою в теорию Второго Рима. То обстоятельство, что памятники со второй четверти XI в. уже свидетельствуют пред нами о наличии сознания национально-политического единства, к сожалению, во многом закрывая возможность судить о формах, степени и самой наличности этой идеи в предшествующее время, совпадая во времени с фактом появления у нас греческой митрополии в Киеве,—конечно, не может быть об'яснено случайностью. Зародившись и окрепнув в XI в., идея эта не пребывала неизменною за все очерченное время. Своеобразное сочетание нашей и Византийской историй давали переломы и изгибы в жизни этой идеи, скрывавшей в себе русское самоопределение на Византию. Огромное значение, конечно, в смысле полегчания греческого гнета имело образование Латинской Империи, но нами оно не было использовано и главным образом потому, что скоро пред слабеющею Византией стали две русские митрополии, претендующие на звание „всея Руси"; одна—на основании обладания древнею кафедрою, другая на основании фактического пребывания митрополитов. Когда в 1300 г. митрополичья резиденция была унесена на север, где давно уже жила надежда, в связи с упадком Киева, на захват руками Владимирских князей, самых мощных политических владельцев конца XII—нач. XIII вв., распоряжения и внешнего представительства Русской земли пред Империей, тогда Галичь, а потом Литва требовали от Империи признания за ними прав прежнего представительства киевских владельцев за всю Русскую землю и прекращения пребывания митрополитов на севере. Это повело к длительной и упорной борьбе пред умиравшей Византией двух расколовшихся частей когда-то бесспорно единой Русской земли за право на митрополию „всея Руси", т.-е. за эмблему единства политического. Отсюда и проистекает значительное смягчение в памятниках XIV и первой половины XV вв. национального противопоставления Русской земли Византии и рост иных политических идей, в основе покрывавших мечту о старом единстве Русской земли, которых мало касалось время от XI до XIV вв.

Итак, первым периодом истории нашей литературы в этом аспекте нужно признать время от XI до половины XV вв., выделяя внутри его время с XI до XIV вв., как первый этап, от XIV до половины XV в. Кажется, что, вглядываясь так в историю нашей литературы, мы многое могли бы об'яснить и понять в ее своеобразии, вскрыть совершенно новые факты, а за всем этим глубже и действительнее заглянуть в ту напряженную умственную жизнь, которую мы по установившейся и ничем не об'яснимой привычке предпочитаем просто и благодушно отрицать.

Конечно, легче и понятнее в этой схеме, согласно обычному толкованию, ложится второй период: время от половины XV в. до Ломоносова, когда теория византийского миродержавства, принципиально нами никогда не отрицавшаяся, воспринимается нами, как национальная русская задача, как служение православию. Не без колебаний и раздумий вышла русская мысль на эту дорогу, преодолевая сложный внутренний политический кризис, и лишь короткое время была безраздельно охвачена этой теорией Третьего Рима. Политический кризис привел к смуте, глубоко пережитой социальным и бытовым укладом прошлого, и ясно обнаружившей секуляризацию мысли и жизни, остановить которую не могли никакие попытки правительственной власти. Смута, конечно, и должна лечь гранью внутри этого второго периода нашей схемы.

Заканчивая нашу разросшуюся заметку, мы вновь обращаем мысль читателя к „Очерку" В. М. Истрина, сумевшего своим изложением общей картины древней русской литературы вызвать желание задуматься над прошлыми судьбами Русской земли и ее литературы. Только горячею любовью к ней, хотя и сдерживаемою привычною формою ученого изложения, мог одушевляться В. М. Истрин для своего нового труда, так увлекающего читателя, и, несомненно, завоюющего новых работников на поприще древней русской литературы.

М. Приселков.

А. Г. Вульфиус. Проблемы духовного развития. Гуманизм, реформация католическая реформа. Изд. „Наука и Школа". Птб. 1922. Стр. 168.

Книга проф. Вульфиуса заполняет важный пробел в нашей скудной научно-популярной литературе, посвященной переходным XV—XVI вв., вводя в общий обиход ряд новых научных точек зрения и делая интересную попытку дать общую схему тех основных общеевропейских духовных течений гуманизма, реформации и католической реформы, которые составляют идейное содержание этой эпохи в их зарождении, развитии и взаимодействии. Книга предполагает известной в общих чертах фактическую историю этого периода и делает об'ектом рассмотрения „проблемы духовного развития", разлагая „целостность исторической жизни на основные ее ряды" (стр. 3), логическим членением синтезируя работу современной научной мысли, чего нельзя не признать удачным приемом популяризации.

Центральным отделом по числу отведенных ему страниц (87 из 168) является Реформация. Каждый из отделов делится на главы, которые в своей совокупности и представляют те проблемы, к коим автор сводит синтетическую работу наших дней. Каждый из них начинается с определения общего понятия, которое должно выделить круг явлений, замыкающихся данным термином. Затем ставится проблема генезиса. В дальнейшем проблемы индивидуализируются в связи с различием облика и содержания самих течений. „Гуманизм или Возрождение" иллюстрируется образом Петрарки, как типом гуманиста; выдвигается роль классической древности в развитии гуманизма; затем проблемы его рели-

гиозного содержания и национального элемента. По отношению к „Реформации" ставятся: 1) проблема ее религиозной сущности; 2) проблема внецерковной и сектантской реформации; 3) проблема отношения реформации к политической, социальной и экономической среде; 4) проблема ее исторической оценки. По отношению к „Католической реакции или Реформе" взяты: 1) проблема соборная, проблема реформы дисциплины и строя внешнего благочестия в связи с проблемой отношения к протестантизму; 2) проблема отношения католической реформы к гуманизму и развитию духовной культуры; 3) значение инквизиции и иезуитского ордена.

Дальнейшие замечания по поводу того, в какой мере можно признать правильной и исчерпывающей постановку проблем в пределах каждой темы, будут преимущественно относиться к первому и третьему отделам, как области компетенции рецензента. Отдел реформации будет только реферирован.

Как сказано, все отделы начинаются с определения общего понятия. По первому же пункту: определению гуманизма—приходится спорить. Определяя его, как литературно-научное и художественное движение, об'единенное внешним признаком увлечения литературою, наукою и искусством классической древности (стр. 7), автор предлагает „пользоваться терминами „Гуманизм" и „Возрождение", как синонимами, не выделяя одним из этих терминов классической струи духовного под'ема, правда очень яркой и важной, но совершенно не исчерпывающей главного содержания духовного развития эпохи". Соглашаясь с такой оценкой значения „классической струи", интересно отметить, что в дальнейшем тексте, если не считать оглавления, автор нигде не подставляет вместо „Гуманизма"—„Возрождение", удержанный бессознательно филологическим тактом. В самом деле, если он на стр. 4 и утверждает, что гуманизм „исчерпывается движением мысли", то мог ли бы он утверждать то же о Ренессансе? На практике он сам чувствует необходимость следовать той общепринятой—за редкими исключениями—дифференциации этих терминов, как находящихся в некотором соподчинении в качестве более общего и частного, которая ведет свое начало с момента их внедрения в историографию у Буркгардта и Фойгта. Правда, что термины эти сами являются еще в науке п р о б л е м о й, которая вызывает особый интерес в Германии, где о происхождении, развитии и содержании их с конца 90-х гг. появилась целая литература (Hildebrand, C. Neumann, Henry Thode, W. Götz, K. Brandi, K. Burdach, Wernle, Fester, Troeltsch, Walser, F. Bezold), куда, как часть вливаются исследования филологов-классиков (Schneidewin'а, Gaston Boissier, Ф. Ф. Зелинского, Reitzenstein'а) о сущности античной humanitas. Нельзя считать нормальным такое положение вещей, когда чуть ли не каждый исследователь иначе и по своему определяет основные термины. При расплывчатости основных понятий невозможна какая бы то ни было отчетливая формулировка общих и частных проблем. Вот почему данный вопрос продолжает привлекать к себе внимание[1]). Последнее слово по поводу него не сказано, но некоторые выводы можно сделать уже сейчас. В пользу различения между „Гуманизмом" и „Ренессансом" говорит самое сосуществование обоих терминов с разным содержанием в историографии, начиная с момента их внедрения в 60-х гг.; далее их совершенно р а з л и ч н а я история в языках: французском, итальянском и латинском; наконец' реальный исторический анализ. Краткость рецензии здесь дает возможность только наметить, а не обосновать иную точку зрения, которая сводится к различению между социологическим понятием Ренессанса, как эпохи синьорий и эпохи разложения феодализма и великих универсальных систем, и осмысливающим глубокий перелом идейным движением Гуманизма, при чем Ренессанс и Гуманизм находятся между собой в таком же отношении соподчинения, как универсальная теократия и система Аквината. Но как бы ни смотреть на Ренессанс и Гуманизм, следовало во всяком случае эту проблему вскрыть, а не обходить ее.

Далее автор переходит к генезису гуманизма. Там, где наука 60-х гг. пыталась устанавливать резкие водоразделы—положим, тогда надо было доказать

[1]) Судя по последним полученным у нас журналам тому же вопросу посвящены статьи W. Weissbach'а и F. Friedrich'а в Hist. Zeitschr, 1919 и 1920, и K. Borinski в Sitz.-Ber. d. Münch. Akad. 1919.

право целой эпохи на существование в историографии—сейчас различают непрерывность развития. С этой точки зрения автор, говоря о генезисе гуманизма, правильно отмечает элементы стихийной жизнерадостности, индивидуализма и классической традиции, эти специфические черты Ренессанса, в средневековьи, и указывает затем на изменения в социальной основе духовной культуры Эти изменения сводятся к появлению рядом с рыцарем и клириком—горожанина, т.-е. в конечном счете к коммунальному быту. Здесь, б. м., дана была бы возможность свести многие частные факторы к единому, более общему. Понимание коммунального периода, как преддверия Ренессанса, устранило бы также отождествление гуманизма и Ренессанса. Но для автора—это один из факторов, относительного удельного веса которого он не касается. В той же главе о генезисе гуманизма можно отметить, как упущение, невнимание к национальному моменту, влияние которого учитывается уже в позднейшей стадии, когда идет речь о нем в главе о проблеме национального элемента в гуманизме. Итальянское патриотическое чувство, видевшее в римлянах „наших предков"—один из самых мощных стимулов возрождения классической древности в Италии. Утверждать, что оно заглохло после Петрарки (стр. 38) и до эпохи Макиавелли представлено только Флавио Бьондо—значит игнорировать одну из самых жизненных струн движения. В этом смысле можно сослаться на Боккаччио, Кол. Салутати, Леонардо Бруни, Э. С. Пикколомини, Полициана, на историю римского гражданства Лонголия. Когда Валла в предисловии к „Элеганциям" доказывает, что силою владычества латинского языка Италия и поныне царствует в большей части вселенной, он таким образом берет патриотический реванш; так как он вместе с соратниками своими—гуманистами ведет род от римлян: „Мы утратили Рим, утратили царство, утратили державу"—нужды нет,—„Римская империя всюду, где господствует римский язык". Поэтому блюсти латинскую речь есть подвиг патриота, равносильный защите от варваров. Капитолия великими полководцами. Этот момент национального самосознания—одна из самых показательных реакций на гуманизм.

Глава о проблеме религиозного содержания гуманизма принадлежит по формулировке к самым удачным. Не ограничиваясь полемикой против одного из общих мест о „паганизации" Ренессанса, автор противоставляет ему свежий материал в своеобразном построении. Еще раньше (стр. 20—21) им был выдвинут мотив религиозных запросов, как тоже уводивших к древности, ибо призыв ad fontes! требовал для понимания писания и творений отцов церкви в подлиннике филологических штудий. Затем удачно различены два основных течения в „попытках примирения в высшем синтезе земных и религиозных исканий" (стр. 35), которые мы бы назвали „христианизацией древности" и „рационализацией христианства". Главным методом первого является аллегорическое толкование произведений античной литературы, благодаря которому спасали античность еще Данте и отцы церкви. „Рационализация христианства" в лице Эразма вела к подчеркиванию моральной стороны христианского учения, как главной, и тожества существа его с воззрениями античной философии, а в конечном выводе приходила к воззрению, что (стр. 29) „все религии и системы философии образуют как бы восходящий ряд все более совершенного и лучшего познания Божества или другими словами, что есть одна общая религия, развивающаяся на разных ступенях совершенства во всех исторических религиях или системах религиозно-философских учений". (М. Фичино, Пико делла Мирандола, Муциан Руф).

Проблемы гуманизма автор исчерпывает проблемами: 1) генезиса, 2) роли классической древности, 3) религиозного содержания и 4) национального элемента. Думается, что к ним надо было бы присовокупить проблему его значения в истории философии и точных наук, проблему, не вполне совпадающую по содержанию с проблемой религиозного содержания. Менее всего изученная, она вместе с тем представляет самое общее и жирое зерно. Нельзя сказать, чтобы автор этой стороны не видел. Наоборот на стр. 24 он замечает мимоходом в конце: „древность богатым содержанием своей философской мысли ставила ряд важнейших проблем в области развития научного мировоззрения", но здесь целая самостоятельная проблема, которая требует выделения и специальной разработки.

Также хотелось бы выделить проблему о роли гуманизма в истории политической мысли и учении о государстве, поскольку теории Макиавелли, Гвичардини, Бодена и Т. Мора оплодотворены изучением древних и современным

опытом и поскольку они явились идеологией растущего абсолютизма. Здесь, кстати сказать, где гуманизм тесно соприкасается с проблемами практической политики, можно было бы проверить тезис о гуманизме, как движении исчерпывающемся движением мысли. Нам казалось бы, что его так же невозможно элиминировать в полной мере из сложной ткани общественной жизни, как невозможно это для Реформации, хотя бы и признавая неизмеримо большую степень социологической активности Реформации по сравнению с гуманизмом.

Наконец, поскольку идет речь о первом отделе, хотелось бы отметить, что Петрарка, быть может, не вполне удачно выбран, как тип гуманиста. Современные исследователи (H. Cochin, F. Novati, G. Bologna), чаще подчеркивают в нем не первого „современного человека",—таким он мог казаться поколению Sismondi, а его схоластическую подоплеку, находя, что ключем к нему является бл. Августин. В таком взгляде большая доля истины.

Переходим ко второму отделу. Реформацию автор определяет, как совокупность церковно-религиозных движений I половины XVI в., приведших к распаду церковного единства западной Европы и образованию целого ряда новых церковных и религиозных групп, об'единяемых общим термином „протестантства" (стр. 33). Глубочайшие корни реформационного понимания религии лежат в переживании греховности человече-ской природы (стр. 73); причем реформация есть звено в цепи средневековых попыток разрешения проблемы спасения. Последние, поскольку они стремились к абсолютному идеалу, непримиримому с условностями культуры, намечались в 3-х разных направлениях: по пути героического аскетизма, на „евангелическом" пути подражания Христу (францисканство) и через мистику. Церковь, обязанная заботиться о спасении всех, превозмогла сказанные проблемы спасения учением об избытке благодати, освящая формы культурной жизни идеею положенного Богом естественного закона. Реформация выдвинула новое решение той же проблемы спасения—учение о спасении верой, передвигая центр тяжести на внутреннюю жизнь души. Примирение этого учения о спасении с требованиями земной культуры достигается тем путем, что вера об'является способной проникать всякую работу на том или ином поприще земного призвания и освящать ее. Источником и критерием религиозной истины является священное писание. Толкование его — право каждого верующего. Логика системы таким образом вела к отрицанию иерархического построения церкви и об'ективного действия таинств, а с другой стороны к признанию первенствующего значения „внутреннего слова". Логическая последовательность приводит к созданию групп внецерковных и церквей сектантских, тогда как догматическое закрепление религии, предложенное главными тремя реформаторами, создает протестантские церкви, уступая логике жизни. По отношению к проблеме отношения реформации к политической, социальной и экономической среде автор полагает, что нельзя об'яснять религиозное содержание реформации, как результат классовой борьбы и действия экономических причин. Не отрицая влияния этих мотивов, он считает что реформация вырастает из особых условий религиозного развития Западной Европы и эволюционирует по ей свойственному имманентному закону развития (стр. 100).

Несколько слов об отделе католической реформы. Отчетливо вскрыты в книге ее глубокие корни, ее Vorgeschichte, не как простой реакции на протестантизм. Исходным пунктом являются представления о католической церкви, как продолжающей быть великим средоточием религиозной энергии, и о ее питательной среде—религиозной культуре Испании и Италии. Фанатическая преданность церкви и ее догматам, успехи католической реформы помимо и раньше протестантизма—для Испании; Платоновская Академия для верхов, пароксизмы покаяния, народных проповедников и развития братств для низов—по отношению к Италии. Далее автор рассматривает проблемы, связанные с реорганизацией католической церкви и, наконец, проблему отношения католической реформации к гуманизму и развитию духовной культуры, выдвинутую Troeltsch'ем во всей глубине исторической перспективы: церковь под влиянием протестантизма разрывает с гуманизмом, поскольку он является духом свободного исследования, против которого она вооружает инквизицию и иезуитский орден и обороняется индексом. Но она не только не превращается в абсолютный тормаз для культуры, каким некогда изображали ее протестантские историки, но, воспринимая в себя гуманизм, в его формально классических элементах, питает мощную культуру

романских стран XVII в. В союзе с церковью, гуманизм становится общеевропейским, наднациональным элементом культуры. Тезисы Troeltsch'а автор принимает с некоторыми ограничениями.

Каждый из отделов сопровождается перечислением литературы с ценными для начинающих вводными указаниями. Досадным пробелом является почти полное игнорирование итальянской литературы, которая сводится только к P. Villari. Между тем, Италия не ограничивается энергичной деятельностью по части критического издания источников и монографической разработки специальных тем. Она дала и ряд ценных трудов синтетического характера на основе свежего архивного материала. Укажем хотя бы на книги R. Sabbadini по истории цицеронианства и открытия древних кодексов, F. Novati о влиянии латинской мысли на средневековую культуру в Италии, A. della Torre по истории Платоновской Академии, Tacchi Venturi по истории религиозности в Италии в эпоху реформации.

А. Хоментовская.

И. М. Кулишер. „Очерк истории русской промышленности". Петроград. 1922. Стр. 156.

Автор, известный своими трудами по истории западно-европейского хозяйства, выпустил книгу, посвященную русской промышленности. С чувством большого удовлетворения отмечает русская наука факт несомненного интереса к русской жизни историков, до сих пор работавших в другой области. Всегда в таких случаях можно ожидать a priori освежения как в постановке старых вопросов, так и в их освещении: другой масштаб, другой подход—и это лучший способ проверки положений, на которых остановилось специальное исследование.

Книжка небольшая, но уже по своему оглавлению обещающая. „Общий характер хозяйства в древней Руси" глава I, „Обрабатывающая промышленность в древний период" глава II, „Промышленность в городах XIV в." глава III, „Иностранцы и зачатки новой крупной промышленности в XVII ст." глава VII, „Запад и Россия". „Положение русской промышленности к концу XVIII ст." (Глава XII и последняя). По этим заголовкам, взятым для примера, читатель видит, что автор имеет своей задачей общее обозрение судеб русской промышленности от древнейшей поры до XVIII в. включительно. Ясно, что детальной разработки вопросов при такой постановке задачи, от него нельзя требовать. Это опыт подведения итогов тому, что до настоящего времени успела сделать русская наука в области изучения русского хозяйства. Нельзя забывать, что опыт этот проделывает специалист, искушенный на европейских материалах и лучших образцах историко-экономических исследований. Мы в праве пред'являть к этому „очерку" не только архитектурные требования, но и ожидать компетентных суждений по многим вопросам спорным.

Автора интересует не все хозяйство, а только промышленность. Лишь первая глава, посвященная древнейшему периоду, делает попытку обозреть состояние всего русского хозяйства. Городу, как центру промышленному, естественно уделено в книге преимущественное внимание. Автор старается использовать свою научную позицию, специалиста историка Западной Европы, и не скупится на параллели: Россия и Запад у него сопоставляются всегда, и эти сопоставления есть в книге самое новое, самое оригинальное.

Автор находит, что в XIII—XV ст. Западная Европа по сравнению с Русью успела уйти уже дальше, между Россией и Западом существует в этом отношении расстояние, но общее развитие идет в том же направлении, и мы, русские, стараемся в эту эпоху идти по стопам Запада" (стр. 22); в XVII ст. большинство современных западно-европейских городов имело отчасти сельскохозяйственный характер, так что разница между русскими городами и городами Западной Европы, хотя она несомненно существовала, оказывается не столь значительной, как можно было предполагать (стр. 25); западно-русские цеховые статуты XVI—XVIII ст.

являются почти полным отражением западно-европейского цехового строя (стр. 71). Старый спор о своевременности и сущности Петровских преобразований И. М. Кулишер находит возможным разрешить путем сопоставления русских фактов аналогичными европейскими: „необходимо прежде всего уяснить себе, хотя бы в общих чертах, как совершалось развитие промышленности в эту эпоху в Западной Европе“ (стр. 94). Сопоставления приводят автора к выводу, что Петр В., в своей хозяйственной политике, не выдумал ровно ничего нового, он применил на русской почве то, что уже до него осуществляли Кромвель и Кольбер, прусские короли, Нидерландские штаты и то, что после него практиковалось Фридрихом В. и Марией Терезией“ (стр. 95). И на Западе на первом плане всегда стояли потребности государства, точнее нужды военные, потребности государя, двора и придворной аристократии. Одинаковыми средствами и Запад и Россия раздобывали необходимый для промышленного предприятия капитал и труд: и здесь и там без помощи государства, без его поощрения и нажима не создавалась крупная промышленность. Появление фабрики, борьба крупных предприятий с ремеслом и крупного промышленника с торговцем, классовый состав предпринимателей, состояние спроса на продукты крупной промышленности, в связи с чем стоит и вопрос об „искусственности“ заведения самой промышленности— все эти вопросы рассматриваются в книге параллельно и дают основание автору сделать общее заключение о „полном параллелизме между Западом и Россией“ (стр. 147). К сожалению, об'ем книжки вероятно не позволил автору остановиться подробнее на доказательстве своих положений, и русская наука, считаясь с компетентным суждением специалиста, тем не менее не может считать ряд своих сомнений устраненными вполне.

То же стремление к краткости, повидимому, не позволило автору дать точных об'яснений своему отношению к тем сторонам старой русской жизни, которые вызывали и продолжают вызывать споры среди русских историков. Поэтому книжка вызывает иногда у читателя чувство неудовлетворенности. Возьмем для примера хотя бы первую главу „Общий характер хозяйства в древней Руси“. Автор принимает характеристику Ключевского, Милюкова, Довнар-Запольского, Рожкова, Катаева, на первое место выдвигающих в качестве наиболее ранних промыслов звероловство и бортничество. Сам автор вначале этой главы совершенно справедливо утверждает, что теоретически вполне возможно и иное состояние первобытного хозяйства. Одновременно с охотой можно заниматься и земледелием. Трудно, конечно, решить, какой из промыслов наиболее ранний, может быть даже они все ровесники, но для периода, отраженного в нашей Летописи, Русской Правде, Житии Феодосия Печерского и др. старейших наших памятниках, вопрос может быть поставлен на самом твердом научном базисе. Вот здесь и возникает сразу же недоумение, почему автор так решительно примыкает к названной группе историков. Те аргументы, которые приведены в книге, не могут служить прочным доказательством положений автора. Что летописец изобразил древлян живущими в лесах звериным обычаем и ядущими все нечистое—это понятно. Это несомненная тенденция летописца, который тут же и проговаривается. Ольга обращается к древлянам, которые упорно не желают ей подчиниться. Посмотрите на соседей, говорит она, они мне подчинились и „делают нивы своя, а вы хочете измрети гладом“. Неужели народ, у которого земледелие не главный промысел, может выме; еть, если перестанет обрабатывать свои нивы? Эти „нечаянно“ сказанные летописцем слова для нас гораздо ценнее всей специальной характеристики древлянского общества. Ссылка на охотничьи подвиги Владимира Мономаха не может умалить впечатления от очень известной речи того же князя о смерде и его обычном строе жизни, где вспахивание поля поставлено на первое место. То же нужно сказать и относительно выборки текстов из Русской Правды, которая прекрасно может иллюстрировать и совсем иное положение о преобладании в древней Руси земледельческого промысла. Наконец, нельзя не поставить автору в упрек некоторое упрощение хозяйственной эволюции древней Руси. „Только к XVII веку упоминания о поселениях бортников и бобровников становятся редкими... Владельцы старых бобровых гонов, рыбных ловель и бортного леса расчищали теперь лес под пашню, ставили новые починки и старые зоолого-экономические поселения превращались в „пашенные села“ (ссылка на Милюкова, „Очерки по истории

рус. культуры“). Неужели же до XVII в. русское хозяйство не переживало ничего иного, кроме этого постепенного перехода к преобладанию земледельческого промысла? Как же тогда об'яснить появление окладных единиц плуга, рала, обжи, сохи в глубочайшей древности? Ведь это все орудия земледельческого промысла. Где не преобладало земледелие, там мы видим лук. Как быть с хорошо известными нам фактами хозяйственных разрух, прежде всего отражавшихся на земледельческом хозяйстве? Как рассматривать данные Новгородских писцовых книг конца XV в., где земледелие решительно преобладает над всякими другими промыслами и т. д. и т. д.

Тут же после ссылки на Милюкова автор приводит цитату Н. А. Рожкова, в которой Н. А. Рожков для XVI в. утверждает, что продукты земледелия составляли основную часть всех доходов с земли, что прочие угодья составляли только „привесок к пашне“. Едва ли отсюда можно сделать вывод, который сделан в книжке, что „в центре этот переход к земледелию совершился повидимому уже несколько раньше,—в течение XVI века“.

И. М. Кулишеру известны все эти факты, он их цитирует в разных местах, но нужно сказать, что противоречия, которые встают перед исследователем, им не устранены. Он цитирует, например, Новгородскую грамоту на черный бор „тиан кожевничий за соху, лавка за соху“ и т. д. В каком это хозяйстве, кроме земледельческого, станут все прочие промыслы подводить под единицу обложения соху. (Кстати, соху И. М. Кулишер напрасно рассматривает для этого времени как „известное пространство земли“, стр. 14). Конечно, от общего очерка нельзя, быть может, требовать самостоятельного разбора деталей, но тем не менее нельзя не пожалеть, что упущен случай, когда русская наука могла бы воспользоваться нелицеприятным судом нейтрального и компетентного судьи в своей старой домашней пре.

Ряд вопросов вызывает глава третья „Промышленность в городах XVI ст.“ Прежде всего хочется отметить несоответствие содержания этой главы с теми данными, которыми располагает в данный момент наша наука. Автор использовал материал старый, фигурировавший в науке „до недавнего времени“. Последующие исследования внесли очень много нового в старое представление о русском городе. Старое связано у И. М. Кулишера главным образом с именем Ключевского, новое- с именем Чечулина „Города Моск. госуд. в XVI в.“ „Обнаружился для многих городов гораздо больший состав промышленного и торгового населения и гораздо большая специализация промыслов, чем раньше предполагали“ (стр. 25). Здесь нельзя по существу возразить ничего. Но как бы выиграла эта глава, если бы автору попались в руки новые книги, вышедшие в печати после труда Н. Д. Чечулина: Майков В. В. „Писцовая книга по гор, Новгороду Великому XVI в.“ Греков Б. Д. „Описание Торговой Стороны Новгорода В. в XVI в.“ „Псков и его пригороды“. Сборник Московского архива Министерства Юстиции“. Правда, больших исследований по этим материалам еще нет. Есть мелкие, но интересные статьи. В названных книгах кроме того есть маленькие предисловия, где даются краткие обзоры напечатанного материала. Картина городского строя и больших и маленьких городов для XVI в. сильно расширяется. Цифры населения, отдельные профессии, разделение труда в отдельных производствах, степень зажиточности жителей, источники доходов государства, социальная структура города и много другого выясняется в названных изданиях с определенной ясностью. Для XVII в. имеется еще ряд напечатанных данных по истории русских городов. Весь этот материал ждет своего исследователя. Даже беглый взгляд такого опытного специалиста, каким мы знаем И. М. Кулишера, дал бы ему очень много новых и фактов и красок для характеристики хозяйства русских городов XVI—XVII в.в. Тогда бы автору не приходилось с таким трудом разыскивать случайных и маленьких доказательств и пожалуй не пришлось бы делать вызывающих сомнения заключений в роде того, что „Главную роль в появлении новых специальностей играли повидимому нужды духовного свойства, вызываемые церковными обрядами. Так... в области приготовления продуктов питания вновь появилась целая группа просвирниц, ранее (т. е. до XVII в.) не встречавшаяся... (стр. 40). Если церковь несомненно вызывала к жизни целый ряд новых производств (просвирницы должны были появиться вместе с принятием христианства), то нельзя сказать, что русской промышленности не ставились и другие задачи

и другими потребителями и едва ли церкви принадлежит в этом отношении „главная" роль (просфоры ведь никогда не были продуктом питания).

В истории русской городской промышленности автор не отмечает крупных периодов, порой разрушающих хозяйство, задерживающих его развитие во всяком случае. Таковы для XVI в. период Ливонской войны, для конца XVI в. и начала XVII в. „Смута", м. б. даже связанная причинной связью с неудачной Ливонской войной. Для более раннего времени татарский разгром и т. п. Подобные перебои в развитии хозяйства нам кажутся очень существенными моментами в истории хозяйства отдельного народа.

Хочется отметить в книге еще одну очень важную сторону. Автор крайне осторожно обращается с различными историко-экономическими схемами. В самом начале книги мы читаем общее замечание по этому поводу: „вся последовательность в развитии периодов хозяйственной жизни оказалась подорванной". Правда, быть может, это замечание формально относится только к характеристике древнейшего периода в жизни обществ, но автор свою осторожность провел по всей своей книге. Мы не встретим у него рискованного подразделения на различные периоды, с неменее рискованным описанием каждого из них. Только несколько общих понятий, повидимому, тех, кои выдержали строгую критику требовательного исследователя, фигурируют в книге, облегчая понимание сложных явлений хозяйственной жизни. Но и в этом случае хотелось бы от большого специалиста больше откровенности, хотелось бы знать, почему именно он отказался от одних схем, почему признает другие, чем предполагает заменить отвергнутое. Может быть, форма „Очерков", допускающая несколько разрозненную трактовку отдельных сюжетов, тому причиной.

Во всяком случае, если книга и вызывает под час сомнения и не всегда удовлетворяет читателя, то зато всегда его заинтересовывает, заставляет остановиться над многими явлениями хозяйственной жизни русского общества и заново их передумать.

Б. Греков.

Iann M. Goblet (Louis Trégniz) **„L'Irlande dans la crise universelle"** (1914—1920); 2me édition, P. 1921 („Bibliothèque d'histoire contemporaine", librairie Felix Alcan).

Об'емистая книга (462 стр.) ученого кельтиста Гобле вся проникнута горячим сочувствием борьбе Ирландии за ее национальную автономию. Однако, это—не политический памфлет, а добросовестная и не слишком односторонняя сводка обширного материала (автор внимательно следил за периодическими изданиями—ирландскими, английскими и американскими), очень ценная для будущего историка. Интерес книги увеличивается тем, что автор рассматривает ирландский вопрос в рамках международных отношений, останавливаясь в частности на роли Соед. Штатов и британских доминионов, где так сильно ирландское влияние. Книга делится на 6 частей и заключение.

I часть носит вводный характер и посвящена „эволюции политических методов" с 1893 по 1914 г. Автор констатирует, что летом 1914 г. Ирландия, в связи с принятием билля о гом-руле, была накануне гражданской войны: свыше 250.000 добровольцев готовилось к ней, и Ольстер (северная из 4 провинций Ирландии) готов был не на шутку осуществить угрозу, которую еще при Гладстоне в 1886 г. бросил лорд Рандольф Черчилл: „Ulster will fight and Ulster will be right" (Ольстер будет сражаться и Ольстер будет прав). „Историческим основам ирландской проблемы" автор уделяет всего 5 страниц; так же кратко излагает он историю гом-руля и содержание последнего билля о гом-руле, принятого в 3-ий раз палатой общин 25 мая 1914 г., и переходит затем к выяснению причин оппозиции этому биллю со стороны Ольстера. Это—больное место автора, который утверждает, что „нет страны более ирландской, более кельтской по духу, чем Ольстер" (с. 17), так как здесь могила св. Патрика, грот Вольфа Тона, родина Грэттана и т. п. Но, обращаясь от исторических воспоминаний к современности, автор должен констатировать, что протестанты-ольстерцы

называют Home Rule—„Rome Rule" (и участие католич. клира в национальном движении—о чем ниже—показывает, что они не совсем неправы) и что, далеко опередив южную Ирландию в экономическом отношении, промышленный Ольстер „видит в ирландском казначействе бедного родственника, весьма расположенного воспользоваться его богатством" (с. 18). На воинствующих оранжистов Ольстера автор возлагает главную ответственность за переход от культурных средств борьбы к физической силе. Период 1893—1914 г.г. был временем национального и экономического возрождения: в 1893 г. Д. Хайдом была основана „Гельская Лига", много сделавшая для возрождения национального языка (почти вымершего), так что в настоящее время обучение национальному языку ведется в 1.785 школах (с. 27); в 1894 г. сэр Гораций Плункетт основал „Ирландский Земледельческий Союз", который в 1914 г. об'единял 1.023 общества со 106 тыс. членов. Партии националистов, представлявшей Ирландию в Вестминстере, удалось многого достигнуть для страны парламентскими средствами главным образом, в области экономики. Правда, „непримиримые" не перешли—преемниками старых фениев явились шин-фейнеры. Программу и самое имя дал им в 900-х годах журналист А. Гриффите (его брошюра—„Sinn-Fein policy", 1905 г.). Вдохновляясь примером Венгрии Деака, Гриффите предлагал игнорировать Англию (sinn fein значит: мы сами): „прекратим сношения с их заводами и банками; не будем обращаться за правосудием в их трибуналы, платить им налоги, посылать депутатов в их парламент—и в один прекрасный день их последний комми-вояжер уедет с их последним вице-королем, так как им будет нечего делать" (с. 35). Но этот „венгеризм" (hungarianism) не имел успеха, и его орган—„Sinn-Fein" из ежедневного превратился в еженедельный и клонился к упадку.

Новый толчок развитию „Шин-Фейна" дал Ольстер. Когда стало ясно, что вопрос о гом-руле решен положительно, 28 сент. 1912 г. ольстерские оранжисты подписали „ковенант", где клятвенно обязывались организовать сопротивление ирландскому парламенту, и стали формировать добровольческие отряды. Через год был образован „Военный Фонд" для помощи семьям добровольцев, которые падут в войне, и выбрано временное правительство для управления 4 сев.-восточ. графствами. Весной 1914 г. числилось уже 110 тыс. добровольцев, с 400 автомобилей и 200 мотоциклеток, а в потайных местах хранилось 80.000 скорострельных ружей.—Ольстерское движение вызвало (к концу 1913 г.) ответную мобилизацию националистов; в комитете, который организовывал эту армию „ирландских волонтеров", участвовало 5—6 шин-фейнеров, а также профессор Мак-Нейль и будущий глава „Ирландской Республики" Пирс; весной 1914 г. численность „ирландских волонтеров" превысила 150 тысяч. Наконец, к гражданской войне готовилась и третья сила—дублинские синдикалисты во главе с популярным Джимом Ларкиным, руководителем грандиозных забастовок 1911 и 1913 г.г., сопровождавшихся кровавыми столкновениями. Несколько сот рабочих вошло в состав постоянной „гражданской армии" (Citizen Army)—в которой ирландские националисты нашли ценную для них боевую силу. Сам Ларкин понимал, что в Ирландии для успеха надо стать на национальную почву—и в фенианских кругах Америки его признали „добрым ирландцем" (a good Irishman): „ирландская атмосфера превратила занесенный извне социализм в род ирландского нео-фенианизма" (Goblet, p. 49).

Английское правительство в Ирландии („Дублинский Замок"), руководимое государственным секретарем Бирреллем, держалось политики невмешательства. Лидер ирландских националистов Джон Редмонд заявил в палате, что он одобряет эту политику (с. 62); поведение ольстерских юнионистов склонны были считать просто bluff'ом. При таких-то обстоятельствах вспыхнула европейская война.

II часть—„Ирландия с союзниками"—посвящена участию Ирландии в войне. Автор придает огромное значение расовому единству ирландцев и французов; борьба с „прусизмом" велась во имя идеалов мира и свободы, которые—„кельтского происхождения" (с. 68—ср. с. 71). Он стремится показать, что в войну за свободу национальностей ирландская нация вступила свободно и по доброй воле доставила не меньше солдат, чем английские доминионы. Последнего, однако, приводимые им цифры не доказывают и, кроме того, говорят, что из 130.241 добровольцев Ирландии, вступивших в войска с момента об'явления войны по 15 октября 1916 г., 66.674 чел., т. е. больше половины, дал Ольстер (см. таблицу

на с. 85). Верно, что ольстерцы и южные ирландцы вместе проливали свою кровь во Франции, Сербии, Дарданеллах—но если националисты надеялись, что их участие в войне упрочит гом-руль, что в Ольстере вербовка шла под лозунгом: „Идите в армию, ребята, чтобы отправить гом-руль к чорту!" (с. 86).

III часть — „Революционный кризис" — дает картину нарастания революционного движения, приведшего к взрыву 23—28 апреля 1916 г. Драматическая история 6 дней „Ирландской республики" освещалась на страницах русских „толстых" журналов, и эта часть книги Гобле не дает новых красок; совсем отсутствует характеристика действующих лиц. Ценным тут является освещение роли американских ирландцев, которые всегда составляли „крайнюю левую" националистов и еще до войны рассчитывали на немецкую помощь против Англии. Апостолом союза с Германией явился, впрочем, уроженец Ольстера сэр Ричард Кезмент, который в статьях, писаных еще в 1911—13 г.г. развивал мысль о борьбе с английским „навализмом", который поработил Европу благодаря обладанию Ирландией—ключом к Атлантическому океану; освобождение народам должно быть принесено союзом Соед. Штатов, Германии и независимой Ирландии. На немецкую помощь расчитывал и глава дублинских синдикаенстов Джемс Конолли (Ларкин уехал в начале войны в Соед. Штаты). „Непримиримые" нашли вооруженную опору в части ирландских волонтеров, не принявшей позиции руководимых Д. Редмондом парламентских националистов. Они не были разоружены, как и ольстерские добровольцы—правительство на это не решалось, так как для этого понадобилась бы целая армия. Другой силой революционеров была „Гражданская армия".

Вооруженное выступление на Пасху 1916 г. было решено на собрании лидеров большинством всего 1 голоса, при чем на выступлении настаивали ларкинисты и, в частности, Конолли. Попытка проф. Мак-Нейля помешать выступлению не удалось. „Ирландская республика" была провозглашена в понедельник, 23 апреля, и продержалась до субботы, 28-го, когда вожди повстанцев подписали приказ о сдаче. Вся эта неделя прошла в кровавых боях с правительственными войсками, прибывшими из Англии; масса зданий в городе (восстание не вышло за пределы Дублина) было сожжено и разрушено. Убитых было 120 солдат и полицейских и 180 инсургентов и штатских, раненых: 383 солдат и полицейских и 614 инсургентов и штатских (см. таблицу на с. 167). Из 7 членов „Временного Правительства" пятеро были ученые и литераторы, во главе с директором колледжа Пирсом; двое остальных—тоже характерные фигуры: престарелый фений-романтик Т. Кларк и рабочий-марксист Конолли, оказавшийся наиболее энергичным и способным вождем. После подавления мятежа начались репрессии: 15 чел. было расстреляно, 1.862 мужчин и 5 женщин были интернированы на время войны в тюрьме в Англии; 7 человек—в их числе проф. Мак-Нейль, графиня Констанция Маркевич и молодой, впоследствии знаменитый, Эдуард Де-Валера—приговорены к пожизненной каторге.

„Кровавая Пасха" 1916 г. произвела в Ирландии неизгладимое впечатление. Мятежники были по большей части молодые люди, энтузиасты, „проникнутые двойным мистицизмом—отечества и веры" (с. 181). Религиозность инсургентов видна, напр., из того факта, что они удалили из своих рядов четырех человек, которые не причастились на Пасхе: „Вы принесете нам несчастье" (с. 182). Шин-фейнеры были окружены ореолом мученичества; они не даром пролили свою кровь—через 2½ года вся южная Ирландия на выборах отдала им свои голоса.

IV часть—„Конституционные попытки"—обнимает период с мая 1916 по июль 1917 г. В мае 1916 г. задача умиротворения Ирландии была возложена на Ллойд-Джорджа (тогда министра снабжения), уэльсца, следовательно, кельта по происхождению. Проект Ллойд-Джорджа заключался в следующем: гом-руль немедленно вводится в действие, но на время войны шесть графств Ольстера выделяются и остаются под имперским управлением; немедленно после войны собирается имперская конференция из представителей всех доминионов для рассмотрения вопроса о будущем управлении Империи и, в частности, Ирландии (с. 188). Проект потерпел неудачу—националисты не могли помириться с отделением Ольстера. В заседании палаты общин 7 марта 1917 г., отвечая О'Коннору и Редмонду, требовавшим немедленного введения гом-руля для „единой и неразделной" Ирландии, Ллойд-Джордж вполне логично заявил, что правительство „готово дать самоуправление той части страны, которая его требует, но не той, которая его не хочет... ибо свобода означает свободу для всех, а не для одной фракции", и поэтому нельзя распространять гом-руль на население Ольстера, „которое также враждебно ирландскому правительству, как остальная Ирландия—правительству британскому" (с. 217).

Неудача парламентских националистов усилила в стране симпатии к Шин-Фейну. В 1917 г. на частичных выборах в парламент стали проходить впервые шин-фейнеры: 5 февраля избран граф Плёнкетт, отец члена „Временного Правительства Ирландской республики", расстрелянного в предыдущем году; затем последовали другие выборные победы, и наконец, в июле 1917 г., на место убитого на фронте В. Редмонда (брата лидера), был избран Де-Валера (выпущенный из тюрьмы по амнистии 15 июня 1917 г.). Вновь избранные депутаты шин-фейнеры, верные своей программе, не поехали в Англию. Они не хотели гом-руля от Вестминстерского парламента; отныне их задачей стало „сделать ирландский вопрос международным": статут независимой Ирландии должен быть установлен мирной конференцией (с. 229).

V часть—„Падение парламентской партии"—пожалуй, самая основательная и интересная. Начинается она историей мертворожденной попытки соглашения между всеми ирландцами путем созыва особого „Конвента", куда входили члены по назначению правительства (15 чел.) и представители партий, церкви, местного самоуправления и рабочих союзов (всего 80 ч.). Шин-фейнеры отказались в нем участвовать; ольстерцы были непреклонны в вопросе об отделении—и Конвент, имевший 51 заседание с июля 1917 по апрель 1918 г., кончился ничем; в марте 1918 г. умер лидер националистов Д. Редмонд, который в Конвенте тщетно пытался найти какой-нибудь компромисс,—умер во-время, чтобы не увидеть окончательного разгрома своей партии.

Новый толчок оппозиции был дан в апреле 1918 г. распространением на Ирландию закона о воинской повинности. Одним из первых протестов против этого акта во имя прав ирландского народа, который один имеет право установить для себя подобную повинность,—был протест комитета католических епископов в Мейнутсе, во главе с кардиналом Логом, который рекомендовал ирландцам пассивное сопротивление. Дублинский лорд-мэр созвал особую „конференцию" из представителей партии националистов, Шин-Фейна и рабочих организаций, которая, по соглашению с комитетом епископов, заседавших в Мейнутсе, выработала особую декларацию протеста. В каждом приходе должен был быть организован „комитет сопротивления", и был создан особый фонд, высшее заведывание которым было поручено лорду-мэру и архиепископу г. Дублина. Практически, закон о конскрипции в Ирландии не был приведен в действие—его все откладывали, пока перемирие 11 ноября 1918 г. не положило конец мировой войне. Вся эта история только нанесла новый удар английскому престижу и подняла дух „непримиримых".

Новое настроение Ирландии сказалось в общих выборах в декабре 1918 г. Из 105 мест шин-фейнеры получили 73, националисты—6, юнионисты Ольстера—23 юнионисты юга—3. Полный разгром националистов подчеркивается еще тем, что из 6 их депутатов 4 прошли только благодаря предвыборному соглашению с шин-фейнерами, инициатива которого принадлежала епископу г. Дерри, а арбитром выступал кардинал Лог. За шин-фейнеров голосовала не только молодежь из интеллигенции и духовенства, но и фермеры, считавшие, что шин-фейнеры спасли их сыновей от воинской повинности, и, наконец, рабочие, которые нигде своих кандидатур не выставили: глава об ирландском рабочем движении (с.с. 311—318), в котором своеобразно сочетаются проповедь классовой борьбы с яркой националистической тенденцией,—очень интересна, хотя и слишком кратка.

Последняя, VI часть,—„Итог мирового кризиса в Ирландии" (1919 г.)—посвящена, гл. обр., попыткам добиться международного признания Ирландии, как особого государства. При этом они опирались на знаменитые „пункты" Вильсона и на то, что война велась во имя свободы малых наций. 21 янв. 1919 г. 29 депутатов шин-фейнеров, оставшихся на свободе, собрались в Дублине, приняли республиканскую конституцию и выбрали первого министра, составившего кабинет, и 3 делегатов—де Валера, Гриффитса и гр. Пленкетта—на Версаль-

скую мирную конференцию. Но первые двое сидели в тюрьме, и за них поехал деп. О'Келли.

Ирландцы могли на что-то надеяться, т. к. имели многих сторонников. Во независимой Ирландии сочувствовали две интернациональные силы—Ватикан и социализм. Во 2-х, ирландские голоса имели огромное значение в английских доминионах (особенно в Австрали, где они провалили закон о конскрипции). И наконец, американские ирландцы вели шумную агитацию и очень расчитывали на президента Вильсона. Но на мирной конференции Вильсон совершенно подчинился Ллойд-Джорджу, и от свидания с О'Келли уклонился. Тогда в Париж приехала особая ирландо-американская делегация из 3 человек, чтобы через Вильсона добиться от Ллойд-Джорджа допущения де-Валера, Гриффитса и гр. Пленкетта на мирную конференцию. Старания их были безуспешны; не помогла и резолюция Американского Сената 6 июня 1919 г., выражавшая симпатию ирландцам, желающим иметь правительство по своему выбору. В отказе Сената впоследствии ратификовать Версальский мирный договор автор склонен видеть связь с отказом версальских дипломатов выслушать представителей Ирландии—хотя он ограничивается тут только намеком (19).

„Заключение" изображает Ирландию в 1920 г. в состоянии войны, которую вел „Дублинский Замок" против шин-фейнерского правительства, которое сумело организовать не только вооруженную силу, но и суд, финансы и т. п.—летом 1920 г., после выборов советов графств, и местная власть перешла в руки Шин-Фейна. Борьба велась с обеих сторон с крайним ожесточением: напр., в Дублине в ночь с 20 на 21 ноября 1920 г. было убито 11 офицеров—21-го полиция и солдаты открыли огонь по толпе, которая собралась на футбол, и было убито 12 чел. и ранено 65; в Корке бомбой ранено 6 полицейских, из которых 1 умер—в ту же ночь лучшие здания города были сожжены в виде мести, и т. д. Год закончился так же напряженно, как и начался.

На этом книга обрывается. Ирландская трагедия не кончилась и поныне; но для 1914—1920 гг. мы имеем ее, если не беспристрастную, то точную и довольно подробную летопись.

К книге приложены „Об'явление Республики" 23 апреля 1916 г. и „Декларация независимости" и „Воззвание к нациям" 21 января 1919 г.

С. Тхоржевский.

Книгоиздательство „ACADEMIA"

Петроград. **Тел. 138-98.**

Пр. Володарского (б. Литейный), 40.

История, литература и философия.

		ЦЕНА золотом.
Ф. Ф. Зелинский	„Религия Эллинизма"	— р. 40 к.
В. Н. Перетц.	Краткий очерк Методологии истории русской литературы	— „ 80 „
Ф. Ф. Зелинский.	Возрожденцы, в. I Сборник статей по всеобщ. литературе	— „ 40 „
Ф. Ф. Зелинский.	Возрожденцы, в. II. (Шекспир, Шиллер, Байрон и Мицкевич)	— „ 60 „
С. Л. Франк.	Введение в философию	— „ 80 „
Осв. Шпенглер.	Пруссачество и Социализм	— „ 60 „
Генр. Риккерт.	Философия Жизни	— „ 70 „
Платон.	Полное собрание творен. т. 5 („Пир" и „Федр")	1 „ — „
Осв. Шпенглер.	Причинность и Судьба (Закат Европы, т. I, ч. I).	1 „ 20 „
И. Геллер.	Личность и жизнь Канта	— „ 40 „
А. Пуанкаре.	Последние Мысли (печатается) . . .	— „ — „
А. Бергсон.	Сознание и Жизнь (печатается) . . .	— „ — „
Бенвенуто Челлини.	„Моя Жизнь" (готовится к печати) .	— „ — „
В. П. Бузескул.	Открытия 19 и нач. 20 века в истории (ч. I. Восток, ч. II. Греция, печатается)	— „ — „
Платон.	Полное собрание творен. т. 13 („Законы". печатается)	— „ — „
Платон.	Полное собран. творен. т. I (Евтифрон. Апология Сократа, Критон, Федон, печатается)	— „ — „

Издание полного собрания творений Платона, которое предполагается закончить печатанием в течении 1923 года, выйдет в ограниченном количестве экземпляров и по окончании его многих томов в продаже может не оказаться.

Чтобы обеспечить всем интересующимся творениями Платона своевременное и полное получение всех томов издания—издательство „Академия" открывает подписку на все издание.

Желающие подписаться благоволят письменно сообщить издательству свои адреса и прислать 50 к. золотом в качестве аванса.

Все выходящие книги будут рассылаться подписчикам по мере их выхода наложенным платежом. Аванс будет зачтен при высылке последней книги. По числу подписчиков будут изготовлены художественные переплеты-крышки, причем подписчики благоволят заранее сообщать о желании, получать таковые.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ в изд. Академия:

в Петрограде, пр Володарского, 40;

в Москве, Тверская, 29.

Склады изданий там же.

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARY

This book is due on the date indicated below, or at the expiration of a definite period after the date of borrowing, as provided by the rules of the Library or by special arrangement with the Librarian in charge.

DATE BORROWED	DATE DUE	DATE BORROWED	DATE DUE

C28(239)M100

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
1010651225

1150748

JAN 31 1938